

## О крови лютов

В первый же день работы у Круппа в Холодном Николаевске остановилась четверть холадниц, и забастовка зимовников потрясла всей ледовой промышленностью.

Началось с того, что пан Велицкий снова зашелся собственным благородством и не желал слышать ни о каких предложениях возврата денег, которые он должен был, что ни говори, выложить из собственного кармана, оплачивая здоровил-костоломов, нанятых для охраны дома, опять же – господина Щекельникова, и всю ту деятельность, что тянулась уже второй месяц. Нужны ли они вообще на что-нибудь? Разве кто бросает камнями в окна, или нападают на улице сторонники заговорщических теорий Льда? Ведь начнут же люди смеяться, что человек повсюду таскает за собой "защитника", вот какой пугливый чудак.

И вот так, обмениваясь подобными замечаниями, утром в понедельник я-оно спустилось в прихожую на первом этаже, где застало здоровил в компании Щекельникова, придерживающих лежащего на полу какого-то воящего мужичка, подозрительно легко одетого, из чего сразу же смараковало о его зимовничей натуре. – К Батюшке Марозу! – вопил тот. – Пока не будет поздно! – орал. – Ах вы, хуи горбатые! Отпустите! – Но охранники лишь обкладывали его по спине да заду кедровыми дрынами. Пан Велицкий придержал ревностных работников. Оказалось, что перехваченный зимовник пытался прокрасться через каретную, когда вывозили сани. И они уже собирались выкинуть его за ворота, когда заметили отблеск медальона на синей груди, в разрезе рубашонки. Спросили, признает ли он веру Мартына. Тот только сплюнул кровью. Тогда спросили: - Что будет поздно?

Оказывается, история разворачивалась со вчерашней обеденной поры, когда генерал-губернатор Шульц-Зимний вновь неожиданно отказался от приглашения Александра Александровича Победоносцева, более того, отказался от свидания с его Ангелом, а вместо того принял у себя в Цитадели "каких-то четырех американцев". После того события покатились совсем быстро, поскольку еще в воскресенье вечером из канцелярии генерал-губернатора вышла бумага, призывающая усилить действия против ледовых сект, и морозной ночью с воскресенья на понедельник по Иркутску и Холодному Николаевску разошлись войска с жандармами, арестовывая десятками зимовников и не зимовников, всех подозреваемых в мартыновском вероисповедании. Тут уже сам пан Велицкий явно начал нервничать и начал высматривать музыканта; тот что-то пробормотал про холадницы, из которых людей выграбают, и про беспорядки в Иннокентьевском-Два, но было видно, что больше он мало чего знает, и он просто опасается ареста, посему, уже ничего не соображая после панической ночи, стал стучаться в двери дома Сына Мороза. И таких могло быть и больше. Пан Войслав приказал вышибалам закрыть ворота и махнул Чингизу Щекельникову, заявив при том, что и сам отправляется прямиком в Холодный Николаевск. Так что я-оно поехало на Северный Вокзал.

Мармеладница с утра ходила каждые четверть часа, а в шесть часов в рабочие дни шли два двойных состава, чтобы поместить всех рабочих, отправлявшихся в Николаевск на дневную смену. На крытом перроне, где останавливались купейные вагоны, которыми ездили директора и инженеры, а так же вся братия, выше пролетарской, Велицкий встретил нескольких, точно так же, как и он, обеспокоенных знакомых. Я-оно увидело директора Грживачевского в окружении сотрудников; еще до того, как поезд отправился, Сатурнин Грживачевский успел отправить с указаниями трех курьеров. Все господа в шубах и фасонных теплых пальто, под ушастыми шапками и в больших очках поглядывали на длинный открытый перрон, где сотнями и тысячами собирались иркутские рабочие, мужчины и женщины, пяты вероисповеданий, дюжины национальностей, трех рас. Мираже-стекла не давали возможности прочитать взгляды господ. На заснеженной шкале термометра стрелка-змея указывала тридцать восемь градусов Цельсия ниже нуля.

В поезде пан Войслав, глубоко затягиваясь папиросой с манчжурским табаком, так что красные искры летели на шубу и широко расчесанную бороду, пересказывал вслух все новые и новые теории, услышанные от других едущих. Поскольку сразу же показалось очевидным, что те "американцы", обедающие у Шульца, были людьми Д.П. Моргана с миссией, направленной в Россию на погибель Гарриману с его Кругосветной Железной Дорогой, я-оно вместе с Велицким пыталось подогнать действия губернатора к плану Моргана. Что выявилось логически неисполнимым – план Моргана, как представлял его пан Поченгло на собрании Клуба Сломанной Копейки, ставил на совершенно противоположную стратегию, то есть, на союз с Распутином, который должен был бы убедить императора остановить строительство Аляскинского Туннеля. Тогда, как это согласовать с неожиданными действиями по арестам мартыновцев?

- Но почему вы полагаете, будто они уже склонили Шульца к чему-либо? – заметило я-оно, возвышая голос над царящим в отделении гомоном. – Ведь сам Поченгло говорил, будто бы губернатору тоже по вкусу большая независимость и сближение Сибири с Америкой.

- Это искушение всех губернаторов Сибири, – признал пан Войслав, – начиная с первого, князя Гагарина из Тобольска. Пан Порфирий уже осточертел всем подобными рассказами. Еще при Екатерине Великой здесь существовало Сибирское Царство, били монету с его гербом; это была имперская колония, ничем не отличающаяся от американских колоний Британской Короны. Еще немного, и городской совет Иркутска созвал бы собственное сибирское правительство под властью наследственных царей-губернаторов. В Петербурге прекрасно об этом помнят. Кого бы не послали сюда на должность... Эта страна сама по себе сползает к востоку, – показал он жестом руки с папиросой, – к Тихому океану, к Японии, к Америке. Так что они правильно опасаются.

- Выходит, янки просто не повезло; Шульц переиграл их. Ведь они, как тут не гляди, оттепельники. Ничто бы так не порадовало Моргана как абсолютная Оттепель и конец зимназа. Шульц знает, что ему грозит.

- Тогда зачем было их сразу же арестовывать? Распутин ведь тоже ледняк.

- Вот с кем эти диверсанты-янки должны говориться, - вмешался молодой конторщик в мираже-стекольном пенсне, оторвавшись от утренней газеты, - так это, в первую очередь, с тем изобретателем, что был нанят Его Императорским Величеством для того, чтобы покончить с лютами

Я-оно фыркнуло.

- Тогда Пирпонт Морган может плюнуть себе в бороду, поскольку доктор Тесла скорее уже с чертом будет договариваться, чем с кем-либо, Морганом рекомендованным. Уже много лет между ними вражда; Морган сбежал с капиталами фирмы Теслы, доведя доктора до банкротства.

- Выходит, их единственный шанс, - продолжал расчеты пан Велицкий, - это напугать Его Высочество Николая Александровича абластническим отделением, опасной самостоятельностью локальных владык с другого конца империи. Ведь если будет построена железная дорога через Берингов Пролив, вот тогда в головах у губернаторов все и перевернется. Нет ничего более пугающего для самодержца, чем автаркия подчиненных.

- А Шульц об этом не знает? Шульц об этом знает. И он знает, что у Моргана достаточно денег, чтобы, так или иначе, дойти до императорского уха.

Сегодня я-оно не успело заскочить к Тесле, подержаться за насос Котарбинского. Организм все еще был на минусе тьмечи после вчерашнего отсоса, чувствовало теслектрический ток во рту и под кожей ладоней; тем не менее, с каждым часом замерзло все сильнее и сильнее.

Размышляло о ледовой математике психологии: характер А, выходит – характер Б, следовательно – характер С. Ведь все они – рабы единоправды о человеке – столь же прекрасно понимают это, даже если не могут оформить феномен какой-либо складной теорией.

- Но все это складывается совершенно логично, подумайте, господа. Ведь что мог сделать Шульц, чтобы заранее убедить Николая Александровича в своей лояльности и верности? Я-оно поочередно загибало пальцы. – Арестовать сектантов. Наслать охранку на абластников. Закрутить гайки в отношении демократов и социалистов. Что, может станете спорить? Пан Поченгло и редактор Вулькевич наверняка сегодня тоже принимают официальных гостей. "Новая Сибирь" – закрыта. По домам выдающихся политических оттепельников – охранка. А в вечерних газетах мы прочтем о новом наступлении против японцев Пилсудского.

- Правда, правда, - кивал головой конторщик, и снежная белизна с коричневым цветом вагонных панелей кружили на его очках. Перевернув газету, он стукнул верхом ладони в бумагу. – Вот оно, какие знаки подают нам чиновники!

*Шпионская афера. Из Александровска сообщают: Акционерное общество "Тунгусия" недавно приняло к себе на работу некоего Кохлера, еврея, слесаря по профессии, человека весьма интеллигентного и хорошо представляющегося. Обращало на себя внимание то, что Кохлер, несмотря на небольшую зарплату, ни в чем себе не отказывал, содержал жену и ребенка. В последнюю пятницу в Александровск приехал полицейский агент и, заручившись помощью жандармерии, арестовал Кохлера. Во время проведенного в его жилище обыска, было найдено много журналов и брошию. Кохлер прибыл в Александровск из Кенигсберга, и говорят, занимался шпионажем.*

На перроне в Холодном Николаевске клубилась толпа рабочих. Они должны были сразу же вытечь из под навеса на заснеженные улицы промышленного города и при克莱ившегося к нему с востока рабочего поселка, Иннокентьевского Два, тем временем, стояли здесь кучей, под облаками людского пара, пенящегося какой-то беспокойной, гневной энергией. Сквозь небо, затянутое дымами, зимназовыми радугами и порывами ленивой метели, один за другим проходили волны адского воя сирен, зовущих в холадницы, на фабрики, заводы, морозни и соплиевые цеха – все они стояли. Высаживающиеся из Мармеладницы смешались с ними; меньшая толпа, слившись с большей толпой, сразу же обрела признаки и свойства той, второй: движение, гневный говор, окрики и шаркание ногами – на месте. Господа директора уже не останавливались, не присматривались – как можно быстрее сбегали с перрона, перескакивая на другую сторону путей, под крылья сияний, растянутых на паутинных подъемных кранах и перегрузочных конвейерах.

- В Харбине зимназо побьет все рекорды, - вздохнул пан Велицкий, окутывая лицо толстым шарфом. – И почему это меня не радует?

- Пошли скорее, - буркнул Чингиз Щекельников, появившись откуда-то сбоку. – Не нравится мне все это. Сотня му-жиков, хлопот целый ком. И где казаки, когда человек в них нуждается?!

Kantor<sup>1</sup> Friedrich Krupp Friesen AG размещалась на пятом этаже Башни Пятого Часа, что равнялось, по-видимому, двадцатому этажу небоскребов Лета. Иннокентьевский Два – это сплошь бараки и низкие клоповники – но в жизни своей я не видел столько небоскребов, сколько здесь, в Холодном Николаевске. Строя на плотных перекрестках Дорог Мамонтов, люди были обречены на высотную архитектуру, применение же зимназовой стали позволяло возводить самые тяжелые конструкции на настолько тонких и легких опорах, что в метели совершенно незаметных. Все причины я-оно знало, и было известно, чего ожидать, тем не менее изумил вид подвешенных в воздухе на высоте в шестьдесят аршин каменных домов в стиле классицизма, нередко с круглыми галереями из мираже-стекла, под башенками и византийскими куполами, с клетками спиральных лестниц и трубами персональных лифтов снизу – вся эта архитектурная окрошка, видимая за снежными заносами, и щедро покрытая снегом и льдом, испещренная сосульками, в вуалах сияния, пришедшего с крыльев тропических бабочек. Они появлялись неожиданно, одна за другой когда ветер поворачивал, или опадали столбы из инея – башня справа, башня слева, башня за башней, а по сути своей – домища, наполовину изготовленные из ледяного байкаль-

<sup>1</sup> Контора, представительство (нем.)

ского мрамора, а наполовину – из мираже-стекла; несколько нижних этажей которых было стерто из действительности, словно рисунок мелом с классной доски: докуда достала тряпка в руке ученика, то и исчезло. Впрочем, сохранившиеся, поднебесные этажи тоже исчезали, когда с них стекали краски на стеклах герметично замкнутых очков, и на это же место вливалась всемогущая белизна. Ни за какие коврижки я-оно не различило бы разные башни; хорошо еще, что Щекельников показывал дорогу.

Вся эта территория – то есть, центр Холодного Николаевска, сориентированный по Дырявому Дворцу и соседним промышленным предприятиям, а так же железнодорожные пути со складами и окрестностями – казалась одной громадной строительной площадкой или местом стихийной катастрофы, в настоящее время не слишком приведенной в порядок. Земля была разрыта нерегулярными рвами и ямами, то тут, то там в ней зияли шурфы, покрытые полотном на растяжках. Горели нефтяные костры. Обледеневшие доски вели пешеходов крутыми тропами от одного здания-калеек до другого такого же здания-калеек, от одного сопливца до другого; когда здесь проходил лют, доски переносили, укладывая из них другую дорожку. А поскольку здесь постоянно сновали с пару дюжин лютов, уличный план Холодного Николаевска представлял собой нечто вроде графической головоломки или же игрового поля двух партнеров, переставляющих шашки друг другу.

Транспортировка добычи и товаров к Мармеладнице и из нее осуществлялась не по земле, но воздушным путем, по растянутым по небу зимназовым струнам. Их путаница оставалась невидимой даже в погожие дни, не говоря уже про сегодняшний. Я-оно чуть ли не перепугалось, когда из пухового тумана над головой появилась связка черных рельсов и, позванивая, словно стеклянные трубы, поплыла к подъемному крану над путями. Глядя под ветер, заметило еще несколько подобных грузов, медленно перемещавшихся над городом, на первый взгляд – вопреки всем законам физики: тысячи пудов металла, левитирующих выше цехов, машин, будок, шахт, огней, лютов и людей. Впоследствии узнало, что здесь никогда не отмечали лута выше, чем в пятидесяти аршинах над земной поверхностью; если бы Иркутск начали отстраивать несколькими годами позднее, наверняка бы сейчас он весь висел бы в воздухе на зимназовых скелетах.

Пассажирского лифта под Башней Пятого Часа ожидало человек пять-шесть. Господин Щекельников указал на лестницу. Я-оно отрицательно покачало головой. Глядя прямо вверх, видело громадный черный квадрат "дна" башни. Но даже отсюда, ее боковые ажурные опоры были незаметны. Задирая башку, обошло по окружности "фундамент" конструкции. Башня Сибирхожето была спроектирована и возведена сразу же после Зимы Лютов и перед европейским Годом Лютов, когда про зимназо мало-чего было известно, потому за образец взяли Эйфелеву башню, потому-то она и казалась такой массивной; в то время как Часовые Башни – в чем, хотя и с недоверием убедилось я-оно – стояли на опорах, более тонких, чем фонарные столбы. Поднимаясь вверх на стонущем и грохочущем лифте (ветер проникал вовнутрь струйками белесой пыли), сложно было преодолеть иррациональный страх: а вдруг все это хозяйство завалится? Собранные в лифте люди обменивались мрачными шутками об армии, по приказу генерал-губернатора усмиряющей холадницы, о Феликсе Дзержинском, возвращающемся в Иркутск к очередному пролетарскому бунту. Кто-то вспоминал Распутина, кто-то – Мартына. Я-оно вышло и поднялось еще на четыре этажа вверх по лестнице из зеркального гранита. На лестничных клетках в горшках росли большие белые кактусы. За панорамными окнами разыгралась зеленая метель. На четвертом этаже свернуло налево и встало в очереди посетителей перед дверьми конторы *Friedrich Krupp Frierteisen AG*. Чингиз Щекельников хмуро глянул исподлобья, сморкнулся из одной ноздри, потом из другой.

- Имеем дубину.

Точно, дубина была.

- Валяйте прямо. А я буду извиняться.

*Friedrich Krupp Frierteisen AG*. С 1909 управление концерном взял в свои руки Густав Крупп фон Болен унд Хальбах. Одним из его удачнейших действий оказалось быстрое решение о включении фирмы в исследования и развитие зимназовых технологий. Густав не был Круптом по крови, его женили на шестнадцатилетней наследнице крупновских капитолов, чтобы он взял власть в концерне после того, как ее отец, Фридрих Альфред Крупп, покончил с собой в результате скандала, связанного с молоденькими девушками, привозимыми с Капри для телесных утех; кайзер же благословил новую семью и помазал нового генерала германской стали фамилией Крупп.

Множество подобных рассказов я-оно услышало от пана Велицкого еще вчера вечером. Естественность, с которой он перешел из роли гостепримного хозяина до чуть ли не собрата в ордене Людей Богатства, по-правде говоря, была обескураживающей. Я-оно искало работу, чтобы выплатить долги; но никакого собственного дела заводить не собиралось! Но, видимо, доктор Мышливский и члены Клуба Сломанной Копейки знали лучше. Вулька-Вулькевич замерз гневным редактором-пьянчужкой, а Бенедикт Герославский... У Бенедикта Герославского под рукой имеется насос Котарбинского. В башне было тепло, а в этой толпе под конторой – душно и жарко; впихнувшись наконец в очередь за дверью, расстегнуло шубу, отвернуло шарф, снянуло шапку, очки спрятало в карман. В зеркальном граните отразился худощавый бородач с узким чепром под темной щетиной. Я-оно поправило галстук и жесткий воротничок: беленький *vatermorder*. Голову вверх! Всему можно научиться – в том числе, и искусству зарабатывать деньги.

- В первую очередь, пан Бенедикт должен принять то, что деньги делают, – рассуждал Велицкий. – Богатство не появляется путем ограбления бедноты, ни путем перетока богатства из рук в руки. Если бы кто-то становился богатым, только отбирая имущество у кого-либо другого – там побольше, там чутьоку меньше – тогда с самого начала света мы бы только беднели из поколения в поколение, ведь богатства в сумме не прибавлялось бы, а людей, среди которых его необходимо было разделить, все больше. Только Господь Бог устроил все иначе: если у кого имеется предпримчивость, воля и силы, желание работать, тот творит что-то из ничего, обогащая тем самым себя и человечество. Поэтому-то, наряду с инстинктом размножения Господь дал нам инстинкт обогащения.

Но ведь я-оно и не думало здесь ни жить, ни работать ни днем больше, чем было необходимо для разморожения и вывоза отца из Сибири. Велика и непонятна сила зеркал.

Густав Крупп фон Болен унд Хальбах (орлиный нос, пристриженные усы, выпуклый лоб) глядел с коричневато-серой фотографии, повешенной во внутреннем зале конторы над столом главного клерка. Фотография была подписана: 12 октября 1922 года; и была памятью о посещении президента концерна в Стране Людов. Вокруг Густава стояло с десяток мужчин в шубах и подбитых мехом пальто: начальство иркутского отделения. Чтобы сфотографироваться, все сняли очки, некоторые даже стащили с голов шапки. *Herr Direktor* единственный отличался чистым лицом и светлыми глазами; другие остались на фотопленке с передержанными лицами, в жирном потьете. Вторым по правую руку *Herr* Густава стоял пан Сатурнин Гривачевский. На фоне виднелся кривой массив Дырявого Дворца и очертания поднебесных Часовых Башен.

Протолкавшись к стойке, я-оно предъявило клерку визитную карточку директора Гживачевского. Клерк – типичный пример нового сибиряка, особая смесь монгольских и европейских черт – прочитал, постучал себя по зубам, глянул на часы и позвал курьера.

- Ведь до вечера же ждать не станете.

- Нет. А в чем дело?

- Доктор Вольфке сегодня сидит на Фабрике. Держите. – Он вернул визитку Гживачевского. – Покажете, если вас не захотят пускать.

- Кто?

- Ну, на тот случай, если вы являетесь шпионом Тиссена или Белков-Жильцева.

- Ну знаете...!

- Иди, иди. Нет у меня на вас времени, сами видите, какой тут базар с утра. – Даже не поднимаясь из-за книг, счетов и еще больших куч бумаг россыпью, он обвел рукой с пером всю контору, наполненную людским говором и толкотней. Посетители чуть ли не давили один другого, проталкиваясь к дверям, столам и стойкам, поднятым над уровнем пола на половину аршина, откуда бухгалтеры и другие крючкотворы компании гнали их без особого успеха; в ход шли кулаки, бумаги взлетали в воздух, по бумагам топтались, тут же парили банкноты, небрежно втихаемые кому-то в руку, по банкнотам тоже топтались, так что, то один, то другой падал на колени, чтобы выбрать их из-под заснеженных сапожищ, по пальцам жаждных людышек тоже топтались; деньги висела в воздухе. – И что оно будет, что будет, когда идиоты управляют. Шесть холадниц стоит. Иди, иди.

Я-оно протолкалось назад, Щекельников распихивал людей своей дубиной. Посыльный оказался подростком буряком в тесном для него пиджаке; натянув на себя тулуп с барабанным воротником, он помчал вниз по ступеням, пришлось надуть, чтобы успеть за ним. Лифта он не ждал – рванул зимназовые двери, я-оно снова вышло в мороз и метелицу. По обледеневшим ступеням спускалось, на каждом шагу судорожно хватаясь за холодный поручень. Между дуновениями снега время от времени показывались смазанные фрагменты Холодного Николаевска: Дырявый Дворец, Часовые Башни, подъемные краны, люты, холадницы и открытые сопликова, и крыши заводских цехов, дымы и огни, и бледные радуги, и хаос малюсеньких домиков Иннокентьевского Два. Посыльный приостановился на секунду, чтобы показать вытянутой рукой меньшую коробку, пристроенную к коробке побольше, где-то на расстоянии версты к востоку от Дырявого Дворца. Мол, идем туда.

В Производственном цеху Второй Холадницы *Friedrich Krupp Frierteisen AG* доктор Мечислав Вольфке пускал кровь лютам. Упитанный господин среднего возраста, с лицом, напоминавшим бульдожью морду, с небольшими усиками и высоко подбрюшными с боков волосами, он стоял с открытой головой на шаткой лестнице, которую поддерживали два добровольных помощника азиата, и провозглашал через жестяной рупор инструкции для команды зимовников, которые, в двадцати аршинах далее, в проходе в основное помещение холадницы, манипулировали тяжелой зимназовой аппаратурой, подвешенной на весьма сложной системе полиспастов, рычагов и противовесов; другие концы длинных зондов, которые они держали в руках и которые больше походили на пики и копья, терялись в молочных облаках пара, стекавшего с бока люты, которого они подвергали пытке.

Мужчина в шапке с медвежьими ушами загородил нам дорогу, когда я-оно хотело подойти поближе, заглянуть в затверченные лица зимовников. Заговорило раз – другой, но он только покачал головой. Впоследствии узнало его как Бусичкина Г.Ф., ассистента доктора Вольфке еще по Политехническому институту в Карлсруэ. Бусичкин оказался немым.

Прежде, чем он удрал, посыльный показал заводские конторы напротив холадницы; в цеху было холоднее, чем на дворе, а вот конторы отапливались. Я-оно расстегнуло там шубу, приложило ладони к печке. На столах и сотнях полок царил неописуемый балаган, повсюду валялись части каких-то зимназовых механизмов, множество мираже-стекла, выдутого в различные формы: мензурки, ампулы, бюветки, пипетки, ректификаторы, испарители, эксикаторы, ареометры, дюжины термометров; книги и журналы; между окнами – равно как и теми, что выходили наружу, и на цех – висели белые письменные доски, густо покрытые надписями, сделанными черным мелом. Я-оно сняло мираже-очки, черное и белое поменялось местами. Там были вычерченны схемы каких-то устройств, было множество чисел в столбиках и уравнений, развертываемых и сокращаемых без явного финала, с подстановкой неизвестной символики; сама математика казалась относительно простой, определенные дифференциалы и предельные последовательности. На доске у печки, скорее всего, высчитывались тепловые балансы, к раме прикопили листочки с каллиграфически выписанными результатами измерений температур – они колебались от одного градуса до трех.

Сами книги и в плане содержания представляли образ неразумного хаоса: пять языков, темы – всего понемножку, довольно часто имелся всего лишь один том из многотомной энциклопедии: среди них вдруг вынырнуло издание на польском языке: первый том Большой Всеобщей Иллюстрированной Энциклопедии (разрешено цензурой). Я-оно пролистало его с конца. А. А. А. А.

Амбиция – это выражение происходит от латинского *ambire* = обходить, и означает желание вознестись над иными, поскольку в древнем Риме, кандидаты, желающие занять общественные посты, как правило, обходили жителей города, собирая от них голоса за себя. (Ob. *Ambitus*).

По чому можно выявить амбиции в человеке? Только лишь по перемещению материи. Чем большее перемещение среди людей, тем амбиции в душе более жаркие. Остывая, мы меньше сталкиваемся с людьми и теряем амбиции. Такова это мера импульса пересчитанная из порядка первого вида в язык второго рода.

Дальше, имеются и математические термины.

Алгоритм (*Algorismus*), подсчет, а точнее, методика подсчета, собрание знаков, используемых в определенном исчислении; отсюда можно говорить про алгор. пропорции, про алгоритм дифференциального исчисления. Это выражение происходит от имени арабского математика аль-Ховаризми (ср. алгебра), произведение которого в латинском переводе называется "*Algoritmi* (то есть, авторства аль-Ховаризми) *de numero Indorum*, и начинается оно с выражения: Говорит Алгоритми. С течением времени, имя автора было забыто, а выражение "Алгоритми" стали считать производным от латинского выражения *Algoritmus*, *Algorismus*. Таким образом, имя человека стало названием вещи. В частности, а. означало то же, что и арифметика. Так, к примеру, самое старое изложение арифметики на польском языке авторства отца Томаша Клоса 1538 года, носит название *Algoritmus*, то есть, обучение счету".

В контору заскочил какой-то рыжий тип с большим фотографическим аппаратом под мышкой.

- Господа – чего? – захрипел он.
- К доктору Вольфке, по рекомендации директора Грживачевского.
- Уже неделю нам пообещали исключительные действия. Пускай бастуют, мы не отдадим ни часа!

По-русски он говорил с тяжелым акцентом. Затем представился Генрихом Иерхеймом. Когда он снял малахай и мираже-очки, под рыжей щетиной открылась рожа, словно пришедшая из кошмара: шрамы, обморожения, пятна кожи, проправленной тьмечью, дыры в плоти, чуть ли не до кости. Это был ветеран черной физики, находящийся на фронте науки Льда с самого начала, то есть, от Зимы Людов – он первым измерил их холод, первым пустил им кровь. Чем сразу же и похвалился, когда я-оно едва успокоило его, что сюда пришло по вопросу работы.

- Да я собаку на этом съел! – громыхал он, подогревая себе в мираже-стекольной колбе на бунзеновской горелке молоко с чесноком и маслом. – Когда мы строили здесь первые экспериментальные холадницы, тут не было никакого города, всего лишь ледовая целина и куча лютов. Первые контролируемые трансмутации производились под войлочной юртой, едва-едва защищающей от ветра. Люди замерзали у меня на глазах. У одного бурята рука так отмерзла, что кисть отломилась словно кусок глины; мы храним ее возле холадницы, сами можете осмотреть, гы-гы, в качестве предупреждения.

Отложив Энциклопедию и отбросив кучу покрытых пятнами брошюр, я-оно присело на краю низкого стола.

- Почему здесь такой бардак?
- А чего вы ожидали? Самый центр Холодного Николаевска, холадница на четверть миллиона пудов, пересечение Дорог Мамонтов – ежеминутно приходится перебираться со всем в Башню и обратно.

Я-оно перелистало старый номер "Leiden Communication"<sup>2</sup> со статьей про какие-то усовершенствования в строении "каскадной криомашины". В конце, под групповой фотографией заметило фамилию Иерхейма. Вот только кто из мрачных бородачей в черных костюмах был Иерхейм? На фотографии нельзя было различить цвет волос.

Зато без труда распознало круглое лицо доктора Вольфке.

- Именно потому, – сказал Иерхейм, заметив предмет моей заинтересованности. – Когда мы опубликовали первые результаты, доктор Вольфке бросил оптику и вернулся в физику низких температур. В Лейдене, у Камерлинга Оннеса он занимался криогеникой жидкого гелия. Крупп выкупил его у Цейсса.

- Жидкого гелия?

- Кровь лютов! – захрипел Иерхейм, что прозвучало будто проклятие или боевой клич викингов, после чего глотнул из колбы горячего молока.

Вытерев рот и усы, он подошел, подал руку; я-оно пожало искалеченную десницу – на ней не хватало двух пальцев. Тем не менее, у него был захват дровосека; вот так – захватил и не отпустил, захватил – и тащил, силой ломая стереометрию взглядов одного и другого незнакомца.

- Географическое Общество?

- Нет.

- Томский Институт?

- Нет.

- Так вы не физик?

- Математик.

- Ну, нам до сих пор не хватает хорошей количественной теории. – Он оскалил щербатые зубы и наконец-то отпустил ладонь. – Статистическим анализом занимались?

---

<sup>2</sup> "Известия Лейденского Университета" (англ..)

Не ожидая ответа, он потянулся к самой верхней полке временного шкафа и снял с кучи папок самую толстую. Распутав непослушными пальцами завязки, он вынул две стопки листков, плотно покрытых значками, написанными красными чернилами. В первый момент показалось, будто бы это какие-то мозаичные схемы или ориентационные карты.

- Это наши, - разложил он листки на столе, - а эти из Томска. Вот, поглядите.
- Хмм?
- Лабораторные броски монетой.

ОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРО  
ОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРО  
РОРРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРО  
РОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРО  
РОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРО  
РОРОРРРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРО  
РОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРО  
ОРОРРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРО  
ОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРО

- Так?

- Ничего необычного не видите? А вот теперь поглядите на томские.

ОРОРРОРОООРОПРООООРОООРРОПРООРО  
ОООООРОООРООООООПРРРРРРРРРРРРРР  
ОРООРОООРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР  
ОООРООРОРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР  
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР  
ОООРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР  
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР  
ОООРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР  
РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР

- Гораздо более высокая нерегулярность, - подтвердил я-оно. – По крайней мере, на первый взгляд. И это различие постоянное? Ведь даже несколько попыток еще ни о чем не свидетельствует, в конце концов – это же вероятность.

- Здесь, - тряхнул мой собеседник папкой, - у нас результаты из десятка других мест. Все это следует хорошоенько обработать статистически, в соответствии с географическими координатами, изотермами и Дорогами Мамонтов.

- Подо Льдом результаты дают меньшую вариативность, они более упорядочены, более, как это сказать, однозначны. Так?

Иерхейм недоверчиво глянул из-под кустистой брови.

- Вы, слушаем, не сильно интересовались тунгитовой криогеникой?

Я-оно отложило бумаги.

- Нет, пан Генрих, сюда я попал по другой причине. Ищу места, это так. Но – Крупп пару лет назад выкупил предприятие Горчиньского – там работал мой отец, Филипп Герославский, геолог. Так что... Вы его, слушаем, не встречали?

Иерхейм стукнул себя ладонью по лбу.

- Ну конечно же, Герославский! – воскликнул он с явным облегчением.

- Выходит, вы его знали!

Тот отвел взгляд, то ли глядя в прошлое, то ли выглядывая в цех (где доктор Вольфке уже спустился с лестницы и теперь глядел в окуляр прибора, похожего на телескоп, зимназовая труба которого вела к люту).

- И потом Господь сказал: И вот зачала ты, и родишь сына, и назовешь имя его – Измаил, ибо услышал Господь страдание его. То будет дикарь: руки его против всех, и руки всех – против него: и против братьев всех разобьет он свои шатры<sup>3</sup>.

За окном дул ветер.

Я-оно потерло верх ладони.

- Мой фатер... - начало, чтобы прервать неуклюжее молчание.

- Наши зимовники иногда вспоминают его под мартыновским именем; он всегда больше держался с рабочими. Но я называю его Измаилом.

Иерхейм присел на сундуке под письменной доской, вынул трубку и кисет, набил, закурил, выдул пропитанный тьмечью дым. Под расстегнутым тулулом у него была еще белая бекеша, стянутая ременными поясками. Только сейчас

<sup>3</sup> В русском синодальном переводе этот фрагмент звучит так:

И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и назовешь его Измаил, ибо услышал Господь страдание твое;

он будет между людьми, как дикий осел; руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он перед лицом всех братьев своих. (Бытие, 16, 11-12)

заметило то, как Иерхейм держит голову на позвоночнике, словно на вертикальной мачте, как он отклоняет ее назад и как потом глядит на собеседника – делает его весьма похожим на Разбесова.

- Человек, - произнес рыжий калека, и после слова "человек", медленно выпустил дым через ноздри, - чтобы жить среди иных людей, должен обрести кое-какие общественные умения. Умение умолчать правду: встречаешь знакомого, и не заявляешь ему с бухты-барахты, что он свинья, хотя тот самая настоящая свинья; здороваешься с дамой, и не говоришь ей, что она тебе остырела, хотя и остырела. Умение использования этикета: "приятно с вами познакомиться" – когда, собственно еще не знаешь этого типа, так что в этом приятного? Умение принимать всемирное зло: люди, даже самые лучшие, нередко причиняют зло неумышленно, не имея в том никакой выгоды, в будничных и ничего не значащих делах, вместе с тем творя огромное добро в самых серьезных вещах – и нужно это принимать одно с другим: хамоватость, хвастливость, крикливость, склонность, ревность и эгоизм; вместе с тем, и святые идут в небо; обладающий хорошими манерами глядит на это сквозь пальцы, не называет этого по имени, живет рядом со всем этим, не применяет заповедей к тем мелочам, о которых умалчивает Библия.

- Все это разные виды лжи; ведь вы говорите о лжи.

- Полностью без лжи жить невозможно. То есть, конечно же, можно, но тогда жить так, как идиот у Достоевского, или как ваш фатер, как Измаил: отравляя жизнь себе и ближним, пока этот дикий человек не сделается ничем: руки его против всех, а руки всех – против него. Обладая более слабой волей, некто подобный быстро озлобляется, замыкается в себе и убегает в нелюдимость. Но ваш отец не сбегал; и тем сильнее пробуждал гнев и ссоры.

...Вот пример: сразу же после выкупа предприятия Горчиньского, дело ночного сторожа Федорчука. От начальства пришел приказ уволить пять человек, потому что нечего дублировать должности. Федорчука все любили, человек добрый, хоть к ране приложи, четверо детей маленьких, опять же – парень хоть куда. Но Филипп Герославский, как только о таком нехорошем деле узнал, докладывает наверх, что сторож дрова казенные домой таскает – и вот Федорчук на улице; ему еще и уголовное дело пришли.

...Или еще один случай, был в геологической партии Горчиньского инженер Павлюшка, который тут – в Холодном Николаевске – из-под полы продавал неприличные карточки. Господин Филипп Герославский всю его порнографию и спалил. Догадайтесь, за кого люди стояли: за Павлюшку с его непристойными картинками, или за Измаила?

...Или вот еще, дело картографического архива – про него я уже знаю из вторых рук, от людей из геологического отдела фирмы. "Руды Горчиньского" уже закрывали свои конторы, и Крупп принимал все материалы; ведь он же купил и всю информацию, собранную сороками и геологами Горчиньского. Но ведь не все успели нанести сведения на бумагу на момент заключения сделки. Некоторые были тогда на севере, архив держали в своих головах. Вернулись, а тут им расчет. По части и по закону было бы признать Круппу и ту, неописанную еще информацию – но кто так сделает? Один только Измаил. А поскольку он обратил этим внимание начальства и на других рассчитанных – можете себе представить, как они были ему за это благодарны. А потом его еще в награду вернули на работу: выходит, подлизался.

...Но вот обращает ли внимание Измаил на то, как его видят люди? Нет. Он всегда знает лучше, сделал ли чего плохого. Измаила не устыдишь.

- Его ненавидели?

- Перерыв.

Я-оно обернулось за взглядом Иерхейма: доктор Вольфке объявил шабаш; зимовники оторвались от машинерии; рана в горбу лята быстро замерзала; остальная компания – Вольфке, Бусичкин, человек с блокнотом, человек с тьюетовым прожектором – возвращалась в нагретые помещения.

Иерхейм быстренько побежал за печь – оказалось, что там у него кипит старый самовар; голландец уменьшил огонь, достал кирпичного, замороженного чаю. Компания забежала и тут же захлопнула за собой дверь, затыкая щель под дверью тряпками. Все расселись в царящем балагане, паря чернотой, дыша в ладони, кашляя и требуя кипятку. Доктор Вольфке задержался у печи, где держал на полках собственные книги. Он схватил громадный томище, перелистал и разочарованно засопел. Только после того он поднял глаза и заметил нежданных гостей. Господин Щекельников под таблицей температур и давления газов чистил ногти лезвием длиной в половину локтя. Доктор Вольфке сделал огромные глаза. Я-оно как можно скорее представилось.

- Директора прислали нам математика, - объявил *tijpneer*<sup>4</sup> Иерхейм, подавая доктору чай; при этом он еще и подмигнул. – Ваш земляк.

- Пан Хенрик, дорогой! – вскрикнул Вольфке и инстинктивно перешел на польский: - Математик, на кой ляд нам нужен математик! Ведь я же просил прислать амстердамских стеклодувов и металлургов-химиков – а они мне математика.

Выговор доктора Вольфке был особенным: "математик", "амстериадамский", "штекло".

- Так ведь кто-то с головой на плечах должен, в конце концов, свести результаты измерений. *Door meten tot weten*<sup>5</sup>! – захрипел Иерхейм. – Мы же тонем во всем этом. А под конец года нас ждет отчет для Берлина. Кто будет его писать – вы? я? господин Бусичкин? или, может, госпожа Пфетцер?

Доктор Вольфке раздраженно замахал руками.

- У меня нет времени, совсем нет времени! Мало, что ли, дел на голове! Слышали, - махнул он в сторону цеха, - если это все протянется, зимовники тоже уйдут, как уже мне обещали: солидарность мартьиновских братьев и верность ледовой вере, и все такое прочее.

- И вы этому удивляетесь? Вы не должны удивляться.

<sup>4</sup> Господин (голланд.)

<sup>5</sup> Измеряя – знать (голланд.)

(Впоследствии я-оно узнало, что Мечислав Вольфке является крупным масоном, Великим Магистром Национальной Ложи).

- Но работа, дорогие мои, работа стоит! Вы проверили непроницаемость угольной камеры?
- Манометр замерз.

Доктор Вольфке вытащил носовой платок, сшитый, по-видимому, из четверти скатерти, и высморкал в это полотнище нос, сильно при этом покраснев.

- Все замерзает.

"Вше замезает". То ли он, впридачу к насморку страдал тяжелым воспалением горла и гортани, то ли родился с дефектом речи. Я-оно собиралось обратиться к нему с огненной речью, предъявить рекомендательную бумагу, живо аргументировать, только рот как-то не открылся. Чесало верхнюю часть ладони. Окна покрылись паром, прорвало голой рукой мираже-стекло, холодный водный пар остался на коже. В цехе зимовники расселись на упаковках и керосиновых бочках (вся зимназовая машинария, идущая к люту и в глубину холадницы, перемещалась туда-сюда по рельсам, и всякий раз после прохода ледовика необходимо было растапливать с них лед). Шесть мужиков, половина наполовину с голыми головами и в меховых шапках, в легких куртках, а то и просто в рубашках или свитерах на голое тело – сидели, разговаривали, жевали краюхи хлеба, запивали ледяным чаем.

Я-оно застегнуло шубу, вышло на мороз холадницы. Рабочие и не взглянули, пока не присел рядом на перевернутой тачке. Не надело ни шапки, ни очков. Седобородый, широкоплечий старик в кожаном фартуке, тот, что сидел ближе всего, тот узнал сразу. Не было уверено в лице мужика в ушанке, что сидел напротив, но вот в седобородом старике – точно. И еще то, как он заговорил – тот его голос, которым он выпевал над открытой могилой литанию святого Мартина – он это, он.

- Гаспадин Ерославский.

Остальные замолкли, обратили взгляды.

- Венедикт Филиппович Ерославский, - повторил старик и проглотил последний кусок хлеба, стряхнул крошки с рук.
- Искали нас?

- По Дорогам отца попал.

Тот долгое время приглядывался. Рабочие-зимовники молча прислушивались. Облака черного пара вздымались от них в пропитанном тьмечью воздухе.

- Как тогда сказали, так и замерзло, - сказал он.

- Так. Нет. – Кожа на морозе свербела, но сдержалось. Сунуло ладони поглубже в рукава. – Замерзает.

- Приходил ли кто к вам незваный?

- Кто?

- Еретики, веры предатели.

- Нет.

- И хорошо.

- Похоже, что я здесь буду работать.

Они переглянулись.

- О!

- Скажите мне кое-что, люди добрые. Вы слушаете отца с Большой Земли – а он слушает ли вас?

Седобородый склонил голову.

- Что узнаю, то повторяю, а вот слушает ли – его то воля.

Слово Распутина обладает силой многое здесь изменить. Знаете, что все этиочные аресты – все это от страха Шульца-Зимнего перед страхом Батюшки Царя. Прибыло посольство от господина из Америки, будут искать возможности аудиенции при дворе Его Императорского Величества. И станут они подзуживать против Сибири. Губернатор обязан заранее доказать свою верность. В первую очередь, под нож пошли абластники, и вы это знаете.

- Но если бы человек с человеком не был в несчастье заодно, съели бы нас господа без соли.

Зимовники согласно загудели.

- А вот обдумайте-ка вот такое, - ответило я-оно на это, - этим своим заединством вы укрепляете Лед или же ускоряете таким образом Оттепель. За что стоит Шульц-Зимний, а за что – абластники? Что бы сказал на это ваш святой Мартын? А?

Тут они смешались.

- Вы же не верите в Мартина, - буркнул седобородый.

- А разве станет правда менее правдивой, когда из уст неверующего исходит?

На это они уже ничего не сказали. Когда вернулся доктор Вольфке, не говоря ни слова, они встали к работе, схватили зимназовую машинерию, вступили в промышленную стужу. Я-оно стояло на самой границе воздуха, которым можно было дышать, тенистый пар протекал через шарф, заправленный под самые очки; даже за шапкой вернулось. Но все равно, более нескольких минут выдержать не удавалось, нужно было подходить к коксовщикам, что расставили свои бочки по углам цеха, возвращаться в комнату с печкой, где курил свой табак *tijlheer* Иерихейм.

Холадница системы Круппа – в отличие от холадницы Барнса или Жильцева – работает в открытом режиме, потому и большее воздействие мороза. Через дыру в стене, отделяющей цех от помещения холадницы, в котором уже вымороziлся лют, я-оно подглядывало за процессом трансмутации. На блестящем черном массиве льда отражались электрические огни – по глади морозников, сбитых в одну гигантскую криоскульптуру, проплывали волны тьмечи и бледной светени – зимназовые конструкции, подъемные краны, цепи и толкатели, машины величиной с дом и машины еще большего размера,

окутывали гнездо, частично его заслоняя. Люты здесь делались крайне маленькими по сравнению с человеческими машинами; а человек, отдаленные силуэты то одного, то другого зимовника, обслуживающего процесс обращения руды в холаднице – казался совсем уж мелкой песчинкой процессов, происходящих в величественном масштабе и при темпах, сравнимых с ледниками. Радужные стрелы ажурных кранов перемещались с театральным достоинством. Пар от сжижаемого и вновь освобождаемого в виде газа воздуха кружил тучами, словно валы взбитых сливок; кровавые глазища ориентационных ламп окрашивали их багрянцем. Когда глядело на них через мираже-очки, раз это походило на образ наизнанких кругов ада, другой же раз – на надоблачное небо, чистейшее, залитое небесными сиянием и колером. Где-то вдалеке пылали угольные костры и били ломы; через дыру их не было видно, из нее исходил лишь низкий гул работающей холадницы: усиленное и растянутое во времени механическое эхо барабанного боя глашатаев.

Дыра, как и большинство уродств архитектуры Холодного Николаевска, образовалась как раз в результате повторяющихся переморожений ледовиков; на такой концентрации Дорог Мамонтов проводить какие-либо ремонты не выгодно. В самом начале, то есть, сразу же после Великого Пожара Иркутска, когда еще не существовало никаких карт Подземного Мира, было принято решение построить здесь огромное сопликово с прилегающими гнездами лютов, по своему промышленному масштабу достойное Рурского Бассейна: с цехами высотой в десятки аршин, с железными куполами шириной в сотни метров. Тем не менее, всяческие очередные ремонты и реконструкции были заброшены; по мере потребности достраивались только дополнительные подпоры, чтобы здание не рухнуло; так что люты перемораживались свободно. Так появился Дырявый Дворец, черно-снежный монумент Холодного Николаевска, с искалеченной архитектурой, не похожей на какую-либо иную архитектуру в мире. Карта Дорог Мамонтов отражается здесь на земной поверхности болезненными скелетами застроек.

Холадница системы Круппа работает в открытом режиме, это означает, что руды, перемораживаются лютами за внешними границами гнезда, над уровнем почвы. Методы, требующие большего вмешательства, одновременно являются и более дорогостоящими, поскольку требуют необходимость подкопаться под гнездо и вокруг его границ, окружить герметической зимназовой машинерией, при чем, возникает еще и проблема надежной транспортировки тысяч пудов добычи при экстремально низких температурах. А ведь никто не может дать каких-либо гарантий в плане того, насколько долго гнездо останется в этом месте. Правда, громадное сопликово Холодного Николаевска пока что остается четким пунктом концентрации ледовиковых гнезд – единственной точкой в мире – но кто даст себе отрубить руку, что все это разом через неделю-две не вморозится назад, под землю, а весь промышленный город не останется тогда бесполезным реликтом минувшего величия, словно те вымершие горняцкие городки в Америке, когда все их золотые жилы были исчерпаны? Ведь так, по-правде, ничего толком про Лед никто и не знает.

Деловой человек стремится к тому, чтобы застраховать свои вложения. Крупп и конкуренты Круппа главной своей целью определили сделать независимым производство зимназа и его производных от наличия лютов; пока что это успехом не увенчалось, тем не менее, именно в этом направлении велись исследования доктора Вольфке и ученых, работающих для остальных концернов. Даже Петербургский Горный Институт и Императорское Географическое Общество, косвенно или прямо служащие этим интересам, пытались найти ответы на эти вопросы. Какие физико-химические процессы происходят в "организмах" лютов? В чем заключается "жизнь" Льда? Какая перемена в перемороженной материи отвечает за изменение ее физических и химических свойств? На каких энергетических процессах основываются эти трансмутации? Иными словами: чем является Лёд?

Зимовники доктора Вольфке пробивали лютов тунгеститовыми пиками и заливали в вакуумные криостаты из мираже-стекла их кровь – это был гелий. Гелий, *helium*, солнечный элемент, поскольку был он открыт лишь в спектре Солнца, является благородным газом, то есть, безразличным ко всем химическим искушениям: он не вступает в соединения, которые человек способен легко открыть и исследовать. Профессор Хайке Каммерлинг Оннес из криофизической лаборатории в Лейдене, используя в попытках сжижения гелия громадные его количества, должен был оптово скупать через Амстердам монацит (у него был брат, серьезно укоренившийся в торговле). Лёд ударил 30 июня 1908 года; Каммерлинг Оннес получил сжиженный гелий девятью днями позднее. Температура кипения жидкого гелия, температура, при которой он превращается из жидкости в газ, составляет менее пяти градусов по шкале Кельвина. Достижение столь низкой температуры требовало от голландцев создания сложной системы компрессоров и декомпрессоров, сходящих последовательно все ниже: они сжижали кислород, азот и воздух, затем водород, и – наконец – гелий. Процесс требовал громадных расходов времени и энергии, и он позволял лишь недолго поддерживать столь низкую температуру и при малейшей разгерметизации вызывал резкий нагрев субстанции. Тем временем, в лютах гелий тек свободными ручьями.

Я-оно задумалось над тем, как вообще можно измерить подобный экстремум температуры. Обычный термометр указывает на изменения теплоты посредством изменения объема эталонной субстанции, к примеру, ртути или спирта. Температурные таблицы, вычерчиваемые в контуре при Производстве Круппа, вовсе не описывали шкалу Цельсия, расписанную от нуля, означающую точку замерзания воды при обычном давлении, но абсолютную шкалу лорда Кельвина, где ноль является нулем абсолютным, ниже него температуры вообще не существует, точно так, как нет времени перед началом времен.

- Но что же это в таком случае означает? – спросило я-оно, вернувшись к печке на кружку горячего чая. Например, два и две десятые или же один и восемь десятых. Если на самом конце находится абсолютный ноль, то есть – отсутствие тепла – то что это такое? Как измерить абстракцию?

- Это правда, долгое время у нас была только пустая математическая модель, - признал Иерхейм, выпуская уголком губ пахучий дым. – Раз температура является мерой растяжения, декомпрессии материи, и жидкость более декомпрессирована по сравнению с твердым телом, а газ – по сравнению с жидкостью, то граница декомпрессии газа является границей температуры. Берем определенный объем воздуха и...

- Охлаждаем, при этом, измеряя изменение объема, то есть – давления, выводим зависимость, подставляем нулевое давление...

- Так.

- А может газ обладать отрицательным давлением? Не может. Хммм.

- Отсюда в температуре и абсолютный нуль. Уравнения показывают границу на двухстах семидесяти трех градусах ниже нуля по шкале Цельсия.

- И как вы это замеряете? Через давление газа?

- Действительно, в окрестностях абсолютного нуля метод не срабатывает. Электрические термометры тоже не самые надежные, электрический ток при низких температурах – это еще одна загадка. Но все дело в том, господин Герославский, что по-настоящему близко от абсолютного нуля...

- В сердце лютая.

- Ба! – *Mijnheer* Иерхейм снял ноги со стула, оглянулся на таблицы, вывешенные между внешними окнами, схватил, что попалось под руку, длинную грязную пипетку, и уже ею, словно дирижерской палочкой, указал на размеченную линейку, прибитую вертикально у фрамуги. На одной четвертой высоты линейки (а ее длина составляла больше аршина) кто-то приkleил голубую стрелку. В самом низу был виден вырезанный из дерева большой, круглый будто яйцо ноль. – Таковы наши наилучшие оценки последних измерений.

- Четверть градуса?

- Фи! Вся эта линейка – это одна сотая Кельвина! – рассмеялся голландец.

Проглотив горячий чай, я-оно сделало изумленную мину.

- И чем же, якобы, отличается три сотых градуса от двух сотых градуса?

- Представьте себе газ на молекулярном уровне. Вы выдыхаете воздух в стеклянную банку. – Он дунул дымом внутрь мираже-стекольной колбы, быстро закрывая горлышко рукой с трубкой; за стеклом закрутились синие вихри, быстро перекрасившиеся в желтый цвет. – Что происходит? Мириады частиц выпадают из одного объема в другой. Фьюу! – махнул он пипеткой над головой. – Гоняют, куда только могут. Как соотносится объем легких к объему Крупной банки?

- Мы будто бы выдыхаем в пустоту?

- Скажем так.

- Чем больше пространство, тем меньше давление. – Я-оно потерло костяшками пальцев по заросшей щеке. – Чем меньше давление, тем ниже температура. Но ведь тепло – это энергия; куда уходит эта энергия?

- Вы только что открыли Первое Начало Термодинамики. А как измерить давление? – Иерхайм сунул в горлышко колбы, в которой грел молоко, широкую пробку. – Я всовываю в горлышко банки непроницаемый вес. Что толкает его снизу?

- Удары этих частиц.

- Теперь я суну вес в два раза больший. Он сдвигается ниже. Уменьшится объем, увеличится давление, увеличится температура. Я подогрел воздух.

- Это мера движения молекул. Суммы их энергий, импульсов, с которым они бьются в этот разновес.

- Но только в определенной степени. – Он трижды стукнул пипеткой по колбе, и это прозвучало словно колокольчик службы в церкви. – Тут мы подбираемся ко Второму Началу. Работа, движение переводится в тепло как следует – но вот тепло уже переходит в работу всегда с потерей энергии. Если бы я должен был поднять мой придуманный разновес на высоту в два раза более легкого разновеса путем подогрева воздуха в банке, я должен был бы затратить больше энергии, чем потратил на сжатие воздуха. Эта разница, эта убегающая энергия – это и есть энтропия, дорогой мой господин.

...Вот поглядите на наш здешний бардак. – Стеклянная дирижерская палочка замкнула окружность. – Чтобы привести мастерскую в подобное состояние, необходимо затратить энергию на перемещение каждого предмета из места в упорядоченной системе в любое иное место. Но чтобы теперь все это установить в порядке, энергии для перемещения предметов в любое иное место уже не хватит. В лучшем случае, бардак останется таким же, но, вероятнее всего, станет еще большим. Энтропия нарастает.

...Когда я растапливаю лед, энтропия нарастает: у меня был ледяной кристалл, теперь у меня свободно текущая жидкость. Когда я испаряю жидкость, энтропия увеличивается: у меня была жидкость, организованная в соответствии с поверхностью сосуда, теперь туча частиц, летающих, где им пожелается.

...Зависимость замечает?

- Чем холоднее, тем энтропия ниже.

- И это, согласно мнению господ Нернста и Планка означает, что при температуре абсолютного нуля энтропия любой системы равняется нулю. – *Mijnheer* Иерхейм царапнул мундштуком трубы шрам после обморожения над глазом, задумчиво постучал по голой кости. – У нас в Лаборатории имеется рентгеновская лампа, чтобы просвечивать зимназо, – заметил он, после чего, побурчав под носом, предпринял неуклюжую попытку борьбы с локальной энтропией: одна полка, вторая полка, шкафчик, сундук с бумагами, куча папок, третья полка, наконец нашел кляссер, всунутый под короткую ножку стойки вакуумного насоса. Трехпалой ладонью он переворачивал темные негативы. – Этот. – Он вынул, поднял пластинку к свету. – Латунь, через день после сплавления.

Я-оно прищурило глаза.

- Ничего не вижу.

- А, ну да. – Голландец смешался. – Дело в том... Здесь где-то были рисунки. – В конце концов, он нашел кусок листка, вырванный из старого номера "Иркутских Новостей", на широких полях которого кто-то вычертил схемы. – Так выглядит молекулярная структура латуни через день после выполнения сплава.

○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ●  
 ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○  
 ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ●  
 ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○  
 ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○  
 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●

- А вот так – через несколько месяцев.

○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●  
 ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○  
 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ●  
 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

- Атомы меди и цинка упорядочились. Сплав остыл. – Иерхейм выпрямился, поднял с хрустом голову. – Теперь угадайте, что показывают все просвечивания холдов зимназа?

- Этот вот идеальный порядок.
- Так точно! Атомы стоят будто на плацу – в самой малой пылинке, в самой тонкой нити – словно в кристалле. Я-оно инстинктивно мельком глянуло на линейку сотой части градуса.
- То есть, дело не только в том, чтобы отобрать у частиц энергию, чтобы остановить их в движении.
- Нет. К абсолютному нулю все сводится через...
- Упорядочивание, однозначность, единоправду материи, да-да, нет-нет.

Неужели я-оно этого не знало? Разве не испытывало этого во времени поездки по Трансибу? Чем иным является Зима, как не связыванием хаотической, нестабильной, многозначной материи в математическом порядке идей? Чем иным является Лето, если не Царством Энтропии?

- Когда от нуля нас отделяют всего лишь тысячные доли градуса, – говорил Иерхейм, – различие не определяется какой-либо энергией движения – потому что ничто не должно двигаться, ни энергией молекулярных колебаний – потому что колебаться они не должны, ни даже порядком атомной структуры – он уже абсолютен. Процесс упорядочивания осуществляется на более глубоком уровне.

Тьмечь свербела под черепом.

- Но если мы уже не измеряем температуру через изменения давления, то откуда нам известно, не позволяет ли эта холодная энергия Порядка и Беспорядка, правды и Лжи – не позволяет ли она спуститься ниже, чем математическая модель, то есть, к температурам меньше минус двухсот семидесяти трех градусов Цельсия?

В ходе очередных перерывов, которые группа доктора Вольфке использовала, чтобы обогреться, *mijnheer* Иерхейм позволил заглянуть в один из термоскопов, смонтированных на рельсовых направляющих между цехом и холадницей, от которой шел терзаемый лют. Сняв очки, я-оно осторожно склонилось над круглым окуляром в зимназовой оправе. Это был третий из боковых термоскопов, прикрученных с постоянным положением и угловым наклоном; он служил для наблюдений за опытом, проводимом на крови лягушек в условиях Мороза, то есть, в аппарате, воткнутом в бок ледовика словно наконечник копья римского легионера или же палец Фомы Неверующего в бок Распятого.

Аппарат состоял из двух мираже-стекольных мензурок, размещенных одна в другой, в обеих находилась кровь лягушки, причем, меньшая мензурка была подвешена над большей без непосредственного между ними соединения, ее дно находилось в двух вершках над уровнем крови в нижнем сосуде, а ее верхний край высоко выступал над краем большего сосуда. В эксперименте измерялся темп самостоятельной текучести гелия при температуре, приближенной к одному градусу Кельвина. В окуляре четко видело формирующуюся под дном верхней мензурки каплю крови ледового создания. Чистый гелий – атом, и атом, и атом – полз, подталкиваемый таинственной энергией по стенкам высокой мензурки вверх, проскальзывал через ее край и сползал вниз, по внутренним стенкам, скапывая в нижний сосуд. Перемещение гелия прекращалось, когда уровни жидкости выравнивались. Но откуда кровь лягушки в одном сосуде "знала", что ей следует карабкаться вверх? Какая таинственная сила поднимала ее, вопреки законам тяготения? Какого порядка достигали в этом перемещении молекулы гелия, если не порядка каменной безжизненности кристаллических структур? Но выглядело все это чуть ли не так, будто один из простейших элементов в своей примитивнейшей форме в условиях Льда вдруг обретал свойства жизни.

вого организма. Чем сильнее он был заморожен – тем более живым становился. Таковой была чернофизическая физиология лютов.

В опыте измерялся темп протока их крови, поскольку из первых наблюдений следовало, что он оставался постоянным, независимо от разницы в расположении мензурок или других условий; теперь собирались данные, чтобы вывести из наблюдений формулу скорости перемораживания лютов над поверхностью земли и по Дорогам Мамонтов.

В Криофизической Лаборатории Круппа были отмечены и другие феномены, которые тут же докладывались в "Annalen der Physik"<sup>6</sup>. Кровь лютов была субстанцией, лишенной вязкости, во всяком случае, с вязкостью в миллионы раз меньше вязкости гелия в условиях Лета. При том, чем через более узкие щели она протекала, тем сильнее ее вязкость уменьшалась. Точно так же, теплопроводность гелия в лютах увеличивалась в миллион раз. Помимо того, из лаборатории Тиссена докладывали о невозможности определения удельной теплоемкости крови лютов в окрестностях 2,2°К, в точке ее наибольшей плотности; аппаратура давала совершенно абсурдные результаты.

Тем не менее, по словам *mijnheer* Иерхайма, наибольшим к настоящему времени успехом черно-физиков было описание эффекта, из которого они ожидали вывести законы, отвечающие за самые удивительные свойства тунгестита и зимназа, то есть – их отрицательную теплоемкость. Тунгестит (и, до определенной степени, большинство зимназовых холдов), получив порцию энергии – то ли в форме электрического тока, магнитных сил или кинетической работы, либо просто тепла – вместо того, чтобы разогреться, понижает свою температуру, не выпуская при том наружу энергию каким-либо измеримым способом. Существуют формулы, определяющие пропорциональность таких изменений; доктор Тесла должен был знать результаты подобных опытов, зато физики явно не были ознакомлены с результатами его исследований теслектричества, не были им известны и принципы работы тьмеченоносных машин. Здесь поиски шли в направлении черной оптики, то есть, измерений энергии тьвыта.

Я-оно сразу же поняло, что недостающим элементом теории является тьмечь: энергия логики, носитель Мороза. Можно было намекнуть Иерхайму или самому доктору Вольфке об открытиях Теслы – и это наверняка гарантировало бы мне должность у Круппа. Но не успело даже скривить губ при этой мысли: ведь это была бы роль промышленного шпиона и вообще – предателя. Ничего удивительного, что Никола забаррикадировался в Императорской Обсерватории, и скорее уж получит приглашение от каких-нибудь шарлатанов или какого-то Братства апокалипсиса, чем от черно-физиков зимназовых концернов. Не существует науки, которая абсолютно не была бы связана с политикой или экономикой, даже высшая математика влияет на лицо мира, на ход Истории. Выходит, есть уравнения левые и правые, имеются они прогрессивные и консервативные, существуют таковые оттепельнические и ледяные. За Теслой стоял Царь-Бог, самовластно требующий изгнания лютов из своих владений; за черно-физиками же стояла сила денег, возросшая на эксплуатации Льда.

И снова я-оно очутилось на полдороги между Льдом и Оттепелью, то есть, между молотом и наковальней Истории.

Так что о Тесле не промолвило ни слова. Даст Бог, они вообще не пронюхают об этом знакомстве.

А опыт, открывающий основы контр-термодинамики, выглядел следующим образом: в сосуд с кровью лютов погружали до половины, дном вверх, сосуд, вертикальное сечение которого напоминало греческую "омегу", то есть, со суженной шейкой. Уровни гелия в первом и втором сосудах в начале опыта были одинаковыми. В гелии, внутри меньшего сосуда, находился нагреватель. Так вот, после включения нагревателя, уровень гелия в этом втором сосуде поднимался: вместо того, чтобы испаряться в газовую форму, который бы выталкивал жидкость вниз, сжиженного гелия делалось больше. Кровь лютов при нагреве снижала собственную температуру.

Опыты же, над которыми Вольфке ломал голову сегодня и над отрицательными результатами которых сожалел, в свою очередь, касались сверхпроводимости зимназа. В условиях Лета феномен сверхпроводимости наблюдали исключительно при нижайших температурах; тем временем, некоторые зимназовые холды показывали нулевое электрическое сопротивление и выше нуля по Цельсию. Это открывало дорогу к совершенно новым технологиям, начиняя от не имеющих трения магнитных подшипников и сверхточных гироскопов. Но все это были патенты явно военного значения.

Иерхайм и Вольфке жаловались на необходимость отсыпалать частые и очень подробные отчеты в Берлин; оттуда же приходили планы целых серий экспериментов, которые необходимо было провести в Холодном Николаевске. – Пускай посадят сюда дрессированных обезьян! – бурчал доктор Вольфке за обедом, так же поглощаемом в мастерской, в спешке и бардаке. Мечислав Вольфке с молодости был увлечен концепцией межпланетных перелетов, и сам он, скорее всего, посвятил бы время концепциям чисто инженерного применения зимназа или, хотя бы, проектам крупных батарей постоянного тока. От точно такого же порядка страдали и учение Белков-Жильцева, которых подгоняли академики из томского Технологического Института. Миф о бесплодности умственной работы в Стране Лютов был более распространенным, чем казалось Николе Тесле.

После полудня я-оно помогало Бусичкину и Иерхайму каталогизировать зимназовые образцы, которые после долгосрочного переморожения возвращались в Лабораторию в Башне для совершения подробных замеров их физико-химических свойств и для просвечивания в рентгеновских лучах.

Чингиз Щекельников не спускал глаз с зимовников. Во время очередного перерыва он зашел и мрачно известил:

- Не нравится мне все это, господин Ге. Почему они не бастуют?
- Так ведь и бастует даже не большинство.
- Эти работают даже с охоткой. Остерегайся работника, что не ленится. Скор к работе – будут хлопоты.

Вот вам мудрости российского народа.

Я-оно старалось показать собственную пригодность. По собственной инициативе взялось за упорядочивание бумаг, заваливших столы и полки. Правда, это было задание, сравнимое с подвигами Геракла. Вольфке, заглянув в комнату,

<sup>6</sup> "Анналы Физики"

не сказал ничего, лишь впоследствии спросил, хорошо ли мне известен немецкий язык – вся документация на фирме велась именно на нем. Ответило, что я родился и учился в Пруссии.

После четырех вечера на Производство прибыл усатый жандарм с указанием заканчивать на сегодня все необязательные работы в холадницах; гражданские должны были возвращаться в Башни. Казалось, что Вольфке устроит скандал в отношении этих "необязательных работ"; нет, только махнул рукой и затрубил в свой платок.

Лаборатория Круппа размещалась в Башне Пятого Часа на седьмом этаже, который представлял собой нечто вроде бесформенной мансарды под остроконечными чердаками, обложенной панелями из легкого зимназа и перемороженного стекла. Зал занимал весь этаж и был завален не меньше мастерской на Производстве. Расставленные то тут, то там металлические шкафы разделяли пространство. Лестничная клетка вела еще выше, на крышу – каждый день, за час до рассвета и за час перед закатом туда взбирались ледоколы, чтобы сбивать свежие нарости мерзлоты и сбрасывать снег. У основания Башен, между опорами тогда зажигали красные предупредительные огни. Когда я-оно въезжало наверх с Бусичкиным и Щекельниковым, с тяжелыми чемоданами образцов металлов, мужики уже готовили огневые корзины. Из самой Лаборатории их огни, конечно же, видны не были. Но через несколько минут, едва успело раздеться и отогреть руки у печки, по лестнице промаршировало четверо зимовников в подбитыми гвоздями сапожищах; они вошли на крышу и раздались глухие звуки: бум-бум-бух. Электрические лампы мигали, то делаясь светлее, то практически погасая – но это не от стука, в Стране Людов так всегда. Я-оно присматривалось к *mijnheer* Иерхейму, который, несмотря на грохот, весело спорил с по-дающей чай женщиной, сейчас поливающей рахитичные растения в горшках на подоконниках. Щекельников, которого доктор Вольфке попросил уйти, прежде чем спуститься в холл с лифтами, еще успел провозгласить достойное Кассандры предсказание о голландце: Добра желает, ха, ежели кто чужому так добра желает, то наверняка нож в кармане таскает! Пока Иерхейм не отправился в свой угол за шкафами, я-оно попыталось взглянуться в уродливого инженера глазами пана Велицкого, глазами пана Мышилевского. Что это за человек? Какова правда об этом человеке? Свет мерцал, мерцал и потьвет вокруг Иерхейма, он поворачивал свое уродливое лицо в тень и в свет, один раз такой, и вот уже иной, из правой памяти: крепкое пожатие его руки; из левой памяти: ядовитая подозрительность; почувствовало себя совершенно заблудившимся, как в отношении очередного анонимного товарища по транссибирскому путешествию. Расчесывало ладонь, хотя та совершенно не свербела.

К вечеру метель явно утихла, а поскольку солнце еще не опустилось, с высоты Часовой Башни открывался замечательный вид на большую часть Холодного Николаевска и первые халупы Иннокентьевского Два. Я-оно выглядывало через панорамное окно Лаборатории, нацеленное на Дырявый Дворец, на северо-запад. Когда белизна инея перетекала на геометрические формы холадниц, а на поля снега и льда стекали коричневая и черная краски от машин, дымов, складов – тогда рождалась картинка словно с соборного витража, освещенная вспышками, источник которых располагался где-то за пределами рамы, огонь – под красками, свет – под землей. Заводские трубы, терриконы породы, поднебесные вагоны, процессы рабочих, железнодорожные склады, могучие подъемные краны, телеги с углем с оленьими упряжками, столбы, путевые переходы, лампы и фонари, заводские крыши, их ворота, строящиеся производства, фабрики в пусковой фазе, заводы работающие – лучистые, светлые, яркие, святые, святые.

Замешательства вокруг железнодорожных путей с этого расстояния оставались практически незаметными. Один раз, в отливе красок на стекле, заметило голубые ряды пехоты с берданками в руках, прячущиеся за звездчатой спиной лята. Бастующие наверняка пожелали блокировать Мармеладницу, а вот этого терпеть было уже нельзя. В фальшиво-правдивой памяти мигнул цусимский рассказ капитана Насбольдта. Здесь, в самом сердце Зимы, каковы имеются шансы у спонтанного бунта против государства в войне математических необходимостей?

Я-оно закурило папиросу. Доктор Вольфке, остановившись недолго рядом, вытирая нос. Протяжно завывали три или четыре сирены. Людские муравьишки крутились на снегу между монументами мороза и еще большими промышленными памятниками.

- Я тоже иногда вот так размышляю, - глядя вниз, сказал Вольфке ("Я тоэ инохда вот тах 'ажмыфляю").
- Десять лет.
- Да. Какой же мир ледовых технологий увидят наши внуки?
- Стряхнуло пепел, почесало ладонь.
- Вся Земля подо Льдом.
- Ай, так вы тоже ставите на Оттепель?
- Не понял?

- У всех здешних поляков в этом плане самые смешанные чувства. – Он протер мираже-стекло платком, глянул в отражение внутренностей Лаборатории с измененными цветами. – Пан Хенрык сказал мне о вашем отце. Прошу прощения, даже не было времени поздороваться.

Я-оно раздраженно махнуло рукой, оставляя в воздухе дымный восклицательный знак.

- Тут политическое дело, меня задержало Министерство Зимы. Потому-то так вам и надоедаю. И еще одно могу пообещать: пока Сын Мороза будет у вас работать, Круппу всегда будет хватать зимовников для работы в холадницах.

На станции Мармеладницы блеснуло несколько огоньков. Никакой звук оттуда до Башни не дошел, да и эти отблески мелькнули без особого следа. Глядело рассеянно, стряхивая пепел в горсть, покрасневшую следами от ногтей.

Доктор Вольфке что-то побурчал и протянул руку.

- Так что же, приветствую в Криофизической Лаборатории Круппа.
- Шестьдесят?

- Пятьдесят.
  - Пятьдесят пять?
  - Пятьдесят. А там посмотрим.
  - Здесь все неприлично дорого.
  - Пятьдесят рублей, дорогуша, не больше, такова ставка ассистентов, и даже заступничество инженера Иерхейма этого не изменит.
  - А что с патентами?
  - Вы рассчитываете на изобретения?
  - Разные странные вещи ходят в голове.
  - Это уже торгуитесь с директорами.
- Я-оно показало его руку.
- Пятьдесят
  - Замерзло.
  - Замерзло.

После длительной феерии отблесков, из-за вагонов в направлении Иннокентьевского рванула муравьиная толпа: малюсенькие человечки на снегу, оставляющие за собой капельки багрянца, тут же расплывающиеся на мираже-стекле в очередной витражный цветок. Все это было очень красиво, тем более – в движении, с белоцветными тенями на небоцветной земле, когда темень опускается над Холодным Николаевском, а длинная тень Дырявого Дворца указывает на Седьмой час. Так императорское войско разгоняло протестующих рабочих.

*Мароз царствовал трескучий.*

## О смерти в настоящем времени

Модест Павлович Кужменьев, зайдя к Велицким на полдник, поделился вестями из правительственныех сфер, то есть из коридоров дворца и Цитадели генерал-губернатора. Так вот, дочка графа Шульца-Зимнего, Анна Тимофеевна, обручается с неким Герушиным из старинного помещичьего рода олонецкой губернии; по этой оказии во дворце должен состояться большой бал, на который Его Сиятельство созывает все имеющие значение семьи Байкальского Края. Панна Мария и пани Галина при этом известии начали умолять старого адвоката, чтобы тот шепнул, где следует, словечко и доставил им огромнейшее удовольствие, устроив приглашение для Велицких. Адвокат поглаживал себя по седой бороде, угощался обильно подвигаемыми ему лакомствами и довольно урчал, удовлетворенный оказываемым ему вниманием и впечатлением, вызванным такими сведениями. Правда, хозяина дома мало интересовали балы и семейные связи аристократов, он начал вынытьвать Кужменцева о вопросах хозяйственного, государственного уровня, в частности, про репрессивную политику генерал-губернатора: то есть, долго ли тот замыслил удерживать подобный террор? Любые общественные беспокойства плохо отражаются на делах. Посольство Дж.П. Моргана уже покинуло Иркутск, отправившись на Большую Землю Транссибирским Экспрессом. Адвокат сообщил, что у них, якобы, имелись полномочия от Белого Дома, подписанные самим президентом Коксом. Правда, ничего удивительного в том не было, учитывая то, что Казначейство США должно Моргану огромные миллиарды. А вот другое сообщение гораздо большее пришлось пану Войславу по нраву: князь Блуцкий-Осеи прекрасно справился в Гонконге с делом мирных переговоров с японцами; настолько хорошо, что, по сути, миссия его уже перестала быть тайной, и теперь уже открыто говорится о договоренностях между Его Императорским Величеством и императором Хирохито, вскоре об этом напишут и правительственные газеты. За успех переговоров пан Велицкий выпил рюмочку мадеры.

Усевшись на шезлонг возле кресла достойного старца (сонная Михася тут же забралась на колени), вполголоса заговорило о продвижениях по известному делу – не слышно ли чего-нибудь нового? возможно, Штамбух получил какие-нибудь новые указания? что с Ормутой? когда и какой чиновник наконец-то поставит печать, и отдадут ли паспорт? что говорили на совете Сибирхожето про идею Шульца провести диалог с людьми? да и что вообще говорят?

*Гаспадин Кужменьев глубоко вздохнул, даже светени заискрились в его бороде и усах.*

- Это ведь дело политическое, и никакими иными средствами его не решить, исключительно политическими. Правильно? Так что, здесь никак не помогут юридические штучки, процедурные хитрости, знакомства с чиновниками, взятки и услуги. Тут должно быть принято политическое решение, в отношении вас, Отца Мороза, Льда и Истории. Пока они не решат, для чего вас использовать и вообще, для чего вы пригодны, то есть, на чем сами вы стоите – до тех пор вас, Венедикт Филиппович, никуда не пустят, даже если бы завтра с утра паровоз пошел на Кежму.

- Но как только я открыто за чем-нибудь выступлю, тут же врагов себе наделаю. Ведь нет же такой возможности, чтобы выступить за что-то или кого-то, и вместе с тем, не против кого-то иного.

- Ох, иллюзии юношеские! – добродушно захохотал старик. – Неужто вы до сих пор питаете надежды, что по жизни пройдете как приятель всем и вся, никого врагом своим не делая? Прекрасно.

- Сейчас, по крайней мере, меня видят полезным и те, и другие. Но если я выскажусь хоть словом за Оттепель – ледяники всех собак на меня спустят; за Лед выступлю – оттепельники затравят.

- Не знал я ни одного достойного уважения человека, у которого не было бы смертельных врагов. – Старый адвокат сделал глоток кофе с молоком, причмокнул, оттер ус. – Вы хотите отца ото Льда вызволить, так? Хотите сами из Иркутска вырваться, так? Тогда вам следует замерзнуть в той или иной политической конструкции; и кто-нибудь – с той или иной стороны – высказался за вас с силой и уверенностью, переломит этот пат.

- А если я не могу так замерзнуть? Если все эти ваши идеи мне чужды и неприятны?

Модест Павлович развел руками.

- *Ба! Ваш атец, ваша жизнь; руки свободные.*

Михася уже хорошоенько заснула; я-оно осторожно отнесло ее в кроватку, позвало Машу. Мысль, что следует встать на одной из сторон, высказаться за такую-то и такую-то Историю – ведь Зейцов не ошибался, в окончательном расчёте действий и результатов это будет выбор Истории – мысль эта не была бы столь неприятной, если бы не осознание того, что здесь, подо Льдом, нельзя замерзнуть во лжи. Почесывая ладони и предплечья, ходило по комнате, пока не наступила ночь, да и долго после того; паркет поскрипывал под ногами в тихом жилище. Если замерзнуть оттепельником – так будешь оттепельником. Если ледняком – так и будешь ледняком. Если пилсудчиком – тогда пилсудчиком. Если буржуем. Если социалистом – так и останешься социалистом. А уж если циничной, безидейной шестеркой – тогда уже, вправду, и ни у кого не будет никаких сомнений: шестеркой! Конец насосу Котарбинского, конец с утренним откачиванием тьмечи, после которого в голове кружит миллион живописных увлеченностей, и все такое по-волшебному изменчивое, открытое, возможное и бесконечное – недовершенное – теплое – детское...

В Лаборатории Криофизики Круппа с самого утра царило огромное замешательство, а источником всего шума и кутерьмы был немой Бусичкин. Едва лишь я-оно уселось за столом у окна (сквозь чистое мираже-стекло вливалось раннее солнце), едва почистило перо, прибежал господин Бусичкин, панически размахивая руками и хватаясь за галстук, словно в хаотических попытках задушить самого себя. По традиции, еще до рассвета я-оно зашло в "Новую Аркадию", откачало тьмечь, так что язык во рту сделался деревянным, а пальцы посинели, так что сразу не могло и понять, что имеет в виду Бусичкин: десяток страшных и странных фантазий тут же пришло в голову при виде возбуждения химика-лилипута. Доктор Вольфке еще не появился, инженер Иерхейм, скорее всего, сидел на Производстве, остальные сотрудники куда-то попрятались. Стол прогибался под стопами неупорядоченных отчетов по тысячам опытов, проводимых Лабораторией Криофизики *Friedrich Krupp Frierteisen AG* или же копий статей, публикуемых конкурентными лабораториями; основанное при участии Круппа *Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft fur schwarze Physik*<sup>7</sup> уже несколько месяцев требовало от доктора Вольфке полного отчета, и эта вот неблагодарная работа пала на плечи его нового ассистента. Оторвало покрытый кляксами кусок от листа черновика указанного отчета и подсунуло его Бусичкину. ПОМОГИТЕ, написал тот, У МЕНЯ ЗАМЕРЗ ОГОРОД.

Как оказалось, тот проводил исследовательский проект на пограничье черной физики и черной биологии, а именно: в больших кюветах, наполненных тунгеститовой почвой, он разводил различные виды трав, цветов и овощей. Кюветы, чтобы не занимать места в Лаборатории, он держал высоко на железных шкафах; часть кювет была плотно закрыта от солнечных лучей, другая часть размещалась поближе к окнам. Но все растения, наверняка, требовали соответствующего полива и тепла. Тем временем, пройдя сегодня на седьмой этаж Башни, еще до появления бригады ледоколов, Бусичкин застал зал Лаборатории, охваченный морозом, с покрытыми инеем окнами, давно потухшими печами. Он сразу же развел в них огонь, натопил, после чего поспешил спасать свои "плантации". Нужно было осторожно снимать тяжелые горшки; Бусичкин склонялся над каждым, совал термометр в почву возле корней растений, клал пробы под микроскоп, чуть ли не оттаивал промерзшие листочки и стебельки собственным дыханием.

- Авария? – спросило у него я-оно. "СТОРОЖ КРЕТИН ГОЛОВУ СВОЮ ЗАБЫЛ!!!" Если бы Щекельников захотел заняться честным трудом, перед ним открывался шанс, наверняка на такую должность особых квалификаций и не требовалось. Еще и в люди выйдет! Но потом подумало, ведь это же старый лютовчик; каким замерз, таким уже и замерз – со всей своей подозрительностью, с мрачной гримасой на квадратной роже, со своим ножиком.

Но, поскольку свежий теслектрический поток все еще бушевал в голове, на этом одном кривые, незавершенные замыслы еще не кончились.

- Быть может, вы уже развели какие-нибудь съедобные растения, господин Бусичкин?

Тот указал на кювету с растением женьшень. "КИТАЙСКИЕ ДОКТОРА ЧЕРНЫМ КОРНЕМ ЖЕНЬШЕНЯ, ЯКОБЫ, ЛЕЧАТ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕДОВЫЕ БОЛЯЧКИ". Это какие же? Передвигая керамические горшки, тут же родило две новые вариации: раз, нельзя ли таким методом добыть лекарство от Белой Заразы, и за сколько тайна медикамента пошла бы на харбинском рынке; два, ведь китайцы точно таким же способом разводят свой черный опиум, о котором на обеде у семейства Велицких Пьер Шока чудеса рассказывал. Может ли, действительно, быть он простой смесью, то есть, молотым тунгеститом, добавленным в обычный маковый концентрированный сок. Не должны ли они поначалу вырастить на ледовой почве мак, а только потом собирать из их головок черный сок? Я-оно запачкало рукав чесучового пиджака; стирая пятно смоченным слюной пальцем, словно от трения янтаря выискрило третью идею: а вдруг вся эта Белая Зараза, с которой пришлось сражаться на Тихоокеанском Флоте доктору Конешину, не является ничем иным, как обычной микробной болезнью, разносимой питанными тунгеститом, на тунгестите выросшими, микробами? Нашелся ли уже какой-нибудь Пастер, который бы изолировал и под микроскопом осмотрел ледовые бактерии? Быть может, все хлопоты с лечением Белой Заразы берутся оттуда, что ее бациллы не размножаются, не травят и не умирают, как бациллы Лета, но управляют ими биология и медицина Зимы, то есть, наивысшего холода и единоправды, наименьшей энтропии – возможно, все эти моряки и обитатели Владивостока больны порядком?

Бусичкин не успокоился до полудня; пришел Вольфке и Иерхейм, вернулись их ассистенты-исследователи с сумками тунгестита для новых экспериментов, получение которого было подтверждено главным бухгалтером (Вольфке закрыл тунгестит в гигантском сейфе, стоявшем за его письменным столом), появилась с охапками карт госпожа Пфетцер – а

<sup>7</sup> Здесь: Научное Общество по изучению черной физики имени кайзера вильгельма (нем.)

Бусичкин все шлепал от одного человека к другому, заламывал руки, вращал глазами, без слов требовал людской справедливости, то есть, немедленно выгнать сторожа и нанять совестливого работника для надзора Лаборатории днем и ночью.

Во время обеденного перерыва, прихлебывая из глиняного горшочка горячий бульон, который разносила занимающаяся еще и чаем девушка, я-оно забралось в лабиринты Криофизической Лаборатории, чтобы ознакомиться с другими выдающимися трудами доктора Вольфке и компании. Проходя под графиками работы холадниц рядом с печкой, оглядевшись предварительно по сторонам, левой рукой цапнуло одно из недоразвитых растений Бусичкина, картофельный росток, закопанный вместе с клубнем. Сунуло его в карман костюма, спрятавшись за шкафами, завернуло картофелину в носовой платок. Никто ничего не видел, потому что и не глядел.

Инженер Иерхейм – рожа, хоть святых выноси – подремывал, вытянувшись на лабораторном столе, между какой-то весьма сложной аппаратурой, по-видимому, служащей для электрических измерений, поскольку была оснащена циферблатами, а к тому же гудящей низко и тихо, так что волосы на затылке становились дыбом. В путанице кабелей, подключенные так и сяк, лежали провода, сплитки, кружки и кольца из тунгстита и зимназовых холодов. Брошенное сокровище, состоящее на помойке. Завернуло в эту сторону и принесло Иерхейму бульону. Разбуженный, тот лениво поблагодарил.

Присело на табурете рядом.

- Есть одна мысль, – произнесло я-оно.

Голландец зевнул.

- Мои поздравления.

- Погодите. У меня идея: мы заработаем громадные деньги на тунгстите.

- Ага. Это значит – кто?

- Могу я рассчитывать на слово чести? Слушайте. Ведь могу и ошибаться. – Хлебнуло бульончику. Сунуло руку за платком, чтобы вытереть усы, но попалась краденая картофелина, потому лишь нервно почесалось. – Слушайте-ка. Сороки собирают тунгстит, до которого могут добраться, а добраться они могут лишь до того, что лежит перед смертельными для человека изотермами, потому и такой убийственный интерес и убийственные цены, и погоня за всякой мелочью. А ведь целые горы тунгстита лежат в самом эпицентре Льда, куда не ступала нога человека – разве не так?

- Где трахнуло, там и лежит. – *Mijnheer* Иерхейм машинально взял в руки тунгститовый молоточек и легенько стукнул им по термометрической наковаленке; стрелки аппаратуры дернулись. – Какой-то швед – чернофизик недавно писал в "Studien über Thermometrie"<sup>8</sup> о такой вот гипотезе: будто бы вся Зима и Лёд взялись оттуда, что космическая масса тунгстита, каким-то образом напитанная солнечным гелием, грохнула в Сибирь. Представляете себе, с какой энергией был весь этот удар. Ну а тунгстит, как и всякий тунгстит, всю ее конвертировал в Мороз. Вот вам и Зима, вот и люты.

- Послушайте! Дело в том, что до девяноста процентов запасов тунгстита человек доступа не имеет. Разве что...

- Разве что?

- Вот именно. Одно из двух: либо мы привьем зимовникам какое-нибудь черно-химическое противоядие для еще большей стойкости к холоду, либо – Оттепель.

Голландец стукнул молоточком по обнаженной кости на виске.

- Оттепель! Что вы такое говорите!

- Ну подумайте! Когда льды сойдут, и наступит Лето – ведь эти минералы не испарятся же с поверхности Земли! Останутся там, где и упали. Людов для замораживания зимназа уже не будет, но тунгстита будет – валом. – Махнуло горшочком под подбородком. – И кто первым во время Оттепели наложит на него лапу, тот и станет царем Сибирхожето!

Иерхейм был явно смущен.

- Если вы тут оцениваете сырье по рыночной цене, тогда вы правы. Но это та же замена, как если бы спросить у инженера, хотел бы он получить золотую россыпь вместо технологии производства стали. Что это за сделка, я вас спрашиваю! И с чего это вообще подобная мысль пришла вам в голову? – Он подмигнул. – Что, хотите пойти и господина Филиппа агитировать за Оттепель, то есть – за смерть лютов?

Я-оно начало отмахиваться.

- Нет, нет! – Прикусило себя в язык. Ведь про арсенал Теслы проговориться нельзя. – Вы знаете, что Император...

- Император! – фыркнул *mijnheer* Иерхейм. – Вы что, и вправду считаете, будто бы здесь позволят на какие-либо действия, направленные против Льда и уничтожения зимназовой промышленности; если вы так считаете – то вы дитя. – Он поглядел на балаган на столе, наклонился, глянул под столешницей, покосился и в мусорную корзину. – Где-то зесь была у меня газета... Никола Тесла, великий изобретатель, прибыл недавно в Иркутск. Что? Не слышали? А знаете, почему его до сих пор не прогнали? Там была еще и многое объясняющая фотография. Чародей! Повелитель молний! Старец, живущий давней славой и обманывающий глупых российских чиновников, чтобы те оплатили наделанные им в Америке долги. Здесь, в Холодном Николаевске, мало кто не считает его театральным шарлатаном.

Тут вспомнился инженер Решке из Северной Мамонтовой Компании, но снова ничего не ответило.

- Оттепель! – совсем уже проснулся Иерхейм. – Ха! Вы тоже этого наслушались? Император злится на Зиму, и Зима уходит! – Он снова фыркнул и опять постучал себя молоточком под глазом. – Выбейте это из своей головы.

- Ну тогда, в связи с этим, нужны какие-то более устойчивые к морозу зимовники...

- Поглядите, – перебил тот. – Вон там, к примеру: холодильник. – Он указал на продолговатый стальной сундук, весь разболтанный, судя по виду проводов и валов, заполнивших половину его объема. – Мы подводим электрический ток, двигатель крутится, механическое трение зимназовых холодов вызывает понижение температуры внутри. В стенки встав-

<sup>8</sup> "Исследования в области термометрии" (нем.)

ляем мираже-стекольные вакуумные изоляторы, и удерживаем мороз неделями, годами. Начинали мы с тунгеститовых колец, но постепенно применяем все более дешевые холода. Вы имеете понятие, какое состояние заработает на этом Крупп, когда мы встроим прототип в цену, которую смогут себе позволить наши добыватели?

...Или вон то. – Он ударил молот очком по невидимой струне, растянутой между двумя зажимами; только в вибрации та выпустила тонкую радугу, и глаз ухватил образ натянутой нити. – Инейциновое волокно. Тоже уже запатентованное налево и направо. Из него будут изготавливать легенькие аэропланы. Бронированные рубашки и костюмы, на них будет подвешиваться архитектура нового Вавилона. Господа из *Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft* уже прислали нам подробные планы новых городов, новых машин, новых поднебесных железных дорог. А чего не прислали – мы можем догадываться. Все те суда и пушки, для которых Император заказывал здесь зимназо, через пару лет можно будет сдавать на хранение в чулан.

...Зайдите как-нибудь к доктору, быть может он покажет вам свою игрушку: ледовизор. – Иертхейм плоско сложил ладони. – Две пластины мираже-стекла, в нижнюю вплавлена зимназовая сетка, верхняя прозрачная. Между ними взвесь с тунгеститовым порошком. Вы же сами видите, как на мираже-стекле переливаются цветные картинки. В ледовизоре они так же будут меняться и укладываться в соответствии с прилагаемым напряжением. Но это, если ему удастся. – *Mijnheer* Иертхейм схватил горочек, выдул остатки бульона. – Говорят, что ему нужно выехать. Только Крупп его не отпустит.

- Хмм, я расспрашивал, как оно здесь с идеями сотрудников, и...

Уродливый голландец по-дружески похлопал меня по плечу.

- Не бойтесь, молодой человек, я ничего никому не скажу.

А собственно, почему не скажет? Чингиз Щекельников был прав, что-то тут не сходится, математика характера оставляет в уравнениях Иертхейма большое неизвестное, либо же их правая сторона просто не равна левой стороне.

- Вы не останетесь вечером подольше? Я все обдумаю, и мы еще раз этот вопрос оговорим. Что-то мне кажется, какую-то копейку на этом заработать можно.

*Mijnheer* Иертхейм приглашающе махнул рукой.

Вернулось к отчетам для *Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft*. Лед-картошку украдкой переложило в карман шубы. Посматривало и прислушивалось к господину Бусичкину, не заметит ли тот кражи. После полудня появился доктор Вольфке и очень вежливо отругал немого: основная работа Бусичкина заключается не в этом, не за тунгеститовые огороды Вольфке вызывают на ковер к директорам. В основном, Бусичкин отвечал за исследования над крио-углеродом. Ледовый уголь, родом из месторождений, перемороженных лютами (и добываемый, в основном, на черемховских шахтах), характеризуется тем, что, брошенный в огонь – в мгновение ока гасит его и, в сопровождении взрыва тьвета, сгорает при чудовищно низких температурах. Первая загадка, перед которой стоит черная химия, касается молекулярной структуры крио-углерода и других ледовых, зимназовых материалов. Ведь, одно дело – это холод угольного зимназа, к примеру, протянутая сквозь холадницу высокогородистая сталь, и другое дело – холод чистого зимназа, Fe/gl, с крио-углеродом, C/gl<sup>9</sup>. В Томске, Санкт-Петербурге и Берлине уже расписали "Черные Менделеевские законы" ледовой химии, которые, правда, ждут своего подтверждения или опровержения. Происходит ли ледовая трансмутация именно на молекулярном уровне? Остается ли один атом крио-углерода именно крио-углеродом? То есть, является ли это свойством всякого отдельно взятого атома – как электромагнитный заряд, масса или валентность? Существует ли определенное свойство материи на этом наиболее фундаментальном плане, связанное с ее корпускулярно-волновым характером, с энергией и состоянием упорядоченности, которое проявляется только лишь после того, когда мы всмотримся в материю, измененную только для этого единственного свойства: мы не знали, что живем в Лете, пока не наступила Зима. Если бы это было правдой, то существовала бы не только иная биология гелия, но и другая биология ледового углерода: органическая химия, построенная на связях C/gl – ледовые углероды, жиры и белки – ледовые растения и животные – ледовые люди. Брал ли Бусичкин у зимовников кровь? Сжигал ли ее в спектроскопе? Исследовал ли в химических реакциях? Я-оно устыдилось теперь энтузиазма, проявленного перед Иертхеймом. Ничего удивительного, что его все эти замыслы никак не тронули: они здесь наверняка годами копаются в кишках зимовников и придумывают, как бы сделать человека более устойчивым к морозу. Записало на обрывке листка: *Номер 5: Дорога Жадности – отправился в Мороз за тунгеститом?* Ведь отец держался с зимовниками, с мартыновцами; все это подтверждают. Он работал у Горчиньского, потом у Круппа, он знал цену выигрыша в гонке. В тысяча девятьсот одиннадцатом году его роту забрали для одной из первых экспедиций в Лёд; комиссар Прейсс говорил, что большинство из них умерло – видимо, зашли так далеко, как ни один из сорок после них, изотермы ведь перемещаются, Лёд напирает. Что они тогда увидели? Что обнаружили? Добрались ли они до места Удара? Кто еще выжил из той экспедиции? Нужно достать документы из Министерства Зимы. Ибо, возможно, самая простая Дорога – это истинная Дорога; пошел в Мороз, потому что его искусили горы тунгестита; ему нечего было терять, а вот получить он мог – все.

Я-оно осталось хорошенко в ночь – крышелазы погрохотали и пошли, наступили сумерки, в отдаленных углах Лаборатории погасили лампы, послали господину Щекельникову словечко, чтобы не ждал, но тот заупрямился, что будет ожидать – осталось, пока не вышли все, кроме Иертхейма. Спрятало бумаги и приборы под столешницу. С некоторым весельем поглядело на цвет пальцев, черно-синих от чернил. Нужно будет достать конторские нарукавники, жалко пиджака. *Mijnheer* Иертхейм выплыл из лабиринта шкафов уже одетым, с малахаем, в очках и старомодной кирее<sup>10</sup>. Замахало ему, схватилось за шубу. Спускаясь к лифтам, замотало шарф, руки сунуло в рукавицы. Господин Щекельников проснулся, поднялся на ноги. Кабина лифта находилась как раз внизу; встало у окна за дверью, дохнуло на снежно цветное стекло. Лунные радуги вырастали от крыш Дырявого Дворца; Холодный Николаевск плыл внизу в звездных озерах. Уродливый инженер встал

<sup>9</sup> gl – скорее всего, от "glacious" – ледовый.

<sup>10</sup> Согласно словарю В. Даля: (стар.) верхний кафтан со стоячим воротом; (южн.) широкий чекмень с застежками; (моск.) крытый сукном лисий тулупчик; иногда назывался кирейкой.

рядом, достал из-за пазухи бутылку, сделал приличный глоток. Глянуло над мираже-очками. Показал: молоко. Покачало головой.

- Ну, и как там запал молодого миллиона? – откашлявшись, захрипел голландец по-немецки. – Не остыл пока?

- У вас перед ним имеется некий долг благодарности, - произнесло я-оно через шарф.

- Что? Нет!

Но он прекрасно понимал, о ком речь.

Может, это Лёд, а может...

- Вы узнали меня сразу же. То есть, вы узнали его. Я не просил какой-либо помощи, не просил никакого заступничества у доктора Вольфке.

Тот хрюкнул рассмеялся.

- У меня доброе сердце!

- Вы много размышляли об Измаиле. – Подъехала кабина лифта. Господин Щекельников рванул одну дверь, другую. Вступил в мороз, железяки грохотали при каждом шаге. Вошел голландец, закрыл кабину, перебросил рукоятку. Поехали. – Я научился... – пришлось повысить голос, чтобы перекричать ритмичный грохот. – Это две стороны одной и той же монеты: стыд и презрение, благодарность и ненависть. – Отвернуло взгляд на переливающуюся в темных цветах панораму промышленного города. – Эти токи тянутся в нас через границы добра и зла: самые возвышенные намерения порождают грязные подности, самые черные желания толкают на акты ангельского милосердия.

- Теперь вы станете выступать против морали; это сейчас весьма модно в Европе, в Лете.

- Мораль принадлежит меж-человеческому языку, построенному на словах, поступках, движениях материи; в то время, как наши самые глубинные чувства и мотивы не могут быть описаны даже нами самими.

Кабина лифта ударила в землю. Щекельников снова вышел первым. Я-оно шло к станции Мармеладницы по дорожке из неровно уложенных досок. Дорожка была настолько узкой, что на ней, плечом к плечу, помещалось только два пешехода; когда кто-то шел напротив, нужно было останавливаться или сходить вправо. Перрон Мармеладницы, естественно, виден не был – нужно было ориентироваться по Часовым Башням. Тогда еще топографии Холодного Николаевска так хорошо не знало. Разгляделось по небу. Свет горел в Башне Тиссена, работали люди Победоносцева из Надзора в Башне Полуденного Часа.

Сдержало шаг, чтобы не оставлять голландца сзади.

- Вы говорили, что с ним было невозможно жить, что все его ненавидели – вы тоже?

Инженер что-то долго пережевывал под шарфом, под черно-цветными очками.

- Как легко вы судите о тех делах!

- Потому что научился отличать правду слов от правды реальности, о которой рассказывают. – На ходу поисками под шубой портсигар, тот был пуст. – То, что мы говорим, то, что можно высказать, является определенным знаком правды, но правдой никогда не будет.

- Никогда?

- Никогда.

Иерхейм выпускал через шарф облака плотного тьмечного пара.

- Я умираю.

- ...

- Меня пожирает рак, господин Бенедикт. Говорят, что подо Льдом болезни приостанавливаются. Но никто и никогда не вылечил здесь болезни, приобретенной ранее. Я думал ехать в тот санаторий на севере... Быть может, еще и поеду. Не говорю, чтобы вы мне не сочувствовали. Мне хочется, чтобы вы увидели проблему в том же самом масштабе, что и я. Жизненные события и дела мы измеряем самыми страшными трагедиями, которыми напята на нас судьба. Дети беззаботны, для них наибольшее горе, это сломавшаяся игрушка – ничего удивительного, что они проливают слезы над разлитым супом: ведь суп для них, это половина игрушки. Но когда человек почивает в собственном нутре коготь Смерти – как измерить смерть какими-либо денежными проблемами? какими поражениями собственных амбиций? Каким числом неприятностей по работе? со сколькими нарушенными любовями можно сравнить собственную нарушенную жизнь? Все это банальности, *jongeheer*<sup>11</sup>.

Уселись в директорский вагон. Иерхейм, зевнув так, что шарф съехал с подбородка, развалился на противоположной лавке. Выглядывая через грязное окно, он набивал трубку.

- Так что, жалко прошлого, жалко того, что не совершиено. – Он закурил. – Жалеешь об утраченном приятеле.

- Приятеле? Но ведь вы же его совсем не знали?

- Я и не говорю, будто бы знал. Встретить приятеля на целом свете, господин Бенедикт, еще труднее, чем найти хорошую жену.

- Так ведь вы его даже и не любили! Если я хорошо понимаю ваши слова – кем для вас является Измаил – тот самый Измаил, к которому испытываешь инстинктивную неприязнь, который отталкивает, как неправильно сориентированный магнит. Но не приятель!

Тут уже даже другие пассажиры обратили внимание, строго глянув над газетой пейсатый еврей, наморщил брови чиновник в мундире. *Mijnheer* Иерхейм приложил к губам искалеченный палец.

Паровоз засвистел сигнал к отъезду.

<sup>11</sup> Здесь: молодой человек (голланд.)

- Неужто вы никогда не встречали человека, которого ненавидишь с первого взгляда? – тихо спросил голландец. – Он еще ничего не успел вам сделать, вы еще не успели столкнуться ни словом, ни делом, но уже, вы уже уверены, что будете грызться по любому поводу, словно бешеные псы.

- Мхмм, это правда, случается...

- Он твой неприятель еще до того, как осуществится какой-либо акт враждебности. Ба, твоим неприятелем он был уже тогда, прежде чем ты впервые увидел его лично, до того, как услышал о нем. И это ни в коей мере враждебность в плане убеждений, национальности, религии – но именно в отношении конкретного лица, исключительно в отношении лица. Вы понимаете? – Он выпустил клуб табачного дыма. – Это уже опережает действия, опережает свершившееся. У каждого человека имеются сотни врагов, которых он никогда не встречал, и которые никак не узнают о нем. И у каждого человека имеются сотни друзей, с жизнью которых судьба его никогда не столкнет. То, что мы иногда их встречаем, то, что случай – словно из той серии бросков монетой – толкает нас поближе к ним, это вопрос особенный. Впоследствии мы можем поступить так или иначе, поддержать знакомство или от него отказаться, реализовать дружбу или отрицать ее – только это никак не изменит того факта, что человек встретил приятеля. Даже если не сказал ему ни одного доброго слова. Даже если выдал его в руки палачей.

...Вы спросите, зачем...

- Нет, не спрошу.

- Тогда была у меня собачья смена, нужно было зайти в Цех около двух ночи, чтобы калибровать образцы в зависимости от того, как перемещался лют. Так вот, захожу и вижу через окно свет в мастерской. Кто там сидит в такую пору? Прислушиваюсь, похоже на польский язык. Заглядываю: господин Филипп Герославский и какие-то подозрительные типы: рожи заросшие, тряпки бродяжки; я не успел еще удивиться, как один и другой уже за пазухи лезут, оружие вытаскивают. Я удрал. А через неделю или две снова вижу Филиппа Герославского ночью у Мастерской. А что ему там делать, спрашиваю себя, что делает в Криофизической Мастерской геолог? И вспоминается сторож Федойчук, бедняга; трудно не вспомнить. Ну я пошел, доложил.

...На следующий день, с утра, слышу, что господин Филипп на работе уже не появился. Его должны были уволить – но известие разошлось еще и потому, что туда, в старую контору Горчиньского, прибыли жандармы с людьми из охранного отделения, с бумагами на Филиппа Герославского.

...Я понятия не имел, что он был ссылочным, государственным преступником, не знал.

- Когда это случилось?

- Где-то весной тысяча девятьсот девяносто девятнадцатого. – Он пыхнул своей трубочкой. – В марте, в апреле?...

- А где размещалась та контора Горчиньского?

- Хмм, адреса не помню. Это важно?

- Может, там чего от фатера осталось.

Голландец кивнул.

- Завтра дам вам адрес и напишу рекомендательное письмо, если понадобится.

Выйдя на перроне в Иркутске, протянул трехпалую ладонь, вытащив ее из рукавицы. Пожало ее без колебаний, то есть, без какой-либо мысли; пожало, потому что именно так замерзли по обеим сторонам уравнения характера.

На следующий день освободилось с работы пораньше; имелась договоренность с паном Поченгло на давно откладываемую беседу. Он пригласил к себе, домой, у него имелась квартира в Театральном Закоулке, неподалеку от резиденции генерал-майора Кулига. На лестнице разминулось с заседателем и надзирателем в форменных шинелях. Господин Щекельников провел их взглядом, словно заряженной двустрелкой. – Сами идут, не арестовали, – сообщил он.

- Выходит: оставили в покое.

- Вы осторожнее с таким!

- Он человек богатый и с положением в обществе.

На эти слова Щекельников лишь пару раз перекрестился.

Старенький лакей провел в кабинет. Пан Порфирий был в атласной светло-желтой жилетке, как раз застегиваемой на свежей сорочке; камердинер завязывал ему галстук и вставлял в манжеты тунгеститовые запонки – действовал он медленно и неуклюже, поскольку пан директор все время вырывался, над столом склонялся, за ручку хватался, бумаги и газеты перебирал, официальные документы к свету подносил и проклятия им в лицо бело-чернильное метал, словно Гамлет, над могилой разверзтой к черепу обращающийся. Войдя, ставив шапку и мираже-очки, пана Поченгло застало именно в такой вот позе, с многостраничным документом, отмеченным могучими печатями, косящегося из грубо вытесанных глазниц на согнувшегося под боком слугу.

- Да когда же ты вставил?

- Йешлибы гошподин не девгавши! – вторую запонку слуга держал в зубах.

- Куда пальцами лезешь! А, пан Герославский! Над нами словно какое проклятие нависло: нужно срочно мчаться в Цитадель, кланяться честной компании и бумажники чиновникам набивать.

- Десять минут?

- Десять минут, десять минут. – Поченгло глянул на часы. – *Пашол!* – Он хлопнул бумагами по спине слуги и отоспал его за двери. – Ну, давай. Панна Елена?

- Не панна Елена... – Обернулось, выглядывая, где бы присесть, но в кабинете не было никакого подходящего предмета мебели. А хозяин стоял. Так что, разговаривало стоя, в шубе, с покрытой снегом шапкой в одной руке и очками в другой. – Только не отказывайте, пока не выслушаете. У вас есть люди в Америке. Есть люди у Гарримана; должны иметь-

ся. У вас должен быть договор с Гарриманом, вам тоже крайне важно присоединить Сибирь к Америке посредством Кругосветной Железной Дороги. Но это уже дело революционное, без Оттепели вы кончите как и все абыстники до того; Шульц уже прикрутил гайки. Потому мне думается, что у вас имеются и аварийные стратегии: бегство на восток через Тихий океан. Имеются условленные люди, тут и там, имеется транспорт, имеются планы. Мне так кажется. В противном случае... по расчетам бы не выходило. Так что... так что...

- Так?

- Деньги? Я не могу предложить вам суммы, которая бы значила для вас многое. У вас нет в отношении меня каких-либо обязательств...

Пан Поченгло бросил бумаги на стол, подскочил к двери, дернул за ручку, выглянул в коридор. Никого.

- Выйдем вместе, - сухо сказал он.

Поченгло надел сюртук, уже на пороге лакей подал ему шубу и соболью ушанку. На лестнице Порфирий обмотался белым шарфом, расшитым прихотливыми инеевыми узорами. Щекельникова пустило вперед. Пан Поченгло остановился в подворотне, защищавшей от ветра и снега; олени у приготовленных саней позванивали колокольчиками, мерцали фонари. Туман заглушал хруст шагов прохожих.

- Вы и ваш фатер, так?

- Две особы.

- Но он, как понимаю, будет человеком разумным.

- Значит, размороженным.

- Размороженным, - Поченгло протяжно причмокнул, светени блеснули под бровями. – Размороженный.

- Сядет на корабль, среди людей. В противном смысле – это вообще не имело бы смысла. Отмороженный, пан Порфирий.

- Документы?

- Документов нет. Фальшивые, если можете.

- Слишком много вы просите.

- Знаю. И...

- Панна Елена...

- Здесь торг не за панну Елену, - рявкнуло неожиданно. Натянуло шапку и очки, махнуло Щекельникову. – Назовите цену.

- Хорошо, раз уж мы должны идти ради вас на такой политический риск... - Он стукнул тросточкой по льду. – Цена тоже политическая. Впрочем, вы эту цену знаете. По-моему, я уже высказывался о ней в Экспрессе. Во всяком случае, разговаривали об этом у Вителла.

Я-оно глухо кашлянуло.

- Не знаю, послушает ли он меня. Не знаю, послушают ли его люты. Вообще, услышат ли его, размороженного. Как это вообще можно провести: пускай с ними переговорит, потом вырывать его из Льда? Отец Мороз или никакой Отец Мороз. И тем более, я не знаю, слушает ли История лютов. А даже если и слушает. История – она же идет даже медленнее ледовых масс. Пройдут годы, самое малое – месяцы, пока не окажется, что я справился с задачей. А в порту ждать мы не можем.

- Снимите очки. Просто дайте слово.

Я-оно подняло мираже-очки на лоб.

- Слово Бенедикта Герославского: ваша История за безопасное бегство с отцом.

Тот снова стукнул зимназовым наконечником трости в лед.

- Замерзло.

Поченгло повернулся, вскочил в сани, свистнул вознице, тот щелкнул бичом, упряжка оленей зазвенела, захрустела, потянула сани и расплылась в тумане.

Спешно идя по адресу, указанному инженером Иерхеймом (морозы усиливались с каждым днем), в ритме громкой одышки, я-оно прокручивало в голове только одну мысль: было ли все это обманом.

Стало ясно, что я-оно обманывает здесь всех, с самого начала, несмотря на все заклятия о чистой правде и самых откровенных намерениях. И дело не в том, что я-оно намеревается нарушить слово, данное пану Порфирию – ведь нет же. Но, возможно, именно сейчас такое намерение и появится; быть может, сейчас же все и изменится – одна правда вместо другой правды – и со столь же чистым сердцем я-оно запланирует какую-нибудь громадную ложь.

Замерзло – но отмерзает всякое утро под насосом Котарбинского у Теслы. Дало слово и, возможно, сдержит его – но, может, и нет. Возможно, нет. В Лете не заметило бы в этом какого-либо мошенничества, ибо там ни о ком невозможно сказать единоправды наверняка, и всякий обитатель Лета тоже хорошо об этом знает. Но здесь – людиглядят и видят: люточник. Глядят и видят: ага, такой это человек! Раз "С", выходит, и "D", следовательно – "E", выходит – "F". 2 + 2 = 4.

Нет обмана в любом совершенном деянии; обман таится в возможности. Даже если до конца будет держаться той же самой правды – все равно, совершило обман, ведь могло ее и не придерживаться, могло ведь ее и отрицать. И далее может. Машины доктора Теслы ждут.

Щекельников непрерывно оглядывался за спину, как будто бы и вправду мог что-то увидеть в этой сметанной мгле. Я-оно подгоняло его жестом, не теряя дыхания на окрики. Дыхательные пути замерзали, мороз напирал сквозь шарф в полуоткрытый рот. Жидкоцветные образы перебалтывали формы тумана и массивов зданий, огни из высоких окон и фонарей; легко затеряться в подобном городе, только ведь никто из люточников не теряется. Приостанавливалось, терпеливо дождалась Щекельникова. Пожалело о собственной скучности: следовало бы нанять сани. Прохожие перемещались характерной

полу-трусцой, колышась на почти что выпрямленных ногах, ставя короткие шаги. Иногда вначале были слышны их хрустящие шаги, ломающие комья фирна и льда, прежде чем из радужных клубов появлялся многоцветный контур человека.

Старые конторы Горчиньского размещались в здании прогимназии, в квартале к югу от поворота Ангары, ближе к Знаменскому кварталу. Солидная, каменная прогимназия пережила великий Пожар; разве что положили новую крышу. Низкая архитектура еще доледовых времен привела к тому, что за это не самое паршивое расположение Горчиньский платил практически символическую аренду. Он искал свою копейку, где только мог. Сейчас два самых нижних этажа, скорее всего, никто не арендовал – когда спросило у сторожа, дедулю, промерзшего со всех возможных сторон, с багровыми шрамами на белых шрамах, тот лишь пожал плечами. Подумало, что тот, вдобавок ко всему, еще и немой; но господин Щекельников буркнул деду что-то на ухо, и тот пригласил к печи в комнате первого этажа, отвернулся тряпки со лба, показывая теперь нечто больше, чем покрытые шрамами щеки, а конкретно – один слепой глаз, примерзший веком к гнойному струпу, и ухо, словно кусок старой тряпки, опавший на седую щетину. Господин Щекельников угостил дедка махоркой; вот тебе и самое лучшее рекомендательное письмо. Дед отблагодарил, доставая из-за лежанки на печи бутылочку самогонки. Я-оно показало Чингизу жестом, чтобы тот угощался. Выпили разок и другой. Дед раскрыл беззубые десна и повел жалостливый, российский рассказ о богатстве и упадке золотого хозяина, Августа Раймундовича Горчиньского с Большой Земли. За забитыми досками окнами выл ветер от Ангары и Ушаковки. Светени крутились во рту старца словно светлячки в гнилом дупле. Спросило его, остался ли тут кто-нибудь из старых сотрудников Горчиньского. Да где там! Всех сдуло! Спросило его, помнит ли он, а где люди Горчиньского бумажные дела вели. Почему же не помнить! А как же, помнит! Спросило его, помнит ли он одного геолога, инженера Герославского, выгляделевшего так-то и так-то. Ну да, был тут такой. А покажете, где он работал? Осталось ли хоть что-то после Горчиньского с Рудами? Вот этого я не знаю, отвечает на это дедок, они сидели на самом верху, где таперича какие-то канцелярии да конторы аршин по аршину нанимаются. Ежели чего и осталось, то наверняка снесли ниже. Блеснуло серебряной рублевкой. Сторож выковырял из-под тулуна пук ключей. Вы, господа, возьмите лампочки, там везде темно, холодно и страшно. Щекельников зажег две старые керосиновые лампы с ручками сверху; желтый, восковой свет расплзся по заваленной всякой рухлядью сторожке. Темно, холодно, страшно, – тянул свою запевку-страшилку вызывающий ужас дедуля, – слышите, ваши благородия, слышите? Наставьте уши! (Блрумм, блрумм, блрумм, блрумм). Никак дальше не уходят, все время рядом! Семнадцать раз уже с тех пор морозник через здание прогимназии проходил. Ночью, как положу голову на печи, слышу их по тому, как дрожит кафель: топот диких мамонтов под подвалами.

Я-оно вскарабкалось на второй этаж. Сторож открыл двери в коридор. Повсюду лежала снежная мерзлота и темный лед. Искореженная, побитая мебель; двери, выпихнутые из деформированных коробок, пошедший волнами и разбитый снизу паркет, словно после несущей кирпичи волны; на всем этом – предметы помельче, примерзшие в странных конфигурациях – на что падал дрожащий, керосиновый свет, то оживало в тоннеле оставшейся после лютя мешанины, будто бы в кишках сопликова из рассказа пана Корчиньского, которое поглотило и переварило во льду тысячи предметов людского труда, плодов человеческой жизни. Коридор был низкий, узкий, мерзлота наслалаась тут годами, нарастала – словно соляные натеки. Зацепило рукавом о выкрученную сосулью – вылезшую из стены когтистую ящерицу лапу. Приходилось опираться об эти стены, сапоги скользили, ноги съезжали с кривизны, что-то ломалось и трескало под ними с глухим уханием – ледовые кости. Дедуля указывал дорогу. На вмерзшей в потолок тройной вешалке висели замерзшие крестом корпорские халаты. Опухший каменным снегом корпорский стол выполз на порог кабинета и здесь издох. Проколотый сталагмитами ковер собрался сам в себе и выстрелил волнистым горбом к обледеневшей в гранит ручке двери; не достал, лед сломал ему язык. Два канцелярских шкафа свалились одновременно, заблевав друг друга томами актов, которые так и замерзли между ними двойной струей: снизу черная кожа тяжелых оправ, сверху пена обнажившихся страниц. Стоячие часы с циферблатом в виде зодиакального круга завалились в щель в стене, выступали только Телец, Овен и Рыбы, стрелка указывала на выбитое окно, за которым туман радужной мглы медленно накутывался на древко мираже-стекольного фонаря. Сторож открыл очередную дверь. В складе без окон на конце коридора замерзли геометрические пирамиды пачек, перевязанных зеленым шпагатом. Каждая пачка – это пол-пуда сплавленных морозом бумаги. Дедуля подсветил, соскреб иней с одной, другой, третьей картонной обложки; заметило печать с кириллицей – "Руды Горчиньского".

Я-оно взялось за освобождение бумаг. Отломанную ножку канделябра господин Щекельников приспособил в качестве временного лома, которым разбивал архивное месторождение. Я-оно перебирало в темпе шесть пачек за четверть часа. Сторож притащил угольную корзину, над которым освобождало от льда наиболее обещающие дела. Листки разлетались пластинами недопеченного теста; толстые перчатки не позволяли проводить наиболее тонкие операции, а если снять их – пальцы быстро теряли чувствительность от прикосновения ледяных бумаг. Дедуля услужливо просвещивал, заглядывая при этом через плечо. Так считывало бухгалтерские мемуары умершего предприятия.

В первый раз на фамилию "Герославский" напало в геологическом отчете, датированном июлем тысяча девятьсот восемнадцатого года. Это была копия ответа на какой-то меморандум, направленный исполнительным органам общества инженером Ф. Герославским. Ответ на него пришел отрицательный. Отложило бумагу, чтобы та снова замерзла, с датой и подписью сверху. Вскоре после того, Щекельников выдолбал папку оригинальных документов сорочьего отделения "Руд". Оттаивало документы в обратной последовательности дат; годы и месяцы разлезались под перчаткой в теплую, бесформенную кашу. Тысяча девятьсот восемнадцатый, май: инженер Герославский возвратился из геологической экспедиции в Николаевский Завод нижнеудинского уезда иркутского губернаторства; минералогические таблицы заполнены процентными сопоставлениями сидерита (содержание руды более тридцати процентов, подчеркнуто рукой инженера Герославского), он пишет о природных силикатах, окисных рудах, сернистых соединениях, порfirитовых трапах. Следующий рапорт: о вероятности нахождения золота. Кварц, кальцит, сидерит, пирит, сернистая обманка. Экспедиции вокруг Байкала. Поотом снова ничего: толстенные тома бесплодной бухгалтерии и договоров на поставки. Каким-то чудом сюда запутался даже гражданский иск по делу "устрашения туземной рабочей силы" (имелся в виду шаманский террор на Дорогах Мамонтов).

Около трех часов дня господин Щекельников выкопал папку с внутренней перепиской между начальником Геологического отдела "Руд", неким Калоусеком, и генеральным директором, Горчиньским. Верхние и нижние фрагменты страниц обледенели до конца, распадаясь после размораживания в иней-грязь, так что невозможно было прочитать ни даты, ни подписи на этих письмах. Иногда появлялись сомнения, то ли и дальше пишет этот Калоусек, то ли цитирует фатера, а может – это вообще написано самим фатером. Совершенно не помнило отцовского почерка. Впрочем, содержание третьего письма заморозило мысли – с головой в туче сажи поспешно читало оттаивающие рукописи, а после прочтения каждая вторая расплывалась в грязную жижу и стекала в огонь.

Калоусек, или отец, писал о проектах добычи из ненарушенных залежей тунгестита, расположенных в районах глубинной Зимы, благодаря привлечению к работе зимовников, напитанных морозом. Инженер (Герославский?) предлагал провести эксперименты на добровольцах, мотивированных религиозными верованиями, и эти эксперименты должны были сделать их нечувствительными к морозу, позволяя организовывать нескользкодневные вылазки за Последнюю Изотерму. Отклеило один листок от другого; на обороте текст был не читабельным. Следующая страница содержала сделанный от руки эскиз устройства, похожего на шприц, соединенного с клистирным поршнем. Ниже была изображена анатомическая схема кровообращения руки или ноги, либо вообще – пищеварительной системы – безрезультатно пыталось призвать в память аналогичные гравюры из книжек Зыги – схема была снабжена легендой, упоминающей, среди всего прочего, *tungescinum, морозную жилу, ледовод*. Кожа горела под шарфом, в ускоренном дыхании с трудом удерживалось от кашля. С помощью обугленной щепки отделяло одну страницу от другой. (Блрумм, блрумм, блрумм, блрумм). Генеральный директор Горчиньский: нынешняя ситуация фирмы не позволяет включаться в столь дорогостоящие и требующие много времени предприятия. Хотя мы высоко ценим намерения и идеи наших сотрудников, и так далее, и так далее. Вернулось к предыдущей гравюре – сохранить ее любой ценой! Та уже распадалась на волокна, полоски, размякшие хлопья, чернила исчезали словно растапливаемый снег. Бросило страницу на лед, подальше от огня. Напрасно: что прочитано, что увидено, что пережито – не существует, не имеет права существовать иначе, как только в памяти. Не будет никаких материальных доказательств, все прошлое – это царство вероятности, Лед не достает за пределы "здесь и сейчас". Быть может, это все писал отец, а может – и нет; возможно – существовал, возможно – и нет.

Блрумм, блрумм, хруп-круп, Щекельников отбивал, страшненький дедуля присвечивал: Калоусек или не Калоусек просил получить доступ к орографическим<sup>12</sup> разработкам Кароля Богдановича, хранящихся в архивах Сибирхожето – ответа нет. Инженер Ф.Г. посвятил шесть рабочих дней на инспекцию не действующей канализационной системы Иркутска. Вот докладная об утверждении проекта гидрографической экспедиции в северную зону байкальского водораздела. Тут ответ на письмо, которого в папке нет: в связи с уже решенной продажей предприятия и присоединения его к концерну Круппа, все фонды, предназначенные на метеорологические и геологические исследования под руководством инженера Герославского замораживаются. "Метеорологические"? Калоусек, обязательно следует найти этого Калоусека, поговорить с ним. Смета, подписанная – ух ты, сохранилась подпись, на лед ее! – Филиппом Герославским, резкой, идущей наискось арабеской. Список включает: шесть оленевых упряжек, провиант для людей и животных, вознаграждение для туземцев, в том числе – ставки для тунгусских следопытов и проводников по Дорогам Мамонтов, а еще очень дорогостоящее буровое оборудование, трубные буры, несколько десятков аршин специального зимназа, эbonитовые термометры в металлических корпусах, длиной в семь аршин; термометры Савинова, динамит (два ящика), оборудование для золотоискателей и сорок, три изоляционные юрты, дюжина бутылей с керосином... Вся смета была перечеркнута, что было подтверждено неким "Х.К.". Калоусек? Быть может, в следующем документе...

Перемещение какого-то темного тела замутило тени в глубине коридора, и между скульптур темного льда появился силуэт – я-оно схватилось, упуская папку в жар – это полный усач в расстегнутой шубе, поступающий тростью по сторонам, сунул изумленное лицо в круг желтого света. – Что это тут? Бродяги какие-то или воры, подумал. Господа, да Бог ты мой...! – Уже, уже закрываю, – поспешил с заверениями дедок. – Сколько там еще? – спросило Щекельникова. Тот указал импровизированным ломом: не менее десяти связок. Пошли его завтра, чтобы вынес в целости, не размораживая; возможно, там найдется еще что-нибудь про судьбу отца в "Рудах Горчиньского". Вторую рублевочку в руку старика, не станет спорить. Сунуло те несколько спасенных от тепла листков в картонную папку, спустилось с добычей под мышкой по темной лестнице на улицу, нафаршированную радужно-цветным туманом, ноги сами поспешили в ритме разгоряченных мыслей; чуть ли не бежало, с головой, по-быччи выставленной против всего мира, с пальцами, сжатыми в меховые кулаки...

Человек выскоцил из этой мглы словно дух утопленника болотной трясины, сразу же протягивая грязную руку и тараща ничем не прикрытые глаза с багрового лица, а краски кожи перетекали с его шкуры на бродяжьи лохмотья, а краски одежды перетекали в окружающие испарения, краски же испарений стекали из тумана ему на кожу: дух, упырь, холодное привидение. Схватил за локоть и выплеснул (а говорил по-польски):

- Он – демон Льда! Беги! Отца вашего пожрал! Польшу пожрет! Не верь Старику! Не...

Бабах, туман вмазал ему по шее кривой газовой трубой, и привидение свалилось на землю, то есть – на лед, не закончив своего предостережения. Я-оно отскочило под стену, толстые, клубневидные рукавицы снова не могли поспеть с расстегиванием шубы, чтобы добраться до свертка с Гроссмейстером под нею – пока дух второй, со своей газовой трубой из мглы выступающий, материализуется окончательно и обретет краски материи, этой твердой материи не разобьет голову. Он: мираже-стекольно-вязаная маска под медвежьей шапкой, шинель с отворотами, войлочные сапожищи, кожей выше колен обмотанные; здоровенный мужик, тьевистым дыханием сквозь маску плюющийся, за ним светень сильная на радужном тумане.

<sup>12</sup> Орография (от греч. огос - гора и... графия), описание различных элементов рельефа (хребтов, возвышенностей, котловин и т. п.) и их классификация по внешним признакам вне зависимости от происхождения – Энцикл.Словарь

Сделал шаг, другой – бежать, а ноги и не убегают, стрелять – Гроссмейстер в тряпках запутался; сделал третий шаг, и тут лапища квадратная мигнула где-то на высоте уха незнакомца, и засился мужик кровью из под подбородка, словно подсвинок резаный; и свалился он на землю, то есть – на лед, словно тот же подсвинок, только уже зарезанный. Бах, стукнула чугунная труба. Господин Щекельников стряхнул штыком, лезвие замерцало, словно крыло бабочки.

- Под фонарем полежит, от черта не сбежит. А уважаемый господин пущай берет жопу в руки; я же еще должен клоуна прибрать, пока не примерз.

- Но!...

- Давай, давай!

- А тот, другой?

- А чего ему, дышит. Или добить?

- Кто он вообще такой?!

- А то господин благодетель их не знает? Я же говорил, что следят. Ну, давай уже, иди. Вон там подождешь – видишь огни? Трактир какой-то или кабак. Сидеть над водкой, с людских глаз не сходить. Как только справлюсь, приду. Ну!

Мелкой рысцой побежало к синеватым окошкам пивной. Только отряхиваясь от снега в сенях заметило отсутствие папки с документами из архивов "Руд Горчинского": упустило где-то возле трупа. Возвращаться за ней – да где там! Село возле печки в самом дальнем углу, глотнуло одну – другую рюмку, и только тогда рука перестала дрожать, стиснутая на шейке графинчика с николаевкой. Господин Щекельников был прав, это успокаивает: людской говор и та особая духота российских пивушек, впечатление тесноты и близости ближнего, даже если помещение полупустое, и двери настежь открыты. А тут нагретая внутренность останется плотно замкнутой в связи с морозом и метелью снаружи, только сквозь маленькие окошки в невысоких стенах видна снежная мгла. Потолок повис низко, ниже даже, чем азиатское небо. Человек приклеивается к человеку.

С усилием отвернуло мысли от нападения. Третья рюмка растопила лед в костях. У-ух! Развалившись на лавке, прикрыло глаза. Выходит – выходит – выходит, и вправду шествует по отцовским Дорогам Мамонтов. Даже страх, как близко за ним. Еще несколько месяцев у Крупса, и наверняка до последних мелочей расписало бы идентичные проекты добычи тунгестита из сердца Зимы. Одно лишь преимущество следует из обмана: отец не располагал насосом Котарбинского, не-легко было ему сойти на менее очевидные тропы. Ему приходилось доходить до всего с трудом, поэтапно, одна догадка за другой, один эксперимент за другим, по узкой дорожке логических неизбежностей. Действительно ли он колол зимовников какой-то черной химией? Начал ли подобные исследования какой-нибудь из зимназовых концернов? Как это узнать? Ведь это было бы их величайшим секретом.

...Подойдем тогда с другой стороны. В чем дело с метеорологией? Геология, гидрография, метеорология. Возможно, здесь нечто à propos<sup>13</sup> байкальской гипотезы: мертвые, сплывающие под лед Байкала, стекающий тунгестит – но как он сплывает, раз все здесь замерзло? Хмм, а все ли действительно замерзло? Что там говорил профессор Юркат осложненностях с пробиванием колодцев в вечной мерзлоте...? А исследования Бусичкина – поразмыслим – если тунгестит и вправду является элементом, то он не теряет тунгеститовых свойств после сжигания, окисления, растворения, синтеза или какой-либо химической обработки его соединений – в самом конце всегда это будет тот же самый атом тунгестита. Точно так же может выглядеть дело и со всякими зимназовыми молекулами. Возьмем те громадные таежные пожары, те потопы огня и дыма, идущие тысячами верст по Сибири – ведь видело же такую стену стихии. Правда, еще за границами Края Людов. Но ведь все это кружит, заворачивает, не уходит в космос; метеорология, гидрология и геология образуют замкнутый круговорот. Разве после Столкновения там не горели леса? А Великий Пожар Иркутска? Впрочем, сейчас все это, видимо, происходит даже в большем масштабе. Вспомнились промышленные дымы над Холодным Николаевском. И Черное Сияние – Черное Сияние, тоже, по-видимому, подчиняющееся законам атмосферной механики. В германских чернофизических журналах имеются гипотезы: о тьвете, возбуждаемом электромагнитным излучением или электрическими разрядами в летучих соединениях тунгестита, убегающего в небо над Краем Людов. Канешна, не зная работ доктора Теслы, им не ведомо, что таким образом пробуждается не только тьвет. Потом простые люди прячутся за мираже-стеклами, щекельникова плюют через плечо, а ксендз Рузга осуждает с амвона католические наваждения. Ведь как жить изо дня в день в этих мощных светениях, под диким тьветом, бьющим с небосклонна с силой бури, как жить в обстановке безостановочного гадательного сеанса? А тут еще вдобавок – люди зажигают тьвочки, жуют тунгеститовый табак, глотают черно-аптечные порошки, вдыхают черный опиум; они живут среди зимназа, на зимназе, в зимназе. Все это входит в их организмы; а они этого не осознают, не думают об этом, но он ведь входит. Канализация! Я-оно усмехнулось про себя. Вот что он имел в виду! Ведь остатки выделяются, и все это, вместе с другими нечистотами, стекает в землю, и входит в сеть водных стоков – если те пока что не замерзли. Людские сбороища – это натуральные коллекторы тунгестита. Вспомнился сон, порожденный шаманским дымом: Холодное железо стекает черными реками в Подземный Мир.

...Но ведь Дороги Филиппа Герославского ведут еще дальше. Здесь я-оно обманывает с помощью насоса Котарбинского, но отец обладал существенным перевесом, следующим из участия в той экспедиции, которая подошла так близко к месту Столкновения, как никакая другая впоследствии. Базовые вещи он брал в качестве основы, ему не нужно было догадываться, не нужно было выдвигать гипотез. Через десять лет его амнистируют с приказом поселения в Сибири. Домой он не пишет. Живет у дружка-саложника в ледяной дыре. Нанимается на работу в зимназовую компанию. У него рождается внебрачное дитя. Он братается с мартыновцами, зимовниками из холадниц. Входит в договоренности с пилсудчиками – или это пилсудчики ведут с ним какие-то переговоры. Планирует геологические исследования стоков тунгестита, чернобиологические эксперименты на людях. Но. У него умирает новорожденная дочка. Иерхейм насыщает на него охранку. И отец бе-

<sup>13</sup> По вопросу, "кстати, о"; здесь: связано.

жит. Куда? Сразу же на север? Через несколько месяцев здесь уже ходят рассказы о Батюшке Морозе. Якобы, тот ведет целые деревни на самозаморожения. Годами паломничает по странам Льда, все время возвращаясь на Подкаменную Тунгуску, как это следует из рапортов Министерства Зимы. Разговаривает с лютами.

...Но! Но! Если он и вправду разговаривает с лютами – если его кто-то к этому склонил – отчаявшегося, отказавшегося от мира после второй смерти Эмильки, затравленного новой полицейской облавой, под страхом возврата на катогру – кто-то: Мартын, мартыновцы, Пилсудский, пэпэсовцы, "старые" или "молодые" – чтобы он вступил на Дороги Мамонтов, обратился к лютам дать такую-то и такую-то Историю – если... то почему же История не изменилась? Прошло пять лет. Лед, как шел по миру, так и шествует. Почитатели Мартына все так же страдают от гнета, как страдали от него раньше. Польши все так же на горизонте не видать. Царь крепко сидит в седле. Ба, да сейчас у него все идет даже лучше: мир с Японией освободит его армию, позволит Струве подкрепить экономику более дорогостоящими реформами. Так что же? Отцовский план не сработал? Люты его не слушают? У них самих имеются какие-то другие планы? Или это отец, после нисхождения в Подземный Мир поменял свое мнение?

...Не по той ли причине варшавские пэпэсовцы шлют ему зашифрованные письма через его сомневающегося сына?

- Он это, он!

Я-оно вздрогнуло, неожиданно разбуженное. Кто же это подсел к столу, кто наклоняется над столешницей и зияет горячим, водочным дыханием прямо в лицо? Единственный и неповторимый Филимон Романович Зейцов!

- Сижу, гляжу и думаю себе: он, не он, он, не он – так нет же, он, он! Вот только эта борода, и что же это с волосами наделали, а тень мрачная, ледовая над вами; нужно было убедиться. А ведь оно же даже не время черных зорь!

- Оставьте меня в покое, Зейцов, - вздохнуло я-оно. – У меня нет настроения.

Но тот уже приклеился, все протесты напрасны.

- Заботы в водке утопить, зачем человек в кабак заходит, именно затем; в землях счастья и благоденствия подобные заведения пусты; а в Краю Людов, где самый большой пьяница до конца забыться не может и себя отрицать полностью не способен, зачем же пить – ради безучастия, от печалей, от болезненного отчаяния, и затем еще, может, чтобы братьев во грехе менее отвратительными в глазах собственных на время пьянки сделать; поскольку и сами себе более тогда нравимся – ах, какие забавные! какие умные! красавцы какие? Кто устоит – а никто не устоит. Ах, вода сатанинская! Вода лжи! Огонь в кишках против морозу! Только башка замороженная не забывает, не забывает!

И, икнув, он налил себе полный стакан, а после того, как залил водку в горлянку, словно лимонад какой, тут же заказал новую бутылку.

- Ну все уже, Филимон Романович, все, чего это вы снова забыть не можете? Не ожидал вас снова увидеть, вы же должны были вывезти отсюда этого учителя вашего, Ачухова, не так ли?

- Сергей Андреевич – ну! – Зейцов схватился со стула. – Так, вижу ведь, перст Божий в этом – вы должны со мной пойти!

- Что?

- Я рассказывал ему о вас, про Отца Мороза, он допытывался. Познакомлю вас – поскорей! Времени нет! Разве не говорил вам? Он умирает!

- Он там умирает, а вы тут глаза заливаете?

- Червяк, червь ничтожный, знаю. Пошли скорее!

И начал дергать за плечо, под локоть хватать и тянуть, графинчик из пальцев вырывая – пока на спину его не упала тяжкая, геометрическая лапища, и присел Зейцов, словно пес отруганный.

- Ну, хорошо разве, приебываться к культурно выпивающему человеку?

Я-оно только махнуло.

- Оставьте. Старый знакомый.

Господин Щекельников ударил папахой по боку.

- Глядите-ка! Знакомый! – Теперь уже он схватил, потянул. Я-оно отступило за печь. Зейцов выставил голову из-за кафельных плиток. Щекельников наклонился к уху. – Что это еще за случаи-убийство сегодня вечером! Гаспадин точно уверен, что того с улицы вообще не знает?

- А я знаю!? Рожа под маской, слова не произнес, а если судить только по сложению, то...

- Да не тот! – прошипел Чингиз. – Тот живой!

- А что?

- Знал, что ему грозит! Хмм! – Щекельников почесал горло. – Чего-то там еще плел, пока я его не погнал.

- Вы с ним разговаривали?

- Хмм. Что перся на Цветистую. Ребята его погнали. Что посыпал вам письма. Получали?

Я-оно скорчило неуверенную мину.

- Кое-чего было, глупости разные.

- И еще, что иначе не мог, потому что уже несколько недель за вами лазит то один, то другой японец.

- Выходит, тот убитый...

- Ну да, именно. Это какие-то ваши польские разборки, так?

Щекельников водил взглядом по потолку. Приглядывалось к нему исподлобья. Единственное подозрение, перед которым не спасется мастер подозрительности: перед самим собой. Ведь Чингизу Щекельникову платит Войслав Велицкий; вся его верность исключительно в отношении Войслава Велицкого. Верность! Лояльность! Это правда, что в Байкальском Краю жизнь человеческая очень дешевая, а ведь к тому же, Чингиз варвар по крови и по жизненному опыту – но ведь не

ради той пары рублей вознаграждения рискует он головой, убивая на улице, прикрытый лишь туманом? Что такое связывает его с Велицким? Какие точно получил он указания? Сколько он знает? Вспомнилась беседа с паном Войславом о Пилсудском и его террористах. Пан Войслав, возможно, человек и хороший, но и у хороших людей имеются свои интересы. Кто его знает, какой секретный план задумал польский буржуй в своей сердечности...

- Хмм, потому что буквально на момент господин Ге с глаз исчез, а тот уже собрался достать вас в тумане. Еще до того, как заметил японец.

- Как мне кажется, это фракционная борьба в Польской Социалистической Партии. Политика, господин Щекельников.

Ибо здесь, в Сибири, правят японцы Пилсудского. И так все это себе представляют: кто обладает доступом к Филиппу Герославскому, тот обладает доступом к Истории. А Юзеф Пилсудский... Отца вам пожрал! Польшу пожрет! Не верь Старику! НЕ ВЕРЬ СТАРИКУ – КУРЬЕР ПРИБУДЕТ – Будь ЗДОРОВ. Не дойдет письмо. Не доберется посланец. Быть может, доберется сын. ПАРТИЯ ПРИКАЗЫВАЕТ ВРЕМЯ КОМПЕНСАЦИИ ТАК РОССИЯ ПОДО ЛЬДОМ – ВСЕ СРЕДСТВА ТАК – ВНИМАНИЕ МОЛОДЫЕ И ОТТЕПЕЛЬНИКИ ПРОТИВ ЗИМЫ. Если редактор Вулька не ошибается, это зашифрованное письмо написано пэпэсовцами из фракции "стариков", склоняющихся к концепции Пилсудского, что нельзя разгораживать Россию, но не уверенных в самом Пилсудском, явно ему не доверяющих. Они опасаются с его стороны – чего? Действительно ли Пилсудский – ледяк? Он послал людей, чтобы те следили за Сыном Мороза, проверяли, не является ли тот агентом охранки, не провокатор ли какой-нибудь, но явно для того, чтобы отсечь пэпэсовцев из Королевства и "молодых". Знает ли он, что уже и "старики" ему не верят? Если бы он узнал содержание письма, направленного отцу... Ба, если бы только подозревал, что я-оно получило такое письмо для передачи...! У него имеются свои собственные планы относительно Истории. В конце концов – разве это не Пилсудский выслал отца на Дороги Мамонтов? Он демон Льда. Беги!

Откашляясь, выплевывая из горла вкус водки, схаркивая из мыслей алкогольные испарения. Предостережение было получено уже раньше; в "Варшавской Гостинице", во время Черного Сияния, от того поляка со Спиртовых Складов. Пилсудский вздымается над Байкальским Краем словно тень невидимого упыря, еще один громадный силуэт, вытмеченный на небе. *Придет за вами. Я-оно вздрогнуло.*

- Ну, так как оно будет, господин размышляющий?

- С чем?

- С ним.

Оглянулось на нетерпеливо вertiaщегося Зейцова.

- Такой уж день, господин Щекельников. Выразим почтение у смертного ложа.

Сергей Андреевич Ачухов умирал очень решительно, конкретно, умирал с жестокой уверенностью смерти – никто не мог питать каких-либо сомнений в том, что Ачухов умирал, тем более – он сам. Поскольку он отрекся от земной Церкви, а земная Церковь отреклась от него, никакой поп не бодрствовал в этот час возле него, не было свечей, освященных масел и молитв за душу умирающего. Скромное помещение на первом этаже заполнял запах керосина и медикаментов. Из печки ужасно коптило; хозяйка, практически слепая, согнутая наполовину бабуля крутилась возле нее, грохоча железками и что-то бормоча на странном языке, то ли ругательства, то ли молитвы, не поймешь. Кровать Ачухова, втиснутая между печью и окном, была как раз настолько широкой, чтобы рядом оставалось место для стула. Туда поставили два, один за другим, и на них сидели теперь, болезненно выпрямившиеся, с подтянутыми ногами, с ладонями, сложенными на стиснутых коленях, два господина в черных костюмах, с потасканными, морщинистыми лицами, с обвисшими губами и опухшими глазами. Зейцов сказал, что это были братья – толстовцы, приехавшие из Томска; один записывал в блокнотике слова умирающего Ачухова, второй только курил папиросу за папиросой. Они тоже пытались склонить Ачухова выехать, только Сергей Андреевич оставался непреклонным. Утратив и эту надежду, Зейцов, не имея уже сил быть свидетелем умирания своего второго отца, пошел по иркутским пивным. Действительно, почему Ачухов отказался от предложения выезда из Края Лютов, раз появилась такая, совершенно законная возможность? Может, он имел что-то против Филимиона Романовича за то, что тот пал пред "императором тела"? Хотел ли он умереть? Ясно не отвечал. Жестокий, душащий кашель, рвущий грудь, каждую минуту прерывал монологи Ачухова; тот больше шептал и хрюкал, чем говорил. Толстовцы, такие же официальные, словно чиновники Зимы, склонялись над ним, вылавливая слова и дыхания, предшествующие словам; Ачухов вздымал над периной костиющую, широкую, мужицкую ладонь – те хватались за нее, сжимали, укладывали ее назад; больной срывался с подушек, подталкиваемый то ли кашлем, то ли изреченной истиной – братья укладывали его назад; когда просил воды – воду подавали. Затем вновь он только молчал; молчал и умирал. Черно-седая борода, слепившаяся отдельными прядями, собирала капли слюны и кровавой слизи. На грубо вырезанном, почти мужицким лице блестели жирные бусины пота. Подойдешь поближе, и запахи химии, керосина и чего-то горелого перебьет смрад болезни и старости, телесной нечистоты.

Сейчас, перед смертью, разум его был ясен; старик глядел, все понимая. Тем не менее, бывали у него длительные периоды, дни и даже недели, когда невозможно было различить бреда от осмысленной речи. Поначалу Зейцов сам все записывал; затем стал пропускать вещи сомнительного содержания; в конце концов – вообще перестал что-либо фиксировать. Косясь на кровать, освещенную мираже-стекольным отблеском, сейчас он шепотом передавал самые безумные бредни Сергея Андреевича Ачухова.

Якобы, когда за окном тьветило Черное Сияние, явился ему на небе над городом черный ангел – крылья из вороновых перьев, одеяние угольное, волосы цыганские, лицо тьмечью набежавшее – с ониксовым мечом в руке, в потьвете сильном, и известил, что Иркутск будет уничтожен. Гнев Божий, сообщил ангел, обращен на города, на грехе основанные, на грехе растущие и грех почитающие – а нет большей вины в глазах Единственного, нежели узурпация человека в отношении Творца. Яхве – Бог Ревнивый и Мстительный, я же – Его десница стиснутая, сказал ангел. Человек не может знать

правды – только Бог знает правду; человек лишь верит. Человек не способен творить Историю – Бог творит Историю; человек ее только переживает. Человек не способен сознательно действовать супротив Божьих замыслов – может, конечно, но тогда грешит, грешит, грешит!

Учитель призывал к ложу и своих покойных родственников, – шептал Зейцов, – призывал родственников и живых, но отсутствующих; что самое паршивое, те по зову умирающего прибывали, во всяком случае, Ачухов вел себя так, словно те прибыли: беседовал с ними, улыбался им, молча выслушивал их слова, гладил по головкам деток невидимых и пожимал руки друзей молодости. А потом снова скручивало его в приступах кашля или удышья, от которых попеременно делался он синим и красным, и от недостатка сил западал в сон, едва-едва отделенный от смерти. Никто не осмеливался его будить – пока не пробуждался сам, через пару десятков минут, через час или сутки, и вновь отзывался к гостям своим, видимым или невидимым, языком трезвым или явно лунатическим, а то и на такой их смеси, что человек и не знал, то ли мозговую горячку через уста его слышит, то ли мудрости священные; льдом, льдом бы его обложить, быть может, правда и замерзнет.

– ...которые судят, будто бы подобным образом с Богом общаются. Хрррккк! Но, друзья, спрашиваю вас, неужто Бог не знал, что лежит в сердце человечьем, пока человек Ему того в молитве, вслух или в мыслях своих не выскажет? Не таков это разговор! Кхрррххр! Не таков!

...Так что не в том сила и смысл молитвы. С Богом мы разговариваем не словами и пением, не ритуальными жестами всяческими, ибо то все орудия Лжи – кххрркккк – говорю вам, орудия Лжи! Нет, друзья мои, с Богом мы разговариваем только лишь через Правду, то есть, через то, чего соглашаться невозможно: через нас самих, то есть, посредством жизни нашей и смерти нашей. Единственная то человека с Богом беседа: что человек таков, каков он есть, что жил – как жил, что поступал так, кхрркк, как поступал. И точно так же Бог обращается к нам, ибо не голосами самозванцев, Его авторитет себе приписывают, среди которых человек откровенный не в силах Правду рассудить – но через деяние Свое, то есть, посредством Творения, голосом света, голосом реальности, которая является Истины первой и последней инстанцией. Поэтому, кхрр, и запомните это себе хорошо, потому чистейшей молитвой Бога является Истина науки, то есть – язык мира материального, который поддерживает в бытии жизнь человеческую.

...А что же с миром духа, спросите. В том, как кажется мне, суть молитвы. Хрркхрр. Ведь есть молитвы для терпения, молитвы для отваги, молитвы для сердечного покоя, для силы прощения, стойкости к страданиям, стойкости против несправедливости и неправды. Только грешит суеверием и верой в глупую магию тот, кто глядит на нее, словно на ведьминские заклятия: произнесу или продумаю слова предписанные, паду на колени или поцелую идола золотого – и Бог одарит меня милостью, которую выпрашиваю. Как же можно торговлей и фокусничаньем дух свой марать! Крррххрр! Ложь то! Ложь! Кхрррххр!

...Так как же мы молимся? А поразмыслите, братья мои, разве не проводим мы в жизни будничной различных молитв тела? Чтобы набрать энергии и пробудить члены свои, выполняем движения быстрые, сильные, кровь в мышцах разгоняя. Чтобы удержать химию гнева, стискиваем зубы и кулаки, закусываем губы. Чтобы вернуть равновесие страсти и разума, сдерживаем дыхание, замедляем удары сердца. Удивляют ли кого те или иные, хррр, гимнастические ритуалы, проводимые атлетами? Дивят ли нас солдатская муштра? Или тренировки боксеров, борцов?

...Такова в отношении их разница, что молитв духа не видно, и один человек научить им дугого человека не в состоянии. Зато истинных людей молитвы узнать несложно – кхрррххр! – точно так же, как легко узнаете вы опытных силачей и гимнастов. Атлет тела правит своим телом и накапливает его силу; атлет духа управляет собственными чувствами, страхом и желаниями, управляет сердцем своим и мыслями, и тренирует их силы. Человек сильного тела менее боится за свое тело, кххрр, потому он более спокоен и честен в ситуациях, требующих отваги. Человек сильного духа не лжет, даже если это приводит на него преследования в свете материи, ибо никакое давление материи не изменит его Правды.

...Но остегайтесь, дорогие мои, ибо точно так же существуют и молитвы гадкие: призывающие к зависти, бешенству, к черным желаниям, к ненависти. Кхррркххр! Как часто мы проговариваем их, совершенно не понимая, что творим! Повторяя в ожесточении мысль гневную, проклятия ближнему словно литанию нашептывая, запинаясь в мечтаниях злых, видя сны об унижении иных людей, учась радоваться их несчастьям, учась радоваться их поражениям. Кхрррххр! Хор! Мы и не ведаем, что молимся, а ведь молимся – а о чем молимся; кому молимся – Сатане молимся, Сатане, Сатане! Кхррррррр!

Обессиленный, упал он на подушки и явно потерял сознание. Господин в костюме протянул руку, чтобы проверить, дышит ли еще Сергей Андреевич. Тот дышал. Хозяйка загремела кочергой – все вздрогнули, словно освободившись от шаманских чар. Я-оно отступило в прихожую.

Зейцов тем временем заварил кофе, правда, совершенно гадкого, пахнувшего словно подмокшая онучка; впихивал собравшимся чашки насильно, один Щекельников не дался. Чингиз глядел с порога на лежавшего на смертном ложе Сергея Андреевича Ачухова и, о чудо, никаких обвинительных комментариев либо мужицких лага-барок не провозглашал. Только что он зарезал человека; вначале пошел помыть руки, а теперь, наполовину скрытый за дверью, следил за Ачуховым со спокойной увлеченностью.

- И сколько это уже длится?

Зейцов шепотом рассказывал про долгие месяцы умирания в муках. Прежде чем Филимон Романович прибыл сюда с царской грамотой и родительскими деньгами, Ачухов гнездился в какой-то населенной вшами и тараканами избе, в убежище для пострадавших от Льда, отгоняя от себя врачей, которых насыпали друзья, лишь молясь долгими часами.

- А это правда, что говорят? – обратился Щекельников, когда Зейцов на момент отошел. – Будто бы они от этого наслаждение особое переживают?

- Вы про религиозный экстаз спрашиваете?

Разбойник покачал головой с отвращением.

- Даже в разврате следует знать умеренность.

Хихикание я-оно заглотнуло вместе с гадким кофе. Откуда берется такое, что человек, охотнее всего, наглым смехом встречает подобные сцены смертельных трагедий? Ачухов умирает – смешно? Нет. И все же, во всей этой ситуации есть нечто такое, что единственным здравым ответом, похоже, должен быть взрыв грубо-важного смеха. Есть ли еще какой народ, у которого в обычай на похоронах рассказывать анекдоты?

А может, всему виной теслектрические токи в голове...?

Ночь уже наступила, любопытство успокоено, пора возвращаться домой. На сегодня смертей уже хватит.

- Господин Щекельников, тогда вот, на улице, на снегу, не заметили, может, папки...

Подскочил Зейцов, вырвал чашку из руки.

- Проснулся!

Господа толстовцы, поддавшись просьбам Филимина Романовича, освободили стулья. С трудом сдерживая глупую усмешку и нервические движения, я-оно присел на том, что стоял дальше всего от изголовья кровати.

Сергей Андреевич внимательно поглядывал из-под тяжелых век.

Поисками взглядом Зейцова – тот сбежал.

Откашлялось.

- Простите...

Тот поднял руку с постели.

- Что вы здесь делаете?

- Ах... Господин Зейцов меня...

- Я вас знаю.

- Нет, нет. Бенедикт Герославский. Господин Зейцов говорил...

- Я вас видел, - прохрипел умирающий медленно, с мучительным размышлением после каждого слога. – Помню лица, помню людей.

Неужто, у него окончательно смешались реальность с призраками?

- Память, - буркнуло, - это орудие Сатаны.

- Ага! – показал он в улыбке остатки зубов. – Очень хорошо. Приблизься-ка, сынок. Они не услышат.

- Мне и самому может казаться, будто бы помню различные вещи. Какой смысл спрашивать об истинности того, что не существует?

- Прошлое не существует? Ай, выходит, по правде я и не умираю! Хррр! – смеялся тот. – Филимон хорошо вас описал.

- Да?

- Как я могу умереть – без прошлого? Как могу я стать спасенным – без прошлого? Как вы можете жить – без прошлого?

Я-оно сорвалось с места. Только старик вдруг проявил совершенно юношескую энергию, схватил за рукав, удержал. Да станет ли я-оно драться с человеком, уже стоящим над гробовой доской? Снова уселись.

- Меня Зейцов уже убалтывал, - прошипело. – Он думает, что вы меня убедите? Как будто – если умирающий просит, так на все соглашусь? Ловушка такая, так? Так он это себе обмыслил! Шантаж! Да плевать мне на вашу Историю с Царством Божиим впридачу!

Тот же веселился еще больше.

- Хррр. Ибо вы, хррр, не верите в Историю, хррр, вообще. А ведь – разве того не видите? – если нет Истории, так нет и Бога. Христианство – это Правда об Истории. Отними у христианства Историю – что останется? Ничего! Крррр! Не существует Бога Лета – там есть лишь домыслы, школы спекуляций, парламенты божков и дискуссионные кружки пророков. Истинное спасение возможно только подо Льдом; истинное христианство – только подо Льдом; истинные добро и зло – подо Льдом.

...Ведь если Истории нет – нет и человека! Хрррр. Если не можешь сказать правды о прошлом, то какую истину выскажешь о любом поступке своем? Всякий поступок, всяческий выбор рождается из прошлого в будущее. В жизни на мгновение, на мерцание свечки растянутой – не сотворишь ни добра, ни зла. Лишь тот, кто существует в Истории, может обладать вольной волей. Как осудить убийцу, раз убийство забыто, убийство, что минуло и не длится на глазах твоих – оно ведь уже не настояще, не конкретное убийство? Раз нет Истории, так нет и человека – имеется лишь преходящее мгновение химических молекул, хррр, и образ материи, схваченный в настоящем.

- Не отрицаю.

- Не отрицаете.

- Выдам вам тайну, - хихикнуло стыдливо, при этом склонилось над Сергеем Андреевичем Ачуховым, так что в ноздри ударили смрад болезни и старости, и потного, нечистого тела. Княгиня Блуцкая, по крайней мере, пользовалась благовониями. Открыло широко рот. – Я не существую.

- Ох! – опечалился тот.

- Так, так, - покачал головой с ребяческим довольством, словно радуясь хитрой шалости, устроенной взрослому. (Может, это вина теслектрического тока в голове, а может – водки в жилах).

- Насколько же вы должны быть несчастливы... - Ачухов стиснул пальцы. – Разве слышал кто о более глубоком отчаянии? Можно ли найти большую темноту в душе и более тяжкое святотатство? Сын мой! Даже самоубийца, пропаща душа, преступлением подобным Творца почтает: уничтожая Его творение, падает пред ним на колени и признает малость свою по отношению к Тому, Который Есть. Самоубийцам плевать на жизнь, ибо столь важны им они сами. Но вам, хррр, вам плевать на самого себя! Не было еще нигилиста столь абсолютного. Хрррр!

Он поперхнулся кровавой слюной. Подало ему платок. Левая рука умирающего тряслась так сильно, что тот не мог ее вытереть себе рот. Помогло ему.

- Хррр, хррр, думаете, будто вас попрошу замолвить словечко у Отца Мороза, да еще и клятву дам. Хррр. Нет. – Он замахал платком, чтобы еще более приблизиться. – Люди считают, будто бы перед смертью софия и гноэзис какие-то высшие на человека нисходят, а ведь по сути, трудно тогда мысли собрать даже по простейшей проблеме, так все болит. Хе-хе. Так вот вам моя глупая мудрость: Идите и допьяну напейтесь. Идите и побезумствуйте с приятелями. Заберитесь в горах на самую высокую вершину. Идите в тайгу по охотиться, встаньте против дикого зверя. Найдите себе девушку, мягкую сердцем и телом, роскошную. По какому-нибудь политическому вопросу выступите против всех. Наедайтесь до обжорства. Всегда дарите себе минутку, чтобы глянуть в звездное небо, на снег, что искрится на ветке, чтобы погладить собаку, ребенка к себе прижать. Все, что заработаете, тратьте на материальные вещи будничного употребления: одежду наилучшую, из самой приятной на ощупь ткани; на самые приятные для глаза вещи, радующие пальцы мелочи. Если должны выбрать одно из двух блюд – выбирайте то, которого еще не пробовали. Должны выбрать один из двух городов – выбирайте тот, в котором еще не бывали. Если надо выбирать жизнь – выбирайте ту, которую еще не прожили.

- И это должна быть молитва существования? Это же молитва для тела!

Тот полностью выбился из сил.

- Кхххррххрррр. Все равно, сделаете так, как запомнили.

Теперь пришло время более тяжкого бреда, когда боль сделалась для Сергея Андреевича невыносимой, и он уже не мог контролировать телесные рефлексы, в том числе – и издаваемые звуки. А поскольку гадкий кофе Зейцова не помог (водка разогрела, водка в голове все перемешала, теперь же водка усыпляла), клевало носом в углу, опирая висок о поцарапанную стенку. Пока новый визг, крик, сплетенный с кашлем и кровавым хрипом, из полусна не вырывал, и тогда противорвало глаза на сцену умирания, которой никогда на полотнах, воспевающих мученичество святого, не увековечат. Ачухов, мужчина в прошлом могучий, высущенный теперь в грубо костный скелет, бросался на загаженную постели, плюясь кровью, спазмом и всяческой гадостью. Хозяйка грубо крутила его в кровати, заматывала в одеяла, пытаясь обездвижить, когда тот пытался вырваться и рвать все и вся вокруг. Ему подавали воду, какие-то лекарства, он захлебывался.

Зейцов исчез на мгновение и вернулся с бутылкой "Поклевской". Он пил из нее, совершенно с этим не кроясь. Ему требовалось с три мощных глотка, чтобы вообще войти и глянуть на Сергея Андреевича в подобном состоянии. Тут же глаза у бывшего каторжника набегали слезами, руки его тряслись, из горла исходил жалостливый стон. Он плакался над учителем, над миром, над самим собой.

- И что мне теперь, эх, Боже, на что мне теперь жить, дураку, раз и так только несчастья да еще большую боль приношу; спаси крестьян темных – не спасу, Россию спаси – тоже никак, хотя бы одного хорошего человека спаси желал – нет, нет, всегда все наоборот. На что миру такой вот Зейцов Филимон Романович, разве что на посмешище.

- Разве нет у вас какой-нибудь приличной работы?

- Работы?! Да разве я когда за свои пил?

- Как пропрозвеете, зайдите к Круппу в Часовых Башнях, их Лаборатория ищет добросовестного сторожа – ведь вы же человек образованный, покажете себя хорошо, так возьмут и после каторги.

- Да что мне работа, когда отец умирает! Боже! – И цап за бутылку.

Щекельников пару раз показал от двери: пошли уже отсюда. Покачало головой отрицательно. Нужно высидеть до конца. Зейцов прав, долго это уже не протянется, Ачухов умрет еще этой ночью, замерзло.

Тот же тем временем хрипал непонятные признания, гневно обращался, непонятно с чем, к видимым и невидимым людям; обращал невидящие глаза к стенке, на потолок, к окну, вел с ними разговоры о делах минувших, грехах давних, людях из прошлого – истинного или выдуманного, как узнать; он умирал в огне, в горячке, следовательно – в неуверенности. Он звал мать. Звал братьев. Звал каких-то женщин, Зейцову неизвестных. Призывал Бога. Те прибывали или нет; выводы можно было сделать лишь по упорству, с которым Ачухов повторял зовы. Весь дом уже пропитался смрадом мочи, кала и старой крови.

Звал он и Бенедикта Герославского – попременно с Филиппом Герославским. Им, в свою очередь, рассказывал про какой-то Черный Лабиринт под небом Черного Сияния, на поле черного льда. Свет, хрипал он, уже не подчиняется здесь законам света, и глаз видит вещи, которые не видны, то есть, Истину, охваченную в материи. Истина, хрипал он, имеет форму совершенного шара, и к ней можно прикоснуться. Лабиринт на равнине уничтожения предназначен для того, чтобы погубить тех, что не замечают Правды. Шестеро пошло, хрипал, никто не возвратился. Люты, хрипал, люты плыли, словно река. Солнце восходило черное, будто уголь, и мы прятались под железом от живых светеней. Ледовые скульптуры рассказывали нам истории того мира: кто увидел себя, тот проваливался под землю. Нам не нужно было есть, не нужно было пить, не обязательно было дышать; умереть было никак невозможно. Мамонты, хрипал, мамонты, мамонты, мамонты указывают дорогу.

На рассвете случился кризис. Он ненадолго заснул. Господа-толстовцы вложили ему в руки Евангелие. Когда Ачухов очнулся, то прятнул книгу к себе, но вовсе не с намерением набожного поцелуя, а только закрылся ею, словно ребенок, лупая из-за обложки набежавшим кровью глазом. Смерть была уже рядом – Ачухов был способен издавать из себя лишь мальчишеский шепот. Кто? Кто? Что? Чего хочет? Где? Что? Чего? Распаленный, он растворялся в вопросах, все более простых, коротких, все более общих, бесцельных, словно химическое соединение, что распадается до элементов. Что? Что? Что? Он выпутался из постели и одеял, голая нога, с черными жилками тьмечи, покрытая пятнами обморожений и Бог знает каких болячек, ритмично била в спинку кровати, и та тряслась и подпрыгивала. По причине аффекта, Сергей Андреевич уже не был в состоянии перевести дух; вместе с последними словами он выхаркивал из легких остатки воздуха и крови.

Не слышите? Не чувствуете, как трясется земля? Мамонты, мамонты пришли за мной! Про-про-проваливаюсь!... Провалился.

Господа перекрестили его, замкнули ему веки. Хозяйка подбросила дров в печку. Я-оно встало. Филимон Романович Зейцов, пьяный как свинья, валялся на коленях у кровати и громко плакал, прижав щеку к ладони покойного. Подошло, в последний раз глянуло на Сергея Ачухова. Ни за что не узнало бы его, настолько черты лица изменились, когда душа покинула тело. Оперлось о высокую спинку кровати, как в голове все закрутилось. Чувствовало, что обязательно следует сказать нечто возвышенное, высказать слова, обладающие большим весом, и вместе с тем, имело полную уверенность, не затуманенную спиртным, что обязательно выскажет здесь какую-то шутовскую глупость, которой будет стыдиться месяцами и годами, если не до конца жизни. Пошатываясь, словно одурманенное этой смертью и этим смрадом – можно ли втянуть смерть в легкие, словно опиумные испарения? – открыло рот и...

Господин Щекельников вывел на улицу. Я-оно прорезвело от мороза, утренней ясности и городской жизни. Солнце только-только восходило из-за основания башни Сибирхожето. Поискало на чистом небе крыш и башен губернаторской Цитадели, с ее тъветистыми часами. Светень на мраке показывала восемь. Нужно ехать в Холодный Николаевск, на работу. Только господин Щекельников махнул в противоположную от Мармеладницы сторону, на купола Собора Христа Спасителя.

Чингиз купил тъвечку и сразу же исчез в нефе. Остановилось ненадолго в притворе. Шаги квадратного амбала звучали кратким эхо в, судя по всему, пустом храме. И за кого же это пришел он помолиться: за пилсудчика, которого зарезал ночью, или же за Сергея Андреевича Ачухова? На сей раз из-за стиснутых зубов вырвался гортанный смешок. Вода рукачицей по стене, с головой, подавшейся вперед, словно против метели, посеменило в глубину громадной церкви, на восток, то есть – в светлистую темень. Весь неф, до самого иконостаса, был попеременно заполнен потоками тъвета и света. Дело в том, что не только купола, оплаченные иркутскими холодопромышленниками, но и большая часть украшений и снаряжения внутри была выполнена из драгоценного тунгестита, из многоцветных зимназовых холодов в золотых инкрустациях. Тъвет многочисленных тъвечек, падая на тунгестит, отражался огненным сиянием – тот затекал в сферы за-мрака, где растворялся, словно молоко в чернилах – другой свет, чистый солнечный блеск, бил сквозь окна – но и для тъвета здесь были открыты окна, ведущие прямиком в черные адские провалы: зеркала, симметрично развешенные между иконами. Тъвет тъвечек отражался в них в ту и иную сторону – тот, кто проходил по громадному пустому пространству от притвора к аналою, тот вытвачивал вокруг чудовищные светени, от пола до высоченного свода, во все стороны церкви, на тысячи икон и бесчисленные лица Бога и святых, в них увековеченных.

Сошло, как можно скорее, в сторону, пристроилось на лавке под стеной. Кислый, гадкий вкус накапливался во рту, и не было чем его промыть, вся слюна, похоже, высохла. Отовсюду глядели темные глаза небесных обитателей, широко раскрытые в выражении печального изумления. Христос Вседержитель с главного яруса иконостаса протягивал благословляющую руку со скрещенными пальцами в жесте, который то ли удерживал, то ли приглашал смотрящего, трудно сказать с такого расстояния. Архиепископская икона Спасителя в деисусовом ряду – Бог на зимназовом троне, с царями, чудищами и лютами у ног – и Спас Нерукотворный внизу были выполнены в тунгеститовой технике, с покрытием из пухового золота. Точечные зеркала направляли на них под острым углом ливни тъвета, из которых Спаситель возникал в поражающем огне тунгеститового антиморока, в облаке зимназовых радуг, очерченный золотой линией, в ореолах божественной белизны. Трудно добиться более понятной символики световой архитектуры. Я-оно спрятало лицо в ладонях.

Прав ли был Ачухов? Или это всего лишь отчаяние? Прикусило язык. Но ведь Сергей Андреевич глядел с иной стороны: нельзя верить в существование Бога, не веря одновременно в существование человека. Бытие и История – История, то есть правда о Бытии в прошлом – являются фундаментом всяческой религии и морали. А если глянуть поближе, то и основой характера человека. Разум способен предложить миллионы аргументов за небытие, но именно то, что не ходишь по улице, оскорбляя, дерясь, стреляя в кого попало – показывает, что одного разума здесь недостаточно. Всякое высказанное слово, всяческий жест, гримаса на физиономии и привычное поведение – они доказывают могущество Истории.

Но даже если бы этого и всем сердцем желало – как можно из простого постановления начать существовать? Как можно самовольно перейти из небытия в бытие?

Это уже прерогатива божественная, а не человеческая: божества призываются к существованию, люди же создаются.

Задание несравненно более легкое: поверить в собственное существование. Но как тут приказать себе верить? Точно так же, как вера в существование Бога, вера в существование человека либо спонтанна, либо ее нет вообще. Найдется ли кто-нибудь такой, кто бы выслушал теологические аргументы и – ну да, вы меня убедили, хочу уверовать, щелк пальцами, *et voilà* – уверовал? Ведь это же абсурд!

Раскашлялось, прикрываясь рукавом. Холодная горечь закупоривала гортант. Изображения Бога и святых глядели сквозь завесы тъвета и света. Кто-то прошел вдалеке, возле клиросов, светени взорвались на люстрах, на мгновение интерьер Собора Христа Спасителя заполнился новой архитектурой контр-темноты, образ Тайной Вечери над царскими вратами иконостаса засиял пух-золотом и литургическими цветами: багрянцем, синевой, зеленью, желтизной. Повернуло голову, оперлось о прохладную стену. Верят не потому, что кто-то их убедил, но поскольку именно так они замерзли. Никто в Краю Льда не утратил веры, но никто и новой веры не обрел. Единственное, на что можно рассчитывать, это насос Котарбинского да на счастливый бросок монетой. А монументальные святыни – это словно твердая форма, замерзающая в воду. Ой, не надо было заходить в церковь, видел ли кто в Иркутске православного, зашедшего в костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии? И ведь не гонят их огнем и палками – только никто даже не приближается, пораженный очевидностью Правды и Лжи. Правильно говорили проводники Транссиба: в странах Льда не может быть двух равно истинных вер. Истинно православие – это не римский католицизм; истинный католицизм – не православие. Достаточно наслушалось здесь от

русских, да и от нерусских: Поляк – а-а, значит еретик! У них не возникает ни малейших сомнений в отношении истины об истории христова наследия. История сама указывает эту правду: Первый Рим пал, ибо свернулся в католическую ересь; Второй Рим, то есть Константинополь, точно так же: пал через несколько лет после присоединения к латинской ереси. Остался Третий Рим – Москва. Линия наследования четкая и выразительная: Киевская Русь принимает крещение от Византии; София Палеолог, племянница последнего владыки Византии, выходит замуж за Иоанна III Грозного<sup>14</sup>, привозя при том в Москву сокровища христианской Софии – огромную константинопольскую библиотеку<sup>15</sup>; Россия перенимает от Константинополя герб с двухглавым орлом; города средневековой Руси возникают в соответствии с архитектурным образцом Константинополя, который, в свою очередь, был возведен по заказу императора Константина как отражение Первого Города, Иерусалима. Отрицать нельзя – вот оно, истинное христианство. Здесь не склоняют насилием отречься от ереси, ибо знают, что это невозможно – ты замерз еретиком – но вместе с тем не сомневаются, что проклятый в своей злости и вместе со всеми священниками, епископами, соборами и богатствами Фальшивого Рима ты прямо ступаешь дорогой осуждения, с каждым шагом удаляясь от света единой истины Божьей, в тьвет, в жаркую тьму, воняющую железом, под черное Солнце Подземного Мира...

Я-оно на мгновение очнулось, но тут же голова снова упала на грудь. Обогревают ли Собор? Тьветистый пар медленно исходит из уст, словно кровь, которую пускают из жилы. Танцующие светени поочередно высвечивают фрески на противоположной стене. Кишки выворачиваются, организм бунтует. Может это водка, а затем нездоровы кофе, принятые на практически пустой желудок, или это смрад смерти, запавший глубоко в легкие, или это аллергия самой Правды на Ложь, Лжи на Правду – вспомнилось животное отвращение Горубского к Козельцову и Козельцову к Горубскому – не нужно, не нужно было заходить в церковь! Я-оно перегибается пополам и блюет на каменный пол Собора. Светени останавливаются на иконах, святые глядят в изумлении, и глядят потрясенный дьякон, остановившись на полу шаге. Стоящее на коленях, я-оно отирает рот шарфом; дрожащей рукой инстинктивно натягивает на глаза мираже-очки. Чернота и белизна, золото и серебро, тень и свет взаимно перетекают одно в другое, изображения святых вдруг заваливаются в глубокие контрасты, в колодцы перспективы, а дьякон расплывается в иконную фигуру, глаза его делаются огромными, черные брови растягиваются, нос худеет, лицо вытягивается и набухает светло-желтой краской, риза на тулуле сияет пух-золотом. Я-оно, извиняясь, улыбается ему, а Стыд – ни в чем не подводящий приятель, уже разогревает внутренности, грудь и щеки. В Лете можно было бы укрыться под радужной неопределенностью и даже забыть о самой проблеме, но во Льду – во Льду прекрасно понимает, какой Бог глядит сверху на человека. Нет верующих – есть только знающие Правду и те, кто ее еще не познал. Дьякон подходит, наклоняется, подает лучающуюся руку с неестественно длинными, тонкими пальцами. Я-оно слабо отталкивает ее и, пошатываясь, идя под стеночкой, выскакивает из церкви на улицу. Кто во Льду отступает от истинной веры, тот делает это по причине ясного предпочтения Лжи; сомневающихся, блуждающих нет. Кто творит зло, тот явно противостоит Богу. А кто во Льду умирает, тот умирает на самом деле.

## О черной физике, о Царствии Небытия, о прекрасном искусстве прощаний и правоты авторитетов

24 октября вновь запустили Холодную Железную Дорогу. У отстроенного моста, как сообщали газеты, выставили усиленный армейский пост; ожидались и последующие акции со стороны японцев Пилсудского. Было утверждено официальное продление действия военного налога, зато несколько успокоилась ситуация на рынке зимназа и тунгестита, а генерал-губернатор чуточку попустил узду: было выпущено большинство мартыновцев, в тюрьмах, в основном, остались лишь предводители забастовок и мятежей; цензура разрешила "Сибирскому Вестнику" поместить статьи об этих событиях, а делегация промышленников-абластников нанесла визит в Цитадели. Пан Поченгло в ее состав не вошел. После того пан Поченгло вновь ездил по делам по всей Сибири, при оказии, наверняка, развозя тайную корреспонденцию участников движения за независимость и уговаривая соратников по заговору. Он приспал свою визитку с фамилией и владивостокским адресом, по которому должны были бы обратиться беглецы с целью безопасной переправы через Тихий океан; здесь же был и адрес харбинского фактора, на случай непредвиденных обстоятельств по дороге. Два комплекта фальшивых документов будут доставлены перед выездом из Иркутска.

По привычке нормального обывателя Империи, я-оно училось замечать червячные движения Истории, читая между строк прошедших цензуру статей: *Как докладывают из Енисейска, там убили некоего мужчину, который в таможенном управлении украл большое число патронов. В связи с этим убийством, полиция раскрыла широко развернутый заговор членов тайного клуба. В помещении данного клуба было найдено большое количество масок, ритуальных орудий, патронов, кинжалов и другого оружия. Арестовано большое число лиц. Из них некоторые дали весьма важные показания.*

Тем временем, однако, несмотря на нормальное железнодорожное сообщение с Кежмой, из Министерства Зимы не поступало ни единого сигнала о решении по делу. Ни люди генерал-губернатора, ни Шембуха, ни Ормуты, ни даже тот чиновник-блондин, никто от них не появился с новым указанием, никто не выпытывал и про отца; по-видимому, Батюшкой Морозом они совершенно не интересовались. А ведь я-оно знало, что это неправда. Во время следующего визита в их представительстве – обещало про себя – нужно потребовать конкретных действий. Нужно отыскать худого типа с черными зубами. Необходимо выпытать про те первые экспедиции в Зиму, про участие отца, про Ачухова. Ведь наверняка же сохра-

<sup>14</sup> Так у автора; хотя, почитайте хотя бы А. Бушкова, у него тоже имеются ссылки именно на Иоанна III "Грозного" – Прим.перевод.

<sup>15</sup> Не отсюда ли, кстати, легенда о библиотеке Иоанна Грозного? – Прим.перевод.

нился список участников, какие-то отчеты, донесения; имперская бюрократия не позволила бы пропасть делу без целого шкафа с бумагами и бумаг про бумаги. Наверняка, что-то есть у них и про Отца Мороза. Их тех карт и копий, сунутых блондином, ничего полезного извлечь невозможно. За Кежмой – это уже Смертельная Изотерма – туда ли отправился отец? – но ведь вначале удавалось зайти дальше, должны быть какие-то сороки, которые это дело помнят. Вот только, как таковых найти? Ведь в том-то их работа и заключается, что они не сидят в Иркутске, а месяцами шастают по Сибири лютов. Но, возможно, сейчас посидят в городе чуточку подольше.

Дело в том, что наступили морозы байкальской зимы; морозы, а вместе с ними кисельные туманы-мглы: при минус пятидесяти, минус шестидесяти градусах Цельсия, влага воздуха оседала густой взвесью, которую можно было резать ножом. Господин Щекельников вышел до рассвета и показал, как ее режут: ножом вниз, ножом вбок, лезвием, которое держал плоско, чтобы обрисовать линию пошире – и вот так вычертил в стоячей мгле квадрат со стороной в метр. Фигура висела в воздухе неподвижно. Мороз нарастал, и казалось, могущество Мороза столь велико, что начинает доставать даже прошлое: оглянулось через плечо и видело в этой мгле туннель, пробитый движением тела, форму этого тела пяти-, десяти-, двадцати шагов назад, оставленную для постоянного обозрения – замороженное прошлое. Люди, животные, сани, все движущееся – отражалось в стоячем тумане последовательностями дыр, словно материальных теней несуществующего. Можно было собственными глазами осмотреть и ощупать бытие минутной, пятнадцатиминутной, часовой давности (если ветер от Ангара был слабым). Минус пятьдесят, минус шестьдесят.

Кому по делам выходить не надо было, сидели дома, у печек. А те гудели, словно испорченные самовары. Пар сжижался каплями на оконных мираже-стеклах, из этой влаги вытекали многоцветные фонтаны; мираже-стекло никогда не зарастало инеем. За окнами крыши домов и спины лютов проплывали над медленно стекающимися струями небоцветной мглы. А тут – возле керосиновой лампы и чашки с самым лучшим чаем, в плюшевом, нагретом четверть-мраке – я-оно писало письма в Польшу.

Так, в первую очередь Зыгмунту, с переводом на тридцать рублей. Сильно ли достают кредиторы? Застряло в этой Сибири. Потом Альфреду. Застряло в этой Сибири, огромное спасибо за рекомендации пану Велицкому, уж он точно нижеподписавшемуся жизнь спас. Теоретические работы лежат втуне, зато здесь практикуется логическая инженерия, о которой тебе и не снилось. Как там диссертация в Львовском? Появилось ли что-то любопытное в логической математике, к примеру, теории Котарбинского? Пришли новые статьики, с которыми можно было бы не согласиться, пока мозги тут полностью не засохнут.

Так же написало Болеку, напоминая о себе после многих лет. Что у него там? Здоров ли? Сколько это уже костелов построил? Женился, может? Ответ пусть пишет на этот иркутский адрес. Работа имеется, сделалось порядочным гражданином, вернет ему все займы, вот первый взнос. А может судьба еще так человеком покрутит, что и на американский континент попадет – так что пусть вышлет надежный контакт, адрес, по которому его можно будет найти в течение год-двух. Любящий брат, Бенедикт.

После наступления темноты, после рюмочки вишневки, а потом – после второй и третьей, пришла пора для письма панне Юлии. Что нового – а ничего нового, разве что теперь я-оно деньги зарабатывает. Ха, панна и не думала, будто бы Бенедикт Герославский когда-нибудь честным трудом займется – это как же путешествия в экзотические края человека меняют! (Плюс, насос Котарбинского, естественно). Но, каких бы странных, внешних причин здесь не искать, каких бы оправданий не изобретать, не скажет ведь панна, что и это тоже неправда о Бенедикте Герославском. Потому-то, в Варшаве – вшивая дыра у Бернатовой, репетиторство и случайные заработки, выпрашивание денег у евреев, карты, это можно было предвидеть – но не должность, не нормальное, банальное будущее? Или эта неопределенность времени незрелости, та неустойчивость характера в Лете является математически, биологически неизбежной – словно этап куколки в жизни насекомых? Или все пошло бы иначе, если бы, именно, не панна – если бы не случайное, теплое прикосновение панны руки – если бы не жаркие обещания – великие планы – все эти не состоявшиеся и непроверенные виды на будущее – все это вина панны Юлии! Именно ее в том вина, и панна об этом знает! Поскольку доверилось тогда тому, что не существует!

Письма, письма, письма, с формальными поздравлениями, с шикарной завитушкой подписи, на веленевой бумаге, в конверте, густо обклеенном марками – это тоже один из небольших ритуалов мещанства, равно как и тихий полдник с домашними, как воскресный обед, как серьезная правительственные газета за завтраком или вечерний кофе в клубе для джентльменов, где, как, к примеру, у Вителла, свободно обсуждаются дела и любовные истории, политика и война.

Купило часы Филиппа на серебряной цепочке, с выгравированным гербом Иркутска на крышке, весьма приятно лежащие в руке. Когда теперь стало перед зеркалом в расстегнутом сюртуке, с блестящей дужкой цепочки, свисающей у бока жилетки, под синим английским галстуком – совершенно не думало, кого теперь увидят незнакомые люди; не размышляло над тем, соответствует ли общей картинке та или иная деталь, и что все это может означать в их глазах, и не будет ли все это ложью; не думало об этом даже под потьметом в зеркале поблескивающим, после недавнего откачивания тьмечи.

Вот уже несколько недель с Теслой не виделось; зато регулярно пользовалось насосом Котарбинского в его апартаментах в "Новой Аркадии" по дороге на Мармеладницу, но Теслы к тому времени в гостинице уже не было. *Mademoiselle* Филиппов говорила, что Никола практически не покидает Обсерваторию, там ночует, там даже ест. Снова он перестал спать, разговаривает сам с собой на многих языках, ходит в легкой горячке, пропускает себе через голову килотемни тьмечи и киловольты электрического тока.

Он приспал письмо.

Дорогой Б.Г.,

полагаю, что Вы не посетили меня еще в новой лаборатории только по причине избытка работы. (Выходит, и Вы тоже работаете сейчас над черной физикой!) Не поменялись ли Ваши планы по ТОМУ вопросу? Думаю, что я уже

гораздо ближе к решению нашей проблемы; так что прошу никаких решений не принимать, вначале переговорим. Приглашаю!

Преданный Приятель,  
TGI

"TGI" означало – "Tesla the Great Inventor"<sup>16</sup>.

Доктор Тесла устроился на первом этаже Физической Обсерватории Императорской Академии Наук, в ее складских помещениях, на тылах. Зимназовые кабели толщиной в руку, в волоконной изоляции тянулись по коридорам и лестницам, подвешенные под потолком, в выбитых в стенах нишах – и вели в подвалы, к колодезной раскопке, где Никола "подключился" к Дорогам Мамонтов. Он – то есть, его машины. Правда, особой разницы это не представляло.

Гигантская тунгеститовая катушка – тор, обмотанный сотнями аршин тунгеститового провода – занимала всю ширину склада. Ее передвинули в самый конец длинного помещения, поскольку, когда катушка работала, никто безопасно не мог пройти рядом с ней. Зимназовые конденсаторы и мегатокопроводы были расставлены по порядку до самого входа. Токопроводы Никола применял в контролированных резонансах для измерения пассивного и реактивного сопротивления, а также индуктивной мощности теслэлектрической катушки, равно как и для определения их чернофизических соответствий; но самыми эффектными были эксперименты, в которых катушка представляла собой тьмеченосную систему, подключенную к самой Земле, то есть, к Дорогам Мамонтов.

- Я вломлюсь к ним! – кричал Тесла и – шинель, перчатки, защитные очки, соболиная шапка – дергал за переключатель машины, а работники-зимовники с азиатскими лицами и толстым слоем отвеченной ауры закрывали глаза и как можно скорее бежали из лаборатории. – Я найду эту частоты, чтобы меня молния ударила!

Лютый мороз бил от катушки, и матовый иней покрывал ее витки и корпус: это сжижался и замерзал воздух. Тьвет истекал от машины плотными волнами, за самым малым предметом отбрасывая светени настолько интенсивные, что без мираже-стекольных очков человек не мог глянуть на них даже краем глаза.. Низкий, злобный звук – протяжное урчание, от которого волосы становились дыбом, и сводило кожу – выходил за пределы здания и далеко на улицу. («Голос Байкала» печатал письма с жалобами жителей окружающих домов).

А потом начинались теслэлектрические разряды. Черные молнии, в пучках по несколько десятков, по сотне, миллионы, выстреливали из катушки, и словно голодные пиявки цеплялись то к тому, то к другому предмету, извиваясь, множась и делясь, ломаясь и выпрямляясь, после чего неожиданно перескакивали в совершенно иное место. При этом раздавался ужасный треск, и холодный вихрь перемещался по лаборатории. Некоторые угольные молнии доставали до противоположной стены склада, то есть, на добрых сорок аршин. Так что человеку здесь никак не удавалось укрыться. Теслу при этом молнии били уже не раз. Но он не обращал на это внимания.

- Я даже холода не чувствую, – говорил он. – Человек, стоящий на земле, не обладает сопротивлением для тьмечи.

В боковом складе, двери рядом, он устроил себе уголок для работы, заключавшейся, скорее, в теории, чем в практике; на третьем этаже у него имелась комната, приспособленная под спальню, только он ею почти что не пользовался. Здесь, внизу, сразу же над подвалами и Дорогами Мамонтов, он держал в клетках мышей и крыс, которых накачивал тьмечью или же откачивал ее из них. Светловолосый русский парень, с лицом изрытым оспинами, вел документацию экспериментов: Саша Павлич, биолог, рекомендованный профессором Юркатом, который перед тем занимался феноменом усыпленной жизни в мерзлоте.

Комната была подключена к отоплению. Сбросив шинель, Никола поспешил записать новые результаты; письменного стола у него не было, для своих потребностей он занял большую часть лабораторного стола, придвинутого здесь к стенке под полками с самыми разнообразными устройствами и их деталями. Я-оно заметило там же подручный насос Котарбинского, приводимый в движение рукояткой, но еще и дырявый чайник. В корзине за столом торчали термометрические трости и стержни с ломаными зимназовыми антеннами – тьмечеметры, как узнало впоследствии.

Саша как раз кормил тихо попискивающих мышей. К каждой клетке был подведен зимназовый кабель, провод тесной петелькой охватывал одну из конечностей грызуна. В открытых коробках на клетках лежала рассортированная по вертикали документация: Партия Первой Недели, Партия Второй Недели, Партия Третьей Недели et cetera. Прилагаемые фотографии представляли собой черно-белые тельца животных, замороженных до каменного состояния – и внутренности грызунов после посмертного вскрытия. Павлич затушевал и подписал зоны, идентифицированные как центры заболеваний.

Тесла подошел поближе, заглянул через плечо, в чем помогал ему рост.

- Ага, пока что одни только мыши и крысы.

- Их убил теслэлектрический ток?

- Well, как и во всем, имеются границы величины тьмечи, которую организм может принять без ущерба для себя. Или же, которую без ущерба для здоровья можно откачать. Накачанную тьмечью крысу убивает побочный эффект переполнения организма тьмечью: мороз. Крысу с откаченной тьмечью – хмм, здесь причина лежит глубже. Вот эти пятна, – Тесла указал пальцем в белой материи, – это центры неожиданно растущей опухоли.

Я-оно перепугалось.

- Насос Котарбинского вызывает рак?!

- Ну, ну, никаких причин беспокоиться нет. Все это мы измеряем уже с достаточной точностью: живой организм подобной величины вмещает около семисот скотовос<sup>17</sup>. Во всяком случае, после откачки семи сотен, производительность

<sup>16</sup> Тесла – Великий Изобретатель (англ.).

<sup>17</sup> От греческого слова skotoß – "тьма, ослепление".

насоса резко снижается. Можно предполагать, что теслектрическая емкость человека в несколько десятков раз выше. Тот насос, которым вы пользуетесь у меня в гостинице, не выкачивает напряжения выше одной десятой нокты<sup>18</sup> – так сколько часов вы должны были бы откачивать себя? А эффекты с появлением опухолей мы отметили только после полной откачки тьмечи из организма.

Никола Тесла отчаянно пытаться охватить феномены черной физики в количественных зависимостях, описать ее математическими уравнениями. Доски, развешенные здесь на стенах, заполненные плотными строками расчетов, столбиками цифр, неуклюжими схемами – очень напоминали мне такие же письменные доски из криофизической лаборатории предприятия Круппа. Большую часть вычислений Тесла проводил про себя, так же в голове он конструировал свои машины; на досках калякали, в основном, Павлич и еще один помощник серба, некий Феликс Яго, подосланный ему по указанию Личной Императорской Канцелярии из Петербургского Института: уже пожилой, благочинно выглядящий инженер с моноклем и галстуком-бабочкой, пересчитывающий сейчас в резиновых перчатках черные кристаллы и упаковывающий их в мираже-стекольные банки, закрываемые затем пробками с печатями Императорской Академии Наук.

Я-оно считало с таблицы символы черной физики Теслы. За единицу заряда тьмечи он принял 1 скотос,  $\sigma$ , определяемый как теслектрическая емкость одного грамма гигроскопического хлористого цинка,  $ZnCl_2$ . Тьмечь ( $W$ ), протекающая за время  $t$ , характеризуется интенсивностью ( $I_w$ ), измеряемой в ноктах,  $n$ .  $I_w = \Delta W / \Delta t$ . Давление тьмечи, называемое также теслектрическим напряжением ( $U_w$ ), измеряется в темнях,  $\varphi$ . "Сила", с которой теслектрический поток заполняет носитель, зависит от интенсивности потока, а так же от теслектрической поглощающей способности носителя – которая различается для различных материалов и структур. Никола разговаривал у таблицы, заполненной несколькими параллельными системами уравнений, различных для каждого представленных сверху тел: шара, куба, практически двухмерного листа материала, длинного цилиндра. Он всматривался в эти уравнения, словно желая прокопать таблицу взглядом глубоко посаженных глаз, сейчас очень темных, словно напитанных тьмечью; белая прядка упала на острую скульную кость, а он этого даже не замечал.

- Явно существует некая "структурная постоянная",  $Q$ , которая не следует из химического состава объекта, но исключительно из его строения, из пространственной формы и происходящих в нем тепловых процессов, и от этой постоянной зависит тьмечная емкость предмета, его поглощающая способность и, по-видимому, даже темп, с которым он генерирует тьмечь. Ибо – так, так, пан Бенедикт – всяческое тело постоянно и постепенно накапливает в себе тьмечь даже при полной теслектрической изоляции, исходя лишь из самого факта своего существования. Причем – а мы измеряем все это по возможности точно – не тратя какой-либо энергии.

- Вы же не говорите о *perpetuum mobile*?

Тесла скривился.

- Уже неоднократно меня обвиняли в научной наивности. Вечный двигатель, ха! Я уже запатентовал несколько таких версий диска Фарадея. Представьте себе однополюсную электромагнитную динамо-машину, где ток индуцируется магнитным полем Земли. Если взять соответственно крупный диск, или же соответственно быстро вращающийся, или выполненный из материала с тысячекратно большей проводимостью...

- Электрические сверхпроводники?

- Да. Тогда мы имели бы само-поддерживающуюся динамо-машину: генераторы, черпающие энергию планеты. Или космическую энергию: возьмите два подобных диска, один на земле, другой, подвешенный над нею, выставленный на воздействие космических лучей, и подключите их с двух сторон к конденсатору. Или же, возьмите кабели настолько длинные, что один конец будет заземлен, а второй выброшен в космическое пространство. Имеются здесь какие-нибудь волшебные машины, нарушающие законы физики? Да нет же, это просто беспрепятственные двигатели, энергию они берут в другом месте.

...Но здесь мы имеем дело с совершенно иным механизмом. На сколько миллиардов скотосов мы должны оценить заряд тьмечи Земли? Структурная постоянная указывает нам наиболее эффективные тьмеченоносные конструкции.

Я-оно подумало о криофизической "температуре упорядочивания" и мере энтропии. Подпорядочил ли Никола в измерениях этой постоянной отдельным предметам некую объективную меру порядка, шкалу единоправды? Существует ли геометрия и стереометрия более и менее "правдивые"? Какое равнотемпературное тело представляет собой больший порядок: шар или куб?

А человек. Насколько близок к Правде *Homo sapiens*?

Тьмечь самостоятельно протекает вдоль линии теслектрического напряжения, но из человека просто так она не вытечет, хотя, с другой стороны, он весьма открыт для накачки тьмечью из воздуха, из земли, из воды.

Точно то же происходит и со льдом – с помощью профессора Юрката Тесла выделил уже более сотни видов льда, каждый из которых в теслектрическом потоке ведет по-разному.

- Подозреваю, что это имеет нечто общее с его молекулярным строением – с тем, как молекулы воды собрались во время кристаллизации. Зимовники сидят там, в колодце, и перебивают зимназовые иглы из одной в другую ледовую живу, – Тесла вытащил зубчатыми щипцами пробку и налил в стакан минеральной воды. Бутылки с этой водой ему привозили из "Новой Аркадии". – Дошло до того, что при постоянном давлении на токопроводах, я могу по звуку работающих машин узнать цвет и степень загрязнения льда, к которому подключился.

- То есть, вы откачиваете тьмечь из Дорог Мамонтов?

Тот сделал глоток воды.

<sup>18</sup> От греческого *nocta* – ночь.

- Ну, качаю, только здесь дело совершенно в другом. Токопроводы превращают тьмечь в электрический ток, так что в этом плане я самодостаточен. Но ведь не думаете же вы принимать эту установку в качестве оружия против лютов?

- Когда вы говорили о целостных решениях, я сделал такой вывод...
- Океан вычерпать ложкой! Дорогой мой!
- Как же тогда?

Какое-то время он прислушивался к отомуку отдаленного барабана глашатаев, какая-то ассоциация вдруг отвернула его мысли от беседы; пришлось подождать добрую минуту, лишь после того серб замигал и, как будто ничего не произошло, продолжил.

- Идея родилась у меня еще в девяностых годах прошлого века. Конечно, господин Бенедикт, вы правы, тогда я ничего не знал про теслэлектричество и про Лед; никто этого не мог знать. Я работал над системой общемирового беспроводного телеграфа. Как оно пошло с Маркони, дело другое; моя же идея – как бы это вам более доступно... Представьте себе резиновый пузырь, наполненный водой до границы прочности материала. В пузыре имеется отверстие с трубкой и поршнем – нажмешь на поршень, вода втищивается в пузырь, тот расширяется. Установите в различных местах побольше таких поршней – они станут подниматься и опадать в ритме движений вашего поршня. А теперь замените пузырь на Землю, потоки воды – на земные токи, а поршни – на приемно-передающие станции. Волны переносят информацию, но волны переносят еще и энергию, о чем до сих пор мало кто думает. Представьте себе снова, что в этой воде вы осуществляете взрыв – волна проходит через пузырь – вы вычисляете ее частоту и качаете поршень в соответствии с нею, все время увеличивая амплитуду – через какое-то время пузырь должен лопнуть. Точно так же лопнет и земля.

- Вы хотите уничтожить планету? – рассмеялось я-оно. – Да, мы избавимся от лютов, это правда, только не думаю, чтобы царь имел в виду нечто подобное.

Тесла неспешно крутил стакан в пальцах, засмотревшись на перетекающую воду в нем.

- Как-то вечером, вместе со знакомым из моей лаборатории на Хьюстон Страт, неподалеку от Уолл Стрит, я попал в подвалы одного из небоскребов. Там шел какой-то ремонт, дом был пустой, безлюдный. Механический генератор колебаний был у меня с собой, в чемоданчике. – Второй рукой он показал, насколько небольшим тот был. – Я плотно подсоединил его к одной из стальных опор здания. Частоту колебаний генератора подстроил так, что опора вошла в резонанс. Через несколько минут весь дом трялся, словно в малярии; другие небоскребы по соседству тоже тряслись; и вообще, округа выглядела, словно во время землетрясения. В подвале клубилась пыль, мы уже слышали пожарные сирены – тогда я схватил молоток и разбил генератор. Мы спаслись в самый последний момент. Да. С помощью такого мини-генератора я разрушил бы Бруклинский мост меньше, чем за час.

…Земля вибрирует с частотой в один час и сорок девять минут. Представим, что я взрываю тонну динамиита точно в эти интервалы, всякий раз усиливая возвратную волну. В конечное время Земля должна распасться, вы же не сомневаетесь в этом, господин Бенедикт.

- Но ведь вы же не хотите, чтобы Земля треснула, – сказал я-оно, уже без смеха.

- *Of that you can be sure*<sup>19</sup>. – Тесла провел белой ладонью по цыганскому носу, светень засветила ему в темный глаз. – Но для теслэлектрического тока в Дорогах Мамонтов тоже существует своя резонансная частота. Должна существовать.

- Откуда такая уверенность?

- А вы забыли, с чего все это началось? Со столкновения, с удара!

Я-оно налило себе воды в другой стакан.

- И как раз это вы испробуете на тунгеститовой обмотке?

- Тогда я построю тьметовой молот, который разбьет любой Лед. По крайней же мере... – Он вздохнул и присел на краю массивного лабораторного стола. – В последний раз я спал и... Не надо так удивляться, сплю я, сплю.

- И вам снилось...

- Да. Что в один прекрасный день именно таким способом я низвергну весь Город Льда. Не надо пренебрегать предчувствиями будущего! У меня всегда был талант к ясновидению, как-то раз я спас человека от смерти в железнодорожной катастрофе, благодаря такому вот откровению. – Он задумался. – Смерть своей матери – ее я тоже вначале увидел на небе.

- Все здесь предостерегают перед ловушками онейромантии. Вы же видели сонных рабов?

- *Excusez-moi*<sup>20</sup>.

Тесла направился к шкафчику в углу, вынул бутылочку, высыпал что-то себе на перчатку – будет запивать таблетки. Я-оно обернулось. Саша Павлич, сидящий над микроскопом, с любопытством поглядывал с другого конца комнаты. Подмигнуло ему. Саша покраснел и сгорбился над окуляром.

Я-оно прошлось вдоль стоящих под стенами столов. По сравнению с балаганом Лаборатории Круппа здесь царил практически идеальный порядок. А ведь это был первый этаж, над Дорогами Мамонтов. Может быть, им везло, и люты пока что обходили их стороной. Или же все это рука *mademoiselle* Кристины. Прошло мимо тунгеститового зеркала с выжженным узором, похожим на пентаграмму, машинально качнуло чашки аптекарских весов, щелкнуло раз-другой выключателем мрако-лампы под красным абажуром (на мгновение склад затонул в грязной синеве, словно залиятый морской волной), заглянуло вовнутрь зеркального шара...

- Ни к чему не прикасайтесь! – перепугано воскликнул Тесла.

<sup>19</sup> В этом можете быть уверены (англ.).

<sup>20</sup> Простите (франц.).

Отступило на шаг.

Серб подбежал, что-то отключил у основания стойки с шаром. К ней подходило несколько довольно толстых кабелей в противотемечевой изоляции. От шара горизонтально отходил длинный стержень из мираже-стекла с подмонтированными оптическими устройствами. Внизу лежало несколько измерительных приборов с круглыми циферблатами.

- Теслэлектрическая бомба, или что?

- Уфф. *Je vous demande pardon*<sup>21</sup>. – Он оглянулся на инженера Яго и понизил голос. – Не бомба; собственно говоря – тьветодиодная лампа, но... Он приблизился еще плотнее, поза предполагала стыдливую доверительность. – Где-то лет тридцать назад я сконструировал первые генераторы Луча Смерти, *Death Ray Devices*. Те лампы в долю секунды могли уничтожать цирконий и алмаз. Вот, поглядите, строение такого светового ружья чрезвычайно простое: сфера выложена изнутри отражающим материалом, все это немного похоже на лейденскую банку, и кусочек отполированного угля, циркония или рубина, подключенный к источнику энергии. Свет отражается внутри, лавинно концентрируясь на камне. Пуфф, и он испаряется. Либо же, используя цинковые плиты, мы выпускаем этот концентрированный импульс света наружу – что за оружие! Если бы у меня имелись средства, чтобы разработать его в соответственно большем масштабе – кто бы еще вел войны, когда действующий быстрее взгляда луч с расстояния в сотни миль испепелял бы целые армии?

...К сожалению, никто изобретением не заинтересовался. Но здесь у меня имеется возможность испытать в действии тьветодиодную версию Луча Смерти. В качестве концентрирующего камня я применяю криоуголь или же чистый тунгестит. Получаемый тьветодиодный луч будет настолько низкой температурой, что мне не удалось ее толком замерить.

Я-оно присматривалось к шару со стеклянным клювом, сильно почесывая при том верх ладони.

- Морозит, но не уничтожает?

- Еще не знаю, для чего это может пригодиться на практике – у меня нет особого времени для подобных экспериментов. Я рассчитывал сконцентрироваться на катушке "T" и резонансе тьмечи в Дорогах Мамонтов – он, как я уже говорил, должен представлять собой главный предмет исследований; здесь же, на дворе создаю сейчас прототип тунгестита – а тут оказывается, что вновь моей работе мешают какие-то политические козни. Якобы, местный губернатор, как его там...

- Шульц.

- Вполне возможно. Этот Шульц шлет в Петербург пасквили, будто бы я трачу государственное имущество на частные исследования. Победоносцев сует мне палки в колеса при любой возможности; нам все сложнее доставать чистый тунгестит, а на один только стержень тунгестита мне нужно его шестьдесят пудов – словом, мне нужно устроить какой-нибудь показ, чтобы успокоить царя. – Незаметным движением головы Тесла указал на инженера Яго. Отсюда и Боевой Насос и все его подручные варианты – видите ли, друг мой, я думаю о вас – и я убедил их, будто бы это такие ружья для борьбы с людьми, и что мне нужно испробовать их действие на организмах в Морозе. *Quid pro quo*<sup>22</sup>, я не представляю себе, как бы могли подобным образом прогнать людей и заставить Лед отступить – в самом лучшем случае, люди снова вернутся на Дороги Мамонтов – и что тогда? Будут пробивать колодец за колодцем, строить Боевые Насосы каждую версту? А Лед останется, как и был. Нет, нет, *mon ami*, с ними следует расправиться у самого источника, *so to speak*<sup>23</sup>.

...Но, чтобы мне дали на это время и свободу действий, я должен устроить для них эффектное представление. Вот как выглядит жизнь изобретателя и инноватора: никто его идей хорошо не понимает, ведь если бы понимали, сами бы все это гораздо быстрее изобрели; так что истинный новатор должен привлекать союзников харизмой, завоевывать их верой, основанной на его прошлых успехах или – или именно так: обманом, хитростью, блестящим блефом. И за все эти годы я научился этому.

Выловив их длинной рукой из за стола, Тесла показал схемы и эскизы этого Боевого Насоса, вычерченные на листах картона. Вся конструкция действительно выглядела импозантно – пририсованный внизу для целей сравнения человек выглядел словно муравей. Вспомнились иллюстрации к "Войне миров" Уэллса: машины выше домов, опирающиеся на тонких, паучьих треногах. На эскизе не хватало только люта, плавящегося под ударом Насоса.

- А вот и польза от данной принудительной работы: чернобиологические исследования. – Никола махнул в стороны клеток с крысами и мышами. – Ведь наиболее легкая из сложностей заключается, понятно, в том, что – кого я тут могу размораживать насосом тьмечи? – ледовые трубы, замороженных животных, в лучшем случае, зимовников-каторжников – но никого и ничего близкого к тому состоянию, в котором находится *le Père du Gel*. Теперь скажем, что я дам вам такой переносной насос, на тех несчастных испытанный, вы же, применяя его на отце в наилучшей вере, вызовете его смерть, ну, не знаю, он способен вызвать какой-нибудь тепловой или тьмечевый шок, а то и привести к какому-то иному непредсказуемому эффекту. – Тесла вернулся к себе в угол и подлил себе воды. – Вот ведь в чем вопрос: что нужно сделать, чтобы обрести уверенность?

- Если подумать... Следовало бы для экспериментов завести какого-то другого Отца Мороза.

- *That's right*<sup>24</sup>. – Тесла поднял стакан с водой, словно провозглашал тост. – Так что вначале следовало бы научиться людей замораживать, и только потом безопасно размораживать.

Отвел взгляд.

- Вы спрашиваете меня, как мой фатер стал тем... тем...

- Вы не знаете.

<sup>21</sup> Прошу прощения (франц.)

<sup>22</sup> Услуга за услугу (лат.)

<sup>23</sup> Так сказать (англ.)

<sup>24</sup> Правильно (англ.)

- Я прослеживаю его именно до того места на Дорогах Мамонтов. – Глянуло на клетки с крысами, замерзающими после полной накачки тьмечью, иней покрыл их шерстку, слюна на мордочках превращалась в лед. – Могу я поговорить с профессором Юркатом?

- Он на неделю-две выехал в Томский Университет.

- Эх. – Почесало запястье. Сюда пришло прямиком из "Новой Аркадии", еще чувствовало теслектрический ток – всасывание тьмечи в организм – очень четко, словно перемещение этой прохладной воды через гортанный. Или это всего лишь самовнушение после слов Теслы. – И когда вы собираетесь начать эксперименты на людях? Вам уже предоставили этих осужденных?

- Вообще-то, мне бы хотелось побольше знать, прежде чем начать рисковать человеческими жизнями. Потому-то я и говорю вам: пока что прошу вас отступиться от мысли про спасательные экспедиции и тайные размораживания отца где-то за Полярным кругом. Если мне повезет, царь Николай получит то, чего хотел, и Лед исчезнет с лица Земли вообще – быстрее, чем кто-либо предполагал.

- Значит, вы прогоните Зиму, перебьете лютов.

- Идея именно такова.

- Но откуда уверенность, будто бы подобную Оттепель переживет *le Père du Gel?*

Никола Тесла смешался, развел руками, опустил голову на белую манишку, сгорбился, поправил платок под подбородком, буркнул что-то под нос на неизвестном языке, снова разложил длинные руки. Только в такие моменты становилось видно, насколько он уже стар, насколько устал: морщины, круги под глазами, ни в коем случае не вызванные потье-том, кожа тонкая, туга натянутая на острых костях. Как правило, этого не замечало: Тесла безоговорочно управлял собственным телом, накрученный на вечную неуспокоенность разум не позволял ему отдохнуть, остановиться, износиться.

- Ваш отец исключителен среди людей, – сказал он, – и цена как раз в этом: страх, сконфуженность и неуверенность.  
– Он отставил стакан. – Не хотите, чтобы я дал вам мазь для рук?

В представительстве Министерства Зимы следовало появиться только через пять часов, а панна Елена уезжала вечером; так что вначале отправилось в Польскую Библиотеку.

На листке, вложенном в бумажник, были выписаны вопросы, которые необходимо было исследовать. Последний, девятый, касался Аэростатного Немого, на которого пани Гувжджь навела с точностью до месяца. Библиотекарь, перемещающийся с помощью трости господин с бельмом на левом глазу, подтвердил, что да, у них имеются годовые подшивки всех периодических изданий Байкальского Края, в том числе, и ежедневной иркутской прессы. Я-оно попросило подшивки за 1919 год. Библиотекарь завел в склад на тылах помещения и указал тростью сундуки, обитые жестью. Уважаемый господин сам видит, что тут происходит.

Польская Библиотека, несмотря на какой-то там по очереди щедрый взнос Клуба Сломанной Копейки, никак не могла выйти из состояния перманентной катастрофы: с регулярностью, достойной еврейского ростовщика или китайского проклятия, она падала жертвой лютов, перемораживавшихся через ее склады и читальные залы. Не помогали переезды во все более дорогие, все дальше отстоящие от Дорог Мамонтов помещения; не помогали четвертые-пяты этажи и посты в подвалах. Уже пятый раз в течение трех лет нужно было в спешке эвакуировать все фонды. Теперь уже не старались даже найти новый дом – когда ледовик пошел дальше, очистили и осушили помещения, вновь распаковавшись на предыдущем месте. Правда, большая часть мебели годилась только на дрова; новую еще не закупили, книжное собрание представляло собой кучу ящиков и связок, создавая в пустых помещениях лабиринты, похожие на те, что образовались из шкафов и полок в Лабораториях Круппа. Человек перемещался по библиотеке словно червяк в кишках спящего чудовища. Ежесекундно – нередко, под самыми ногами – раздавался треск и грохот, от которого волосы становились дыбом: это выпрямлялись паркетины, выпущенные прохождением ледового творения. Серая штукатурка отпадала от потолка пластами.

Найдя подшивки, собранные в громадные книжицы весом в полпуда, перетащил их на стол у окна в главном зале, неподалеку от стола библиотекаря. Старик подсунул журнал записей. В ящичек для пожертвований сунуло трешку.

Уселось за столом и открыло книгу.

История начинается в 1882 году, когда инженер Соломон Август Андрэ принял участие в первой научной экспедиции на Шпицберген. Именно тогда его захватила идея добыть Северный Полюс с помощью аэростата, то есть, в корзине наполненного водородом шара. Соломон Андрэ работал в шведском патентном бюро, он был членом городского совета Стокгольма и пропагандистом идеи эмансипации женщин в результате промышленного прогресса; в науке же он блеснул публикациями, касающимися – да, да – явлений теплопроводности. В 1896 году он сконструировал аэростат "Орел", истинное чудо тогдашней техники; для своего предприятия он добился патроната Шведской Академии Наук, дотаций из королевской казны и пожертвований от Альфреда Нобеля. 11 июля 1897 года "Орел" с господами Андрэ, Фраэнкелем и Стриндбергом в корзине, стартовал с Шпицбергена. В корзине находились клетки с почтовыми голубями, с помощью которых Андрэ намеревался пересыпал сообщения о ходе экспедиции. Последнее известие с "Орла", полученное на Шпицбергене, было датировано 13 июля, время: 12:30. "На борту все в порядке. Это третий рапорт, высланный голубем. Андрэ."

...Поиски аэростата и экипажа продолжаются до настоящего времени. Шведы не щадят ни денег, ни сил. Долгие годы операцией руководил брат Соломона, Эрнест Андрэ. В феврале 1900 года мир обошли первые слухи об обнаружении оболочки "Орла" в Сибири. Свою помощь предложил князь Кропоткин, проживавший тогда в Англии, член Британского Королевского Географического Общества. Он даже составил карту с обозначением места катастрофы у источников притока Енисея. Охотники, золотоискатели и тунгусы годами сносили различные металлические, деревянные и полотняные останки, требуя обещанной награды. Эрнест Андрэ телеграфным путем дисквалифицировал очередные находки. Потом, после пришествия Льда, телеграфное сообщение сделалось невозможным. По Сибири кружили очередные слухи, легенды, мифы –

все более и более фантастические. Среди тунгусов ходил рассказ о посадке "летающей лодки" на горе Того Мар. В 1918 году Того Мар, вместе с Якутском, Албанскими горами, Джугджуром и побережьем Охотского моря давно уже была подо Льдом. И вот тогда золотоискатели, нанятые Лензолотом, встретили над Олекмой, у подножия Становых Гор, человека, которого пресса впоследствии окрестила Аэростатным Немым.

...Он не говорил, это во-первых. У него была физиономия европейца, что толком стало очевидным лишь тогда, когда с него сбрили многолетнюю бороду. Он был уже очень старым и потасканным; у него не хватало всех пальцев на ногах, ушей, многих пальцев на руках, не было ни единого зуба, мороз забрал и левый глаз. Обнаружили его без одежды и какого-либо багажа, кроме нескольких плохо сшитых звериных шкур. Отсюда же взялась гипотеза, будто бы несколько лет он жил среди туземцев. На русский язык не реагировал и, казалось, вообще не понимал, что ему говорят, что пытаются сообщить жестами и минами – а вот такое в Краю Людов было уже весьма странным. Каторжников уже несколько лет не клеймили, как делалось раньше – буквами "КАТ" на лице и руках – так что поначалу люди из Лензолота не исключали, будто бы это какой-то узник-беглец, но нет. Тогда вспомнили про "Орла". Послали за шведом-геологом, который работал где-то на Лене. Тем временем, Немого держали в избе на небольшом пакгаузе лагеря над Олекмой. Неизвестного обследовал врач и подтвердил, что это совершеннейший зимовник, необычайно стойкий к морозу: некоторые части его тела совершенно не чувствовали прикосновений, настолько заморожен был в нем метаболизм. Тем не менее, старец двигался, дышал, ел, испражнялся, сердце у него билось (хотя и очень медленно). Послали следопытов, чтобы те пошли по его следам назад – следы через десяток с лишним верст кончились.

...В этом пакгаузе его держали неделю без одного дня; на седьмое утро в средину вошел человек с завтраком, и оказалось, что Аэростатного Немого уже и нет. Он не выходил – окна были зарешечены, даже просто хорошенко забитые, а двери на наружном засове с замком. Пол из лиственницы в пакгаузе был порушен, доски разбиты, выломаны, только Немой никак не мог подобным образом подкопаться под пакгаузом, земля промерзла в камень. Мысль, якобы это лют вышел с Дороги Мамонтов и похитил человека, даже не рассматривалась: за ночь ледовик не успел бы выморозиться и заморозиться заново; не говоря уже о том, что все в лагере отметили бы резкое снижение температуры, а половина вещей, хранящихся в пакгаузе растрескалась бы или иным, заметным способом пострадала. Тщательно обыскивали вторую, складскую часть пакгауза, в которую Немой мог свободно пройти. Никаких следов от него тоже не было обнаружено, была отмечена лишь та особенность, что полностью разрушены были некоторые ящики с запасами – в статье из "Иркутских Новостей" журналист проводил фантастические спекуляции, связанные с тем фактом, что это были ящики, обитые зимназом, хорошенко запаянные, а ведь у Немого не было никаких инструментов, чтобы резать зимназовые листы. Он что, силой воли их порвал?

..."Новости" поместили единственную фотографию, сделанную с Немого; у кого-то в лагере над Олекмой был старенький аппарат, используемый для геологической документации. На фотографии – нечеткой, крупнозернистой, но напечатанной, по крайней мере, на половине полосы – двое мужчин в тулупах с капюшонами и в мираже-стекольных очках придерживали с боков за локти довольно низкого, высохшего в скелет, практически голого человека. Что было довольно сложно подтвердить со всей уверенностью, равно как и сказать нечто конкретное о внешности этого несчастного: мужчины стояли на фоне белых ледовых склонов и заснеженной тайги, но на месте Аэростатного Немого на этой старой фотографии зияла черная дыра, там находилось пятно плотного отверта, а вместо черт лица Немого, вместо глаз, волос – в темноте отбрасывало всего лишь несколько черточек светени, словно созвездия на ночном небе.

...История эта добралась на байкальские берега весной 1919 года, статьи были написаны на основании сообщений из вторых, а то и третьих рук. Под самой обширной, помещенной в "Новостях" статьей подписался некий "АГГ". Инициалы записало.

Снова глянуло в перечень вопросов. Не на все можно было найти ответы в книжках, но – к примеру, чего, собственно, отец искал в орографических работах Богдановича? В архивах, выбитых господином Щекельниковым из ледового плена в конторе Горчиньского, не обнаружило никаких конкретных данных, которые могли бы помочь, из чего можно было бы рассчитать отцовские Дороги Мамонтов. До сих пор понятия не имело, что ему стукнуло в голову, чтобы выбраться в одиночное паломничество в Зиму – и куда, собственно, он отправился – и посредством какой чернофизической методики он заморозился в Батюшку Мороза.

Из сундуков научного отдела библиотекарь, уже более желающий помочь, притащил с десяток различных томов. Как довольно быстро догадалось, карты Дорог Мамонтов, составленные Сибирюхето, и вообще вся геология Сибири, в большей степени основывались на открытиях и трудах троих поляков: Александра Чекановского, Яна Черского и Кароля Богдановича. Чекановский (политический ссылочный) составил самую старую геологическую карту иркутского генерал-губернаторства, с особым учетом Прибайкальского Края; перед тем все работы основывались на таких древних и неточных картографиях, как записки Даниэля Готлиба Мессершмидта из экспедиции, высланной еще Петром Великим в 1723 году. И вот здесь первое изумление: карта Чекановского, вместе со всеми ее копиями, обработками и *et cetera*, была опечатана царской цензурой. Чекановский вел расследования над Тунгусской, Чукаланом. Его палеонтологические заметки включают первые исследования ископаемых мамонтов. В Усть-Белой на Ангаре он открыл гигантский подземный музей флоры и фауны юрского периода. В 1875 году за эту сделанную теперь тайной карту он получил золотую медаль на географической выставке в Париже, и Российское Географическое Общество добилось для него амнистии и завершения ссылки. Не прошло и года, как Чекановский по неизвестным причинам покончил с собой.

...У него был ученик, Ян Черский (тоже политический ссылочный, только моложе). Черский с самого начала специализировался в байкальской геологии. В Болонье ему признали награду за карту озера и окружающих его гор. Проверило: она была опечатана Раппакцим и Победоносцевым, все экземпляры исключены из публичного оборота. В чем тут дело?! Подавило ругательство. Черский проживал в Иркутске. От имени Сибирского отделения Российского Географического Общества он вел исследования на Нижней Тунгуске. Он заходил и дальше – на основании его карт Индигирки и Колымы были

открыты крупные месторождения угля, цинка, золота. Он же коллекционировал минералы и ископаемую фауну. Искало упоминаний о мамонтах. В долине Катунги он раскопал останки доисторических людей. В Петербургской Академии Наук несколько лет он вел работы по остеологии<sup>25</sup> млекопитающих четвертичного периода на основании коллекции из десятков тысячи костей, выкопанных в Сибири. Умер он в 1892 году, в ходе одной из экспедиций.

...Кароль Богданович был геологом по образованию, а не по ссылкой необходимости. Во время строительства Транссибирской Железной Дороги, он руководил одной из исследовательских партий, разыскивающих на трассе полезные ископаемые. В 1893-1894 годах он впервые работал на Байкале. Наверняка он составил какие-то карты; и наверняка в его распоряжении были карты Чекановского и Черского. Доступные в Библиотеке "Материалы по геологии и полезным ископаемым Иркутской губернии" их не включали. Спрошенный об этом библиотекарь разъяснил, что новейшие научные работы по данному вопросу, равно как и большая часть возобновлений старших публикаций по Сибири – это существенно подчищенные издания, старательно прочесанные людьми Раппацкого, а частенько – и самим Победоносцевым, от каких-либо сведений и знаний, способных навести читателя на коммерческие тайны Сибирхожето. Я-оно только покачало головой. С одной стороны – ведь не ходят они по частным домам, не цензурируют собраний всякого человека, интересующегося геологией Сибири. С другой стороны – это все учреждения, и к их действиям редко когда можно применить мерки обычной логики, чиновник выполняет распоряжения начальства не потому, что видит в них смысл, но поскольку это инструкции сверху. Адвокат Кужменецев наверняка выразил бы это более четко: не пытайтесь, молодой человек, догадываться о причинах решений царских учреждений, от этого только ума можно лишиться. Я-оно чесало кожу. Всегда имеются какие-то причины!

...Известие о приходе Льда застает Богдановича на Кавказе, во время поисков месторождений нефти. Прибыв на Байкал, он приступает к систематическим работам. Иркутск только-только пережил пожар, Зиму Лютов. С севера с сенсационными сообщениями возвращаются первые экспедиции, высленные к месту Столкновения. Богданович всегда находился в хороших отношениях с сибирскими народностями, в свое время писал знаменитые письма в защиту чукчей. А тут появляется еще и Александр Черский, сын Яна, ученик Бенедикта Дыбовского. Черский-младший и Богданович сотрудничают с 1911 по 1917 год, во всяком случае, именно тогда в их библиографиях появляются статьи, подписанные ними обоими. В 1914 году они публикуют "О холад-железной руде и возможности нахождения ледовых руд на Дорогах Мамонтов". Скорее всего, это первый раз, когда в научной работе появляются "Дороги Мамонтов"; более ранних цитат не обнаружено. Нигде это не говорится прямо, но похоже, именно Богданович был открывателем Дорог. Александр Черский практически в то же самое время издает "Бурятские Дневники". В собраниях Польской Библиотеки их нет. Догадывалось, как в какой-то морозный день 13 года произошла важная своими последствиями встреча Черского, Богдановича и бурятского шамана. Вполне возможно, идея родилась после чтения работ Черского-старшего о выкапываемых в Сибири мамонтах.

...Богданович и Черский печатаются все меньше, начиная с 1917 года, Богданович полностью замолкает – а ведь он все так же интенсивно работает, о чем можно прочитать в тогдашней иркутской прессе. Среди всего прочего, он отправляется к Последней Изотерме. Финансирует его Восточно-Сибирское Отделение Императорского Российского Географического Общества, то есть, *de facto*, Сибирхожето. Он погибает в Баргузинских Горах, в неудачной попытке взорвать соплициально с помощью взрывчатки в августе 1922 года. Официальное следствие заканчивается быстро: несчастный случай, но по тону тогдашних статей можно сделать вывод о сопровождающих следствие спорных версиях.

...В январе 1923 года издается приказ о поимке Александра Ивановича Черского. Перечень обвинений включает не слишком конкретно определенные политические преступления, кражу коммерческих секретов (Сибирхожето?) и принадлежность к запрещенной государством религиозной секте.

...В феврале 1923 года начинается вторая забастовка шаманов. Война на Дорогах Мамонтов усиливается. Засеки трупных мачт вокруг Города Льда становятся плотнее. А вскоре после того – вскоре после того Его Императорское Величество заключает контракт с Николой Теслой.

Я-оно потянулось на неудобном, скопиозно искривленном стуле. Под ногами стрельнул паркет. Не следует питать надежд, будто бы из этих обрывков Истории удастся прочитать какую-либо правду о прошлом. Понятное дело, что здесь ведутся политические и коммерческие сражения на самых высших уровнях, совершенно независимо от перипетий Филиппа Герославского. Мыслью вернулось к беседе со светловолосым чиновником Министерства Зимы. Нужно найти его и выпытать – чего, собственно, он ожидал от Сына Мороза? Ничего удивительного, что он передал ту копию принадлежащей Сибирхожето Карты Льда в такой тайне, раз сами они цензурируют даже частичные карты, уже прошедшие цензуру. А может, это не они? Может, это совершенно другая фракция? А может, именно только частичные, специальные карты – возможно, угроза исходит только из них? В конце концов, все зимназовые общества работают на собственных картах; ни Раппацкий, ни Победоносцев не могут наложить лапы на их архивы, концерны разместили свои собрания в Берлине, в Кенигсберге, в Вене, в Нью-Йорке, нанимают собственных геологов – как, к примеру, Филиппа Герославского.

Еще раз глянуло на хронологию начинаний Черского-младшего и Богдановича. Предполагая, что кто-то, находящийся на самом верху, желал от них избавиться... До каких же опасных знаний они дошли? Отец разыскивал карты Богдановича уже в 1918 году. Он догадался раньше, чем они сами? Ведь потом Черский и Богданович наверняка узнали про Батюшку Мороза. В 1921, 1922 году... Должны же были они, в конце концов, сложить два и два. Если...

Библиотекарь подал платок. Поблагодарило и перевязало левую ладонь, стерло капли крови со стола и кровь с ногтей правой руки. Тот укоризненно погрозил пальцем. Лишь бы не оставить пятен на книжках.

<sup>25</sup> Остеология (osteologia) — учение о костях. Данный раздел изучает скелет в целом, отдельные кости, костную ткань. Как раздел антропологии, изучает закономерности изменчивости скелета в зависимости от половых, расовых и возрастных особенностей и его морфологию. - Википедия

Если – если эта трансформация человека в лед-человека не является единственным, неповторимым чудом, которое случилось только с Филиппом Герославским (а разум не дает разрешения на чудеса), то должен существовать общий рецепт, определяющий условия, на которых и другие люди способны спуститься на Дороги Мамонтов.

Гипотеза: Богданович и Черский узнали этот рецепт.

Кому более важно удержать его в тайне?

Хммм, из игроков наивысшего класса мы можем выбирать, по сути, только из пяти человек: генерал-губернатор Шульц-Зимний и Александр Александрович Победоносцев здесь, в Иркутске; а еще – царь, Распутин и Раппакий на Большой Земле. Но Шульц желает как раз воспользоваться Отцом Морозом для переговоров с лютами. Шульца из этого числа следует вычеркнуть. Царь не стал бы прибегать к подобным, тайным методам. Война с лютами – да, но вот убивать геологов и осуществлять цензуру карт? Раппакий – о его мотивах известно мало чего. Распутин – что же, Распутин – это сумасшедший, но можно рискнуть утверждением, что он первый стал бы пропагандировать идею подобных самозамораживаний, и повел бы мартыновскую братию по пути Батюшки Мороза. Остается Победоносцев. У него имеются мотивы, имеются возможности, и он находится на месте. Сидит на вершине своей башни над Иркутском в облаке тьвыта и без каких-либо угрозений уничтожает все, что угрожает его Царству Льда...

Где находится Александр Черский? Прячется где-то перед охранкой, наверняка уже где-то на другом конце света. А сотрудники Богдановича и Черского? Они? Буряты? Неужто Победоносцев в состоянии провести цензуру всей сибирской этнографии?

После расспросов библиотекарь нашел несколько ценных старых изданий, среди всего прочего, *edition princeps<sup>26</sup>* "Дневника московского плена, городов и мест" Адама Каменского, первого, как он сам утверждал, польского описания Сибири. Взятый в российский плен в средине XVII века, Каменский был сослан в Якутию, где ознакомился с верованиями и обычаями сибирских народов. Несколько позднее появились записки Сенницкого, Ляха и Пиотровского. О бурятах и тунгусах пишет Юзеф Кобыльецкий в "Сообщениях о Сибири и путешествиях по ней, проведенных в 1831, 1832, 1833, 1834 годах". (все это сильные). Имеется, естественно, Мориц Август Женевский с "Историей путешествий и особых событий", а вдобавок – пожалуйста, "Анхелли" Словацикого. Похоже, половина работ о землях и народах Сибири вышла из-под пера поляков. Единственный имеющийся словарь якутского языка и культуры составил Эдуард Пекарский, очередной сильный. Последний том этого словаря, с указанием: "Санкт-Петербург, 1921", содержит обширный раздел, посвященный тунгуситовой войне, проводимой якутами с бурятами на Дорогах Мамонтов. На предпоследней странице книги, правда, заметило огромную печать цензурного управления Министерства Зимы. Проверено нумерацию страниц: не хватало восемнадцати листов. И тут вырезали! Причем, из книжки, уже напечатанной, изданной, проданной!

Библиотекарь посоветовал больше внимания уделить этнографическим романам Серошевского, в беллетристике можно протащить больше правды, искусство цензурирования выдумки – то есть, лжи – слишком тонко для чиновничих умов.

Вацлав Серошевский с успехом начал карьеру этнографа ("Двенадцать лет в краю якутов" получила золотую медаль Российского Географического Общества), чтобы затем все глубже войти в сферу литературы. Где, собственно, он тоже прекрасно справлялся. Его предпоследний роман, названный "Абаас мне сказал", описывал перипетии молодого польского ссыльного, который, обогатившись на торговле собольими шкурками, основывает вместе с охотником якутских кровей компанию, скучающую меха от туземцев по более высоким ценам, позволяющим несчастным местным жителям, по крайней мере, выйти из крайней нужды и построить нечто более солидное, чем войлочные юрты. Побочный эффект этого предприятия заключается в том, что – микроэкономика на практике – охотники отворачиваются от конкурентов, и наш герой богатеет еще сильнее, завоевывая при том огромное уважение среди местных. Когда же Лед бьет на Подкаменной Тунгуске, когда огонь уничтожает Иркутск, и когда начинается горячка тунгусита и зимаза, наш герой-добротель очутился в самой выгодной позиции, чтобы учредить громадный сорочий синдикат и выкачивать миллионы рублей от Сибирхожето. Но таким образом он быстро попадает в самое пекло войны, которую ведут шаманы бурятов, тунгусов и якутов за господство на Дорогах Мамонтов. Поначалу у него отбирают сны: его дух во время отдохна похищают и подвергают различным пыткам. Герой обращается за помощью к своему подельнику, который приводит старого якутского шамана, однорукого карлика с мечтой отомстить американским стальным промышленникам и прусским оружейным концернам. Этот же черт-волшебник поясняет нашему герою суть войны. Дело в том, что в человеке имеются две души: душа "кут", связанная с материальным миром, и душа "сур", связывающая тело с тем, что нематериально. В свою очередь, душа "кут" состоит из "ийе кут", вбитой в тело словно сучок в доску, "буор кут", кружящей вокруг тела будто пес на привязи, и "салгын кут", которая как раз во время сна выходит из тела и...

Только через какое-то время заметило, что кто-то привстал у стола и заглядывает через плечо в книгу. Глянуло вверх. Какой-то здоровяк с волосами цвета как у Иерхейма, то есть, морковно-рыжими. Под мышкой он держал брошюру "Об азиатском происхождении российского деспотизма" Маркса.

- Хороший?
- Простите?
- Хороший, спрашиваю? Роман Серошевского.
- Хммм, вы понимаете, я в нем, скорее, ищу точные данные, а не литературные достоинства...
- Так ведь читаете! – фыркнул тот. – Так как, хороший или нет?!

Узнало его: господин Левера, "наш местный графоман", несчастная жертва таланта Серошевского.

- Очень хорошая книга, - сказал я-оно, собирая свои заметки. – У человека талант от Бога.

<sup>26</sup> Первое издание

Тот покачал головой.

- Я тоже так думаю. – Он протянул лапу-лопату. – Теодор Левера. – Поднялось, пожало ему руку. – И какие сведения вы ищете?

Общими словами рассказало про заинтересованность ролью туземных верований в истории польских исследований геологии Сибири, а так же о случае Аэростатного Немого, который, в качестве самой по себе увлекательной загадки, мог заинтересовать всякого. Тем временем, расписалось у библиотекаря за взятые на дом книги, заплатило залог. При этом спросило у него адрес редакции "Иркутских Новостей".

- Я покажу вам, - предложил Левера.

Господин Щекельников сунул обвязанную шлагатом пачку книг под мышку и злобно зыркнул на писателя, что был выше его на полголовы. – Что опять? – буркнуло ему во время спуска по лестнице. – Слишком много рыжих возле вас крутиится. – А что вы имеете против рыжеволосых? – Их никто не любит, по причине такой ненависти вырастают слишком крутые сволочи. – А я же начал опасаться, что у вас и вправду какой-то повод имеется, чтобы подозревать господина Левера! – Нож я ведь не вынимал.

На санях он сел рядом с кучером. Когда Теодор Левера садился сзади, с левой стороны, Щекельников пару раз глянул на него через плечо.

Возница стрельнул бичом, лошади потащили сани в туман; упряжка оставляла за собой туннель, выбитый в радиально-цветной взвеси. Зимназовые крепления и перемороженные материалы, видимые на более высоких этажах, разбрасывали вокруг себя волокнистые ореолы, летучие после-видения светов, расщепленных на цвета и степени яркости – и то, еще до того, как надело мираже-стекольные очки. Выглядело это так, словно бы над Голодом Льда снова просыпалось Черное Сияние, хотя никакого действия тьвыта на пополуденном небе я-оно не замечало.

- И где же эта редакция?

- А вот, сюда по улице, пару кварталов...

- Благодарю вас.

- А пожалуйста, все равно я должен был к ним на неделе заскочить, выдавать давнюю оплату за статьи. – Левера поплотнее запахнулся в беличьи шкурки и глянул над мираже-очками. – Вы простите, я, конечно же, вас знаю, то есть, слышал, видел...

- У Виттеля.

- Ну да. Я такие вещи запоминаю, коллекционирую: лица, имена, слухи.

- Вы знали моего отца?

- Нет, не имел удовольствия. Не вращался в тех кругах. Знал бы, если бы... Он никогда не появлялся в кафе, салонах, в клубах.

- А про Александра Черского – про него вы слышали? Куда он мог сейчас подеваться?

Левера наморщил брови.

- Из того, что я слышал – слышал, будто бы вы работаете у Круппа. Но Черскому это не помогло. Тогда он стал работать у Тиссена, а через полгода – *преступник*.

- Министерство Зимы...

- Вы простите, но я и в самом деле не знаю кто, зачем, как и почему – но слежу за иркутской сценой уже больше добрых десятка лет и, по-видимому, определенные вещи способен предвидеть, глядя на саму форму процесса, даже не зная внутренних связей; точно так же, вы глядите сверху на пары, кружасшие в танце по паркету и по его движению способны легко сказать, что это за танец, даже если совершенно не видите шагов каждой отдельной ноги, ба, даже не слыша музыки.

- Вы хотите сказать, меня хотят втянуть в какую-нибудь политическую провокацию?

Левера жестом головы указал на квадратную спину Чингиза Щекельникова.

- А он кто? Явно, громоотвод. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Уж лучше примите к сердцу такой вот совет: сделайте, как можно быстрее, то, что должны сделать, и сойдите с их глаз, пока они не увидят в вас следующего Черского. Приехали сюда с фатером увидеться, так! Вот и все!

Я-оно разозлилось. Сколько можно человека пугать? Действительно ли все здесь именно такую правду о Бенедикте Герославском видят: жертва отцовской судьбы?

- И это вы советуете по доброте душевной, не рассчитывая совершенно на благодарность Сына Мороза, как все остальные, так? – ядовито заметило я-оно. – Будто бы торги какие-то магические с лютами заключу, а при этом, вспомнив доброжелательного графомана, так поверну Историю, чтобы нового Сенкевича из Теодора Леверы сотворить, а?

Последние слова вытолкнуло в мороз и в туман и сразу же перепугалось, что теперь-то уже он наверняка взорвется; он и взорвался – смехом.

- Несчастный королевич! Никто не видит маленького Бенедикта, все видят лишь сына великого отца. – Писатель даже вывернулся из-под шкур и лапой в перчатке хлопнул по спине, ухахтываясь; я-оно схватилось за поручень, чтобы не полететь вперед. Левера фыркнул тьвистым паром, туманоцветная белизна стекла на его шубу, а чернота меха подошла к глазам. – Как кто дружески настроен, так сразу же, бедняжка, подозреваешь интересы, скрытые в дружбе с Сыном Мороза; ежели кто враг – то враг по причине отца. – Он продолжал хохотать. – Может, уже ходил по забегаловкам, переодетый, *incognito*, с девушками под выдуманным именем знакомясь? А? Или еще до такого не дошло, а? Бедненький ты!

Он поправил шарф на лице, скрестил длинные руки на закрытой мехом груди.

- Впрочем – один только человек способен устоять перед фаустовым искушением: истинный художник. Творец!

Ого, подумало я-оно, зачем польстило граffоману. Сейчас вот как надуется, вздымется, наполнится пророческой серьезностью и начнет бурить душепрепятственные банальности.

- Ибо, вот подумайте, - продолжал господин Левера, - ну чего способен ему предложить дьявол?

- Ну, как раз успех, - буркнуло раздраженно, - удачливость, славу.

- Но что удача и слава имеют здесь общего с успехом? Разве в том дело, чтобы болваны возносили автора под небеса, а меценаты обсыпали его золотом за произведение, которое, как он сам лучше всех видит, никакой ценности не представляет? Ну да, такой успех дьявол способен продать творцу – вот только, какой творец отдаст свою душу за что-то такое, о чем сам будет знать, что это Ложь, дешевая подделка истинного успеха?

- Хмм, тогда пускай хвалят за произведение действительно великолепие – разве дьявол не способен продать чего-то такого?

- Может. Но чем это будет отличаться от обычнейшего plagiat? Автор возьмет кредиты за великолепие, не им созданное, разве только с той гарантией, что никто из смертных про такой обман не узнает. Сам же он все равно – творец – или, говоря точно, не творец – ведь он будет знать, что творец шедевра – не он. Так что же он купил? Вновь лишь обменял нематериальную душу на материальные ценности, обычные, и на тот гаденький привкус во рту: осознание Фальши.

- А разве не способен дьявол сделать так, чтобы человек сам написал тот истинный шедевр?

- Это что же должно означать – что должен сделать сатана? Зачаровать писателя, чтобы с его пера стекали слова, а он о них бы не знал?

- Нет. Просто...

- Ну?

- Сделать так, чтобы в нем по-настоящему – по-настоящему был тот шедевр.

- Значит, превратить человека, который не был способен его написать, в человека, который на это способен – заменить ему жизнь, память, опыт, характер – так? Вы думаете, будто бы кто-то попросит дьявола помочи в подобном самоубийстве: забери-ка этого вот несчастного, что стоит перед тобой, вместе с его душой, а на его место поставь иного, разве что с тем же лицом да именем – кто? Разве что только идиот.

- А что, вот так сразу нужно всего человека менять?

- А как же иначе? Если бы искусство было осколком случайности... так нет же, это плод порядка! Когда я пишу то, а не иное предложение, то не потому, что как раз у меня над головой муха пролетела, или я в носу поковырялся, но потому что оно следует из всех предшествующих предложений, а все они разом – из моих мыслей, им предшествующих, а те мысли – из всей моей жизни, которая к подобным мыслям привела. Всякое истинное произведение искусства является образом Истории – истории его творца, истории мира, который его породил. Подо Льдом нет художников-мазил, которых, как я слышал, на западе Европы полно, по картинам которых невозможно узнать, то ли разумный человек сознательно их написал, то ли полуслепой безумец, который впервые в жизни дорвался до кистей и красок. Нет здесь блаблалистов, абсурдистов и виршеплетов-задолюбов и балетмейстеров, Дионисом очарованных. Нет!

Редакция "Иркутских Новостей" пульсировала жизнью. Сегодняшний номер уже был отправлен в печать, но это ненамного уменьшило суetu и говор, царящие в комнатах и коридорах. Перепачканные тушью и чернилами редакторы, наборщики с краской на руках и одежде, курьеры с охапками гранок и свеженапечатанных газет, посыльные в тулуках и шапках-мираже-очкиках, в которых очки были непосредственно вшиты в толстую маску, заслонявшую лицо, даже в помещениях редакции их не снимающие, в настоящее время выбегающие снова на мороз; кроме того, какие-то женщины, их гоняющие, еще швейцар или привратник над головами орущий – могло показаться, что по тесным коридорам "Новостей" перекатываются истинные толпы. Подобный темп работы и скорость того пульса, с которым вибрирует жизнь между людьми, помнило по конторе *Friedrich Krupp Frierteisen AG*. Стучали пишущие машинки, хлопали двери, шелестели бумаги. Становилась понятной необходимость привлечения на работу огромной массы подростков в качестве курьеров, в связи с бесполезностью в Краю Людов телеграфа, телефона и радио. Тем не менее, в эту пору в редакции встретилось с такой их концентрацией, что прохождение от лестницы на другой конец этажа, к комнатам старших редакторов, заняло бы с четверть часа и стоило бы несколько мелких контузий – если бы не могучие тела господ Левера и Щекельникова, пробивающих дорогу. Одного недоростка, разогнавшегося с машинописью в руке, когда тот наскочил на писателя, великан цапнул за воротник и, подняв в воздух, переставил на аршин в бок и за себя; а там схватил дергающегося мальчишку господин Щекельников и тоже переместил грубо на расстояние вытянутой руки. Таким вот образом перемещалось через расположения иркутской прессы.

Господин Левера отлучился, чтобы устроить собственные дела. Я-оно постучало в двери кабинета редактора Григория Григорьевича Авксентьевича, которого рыжий литератор идентифицировал в качестве "АГГ", подписавшего под статьей об Аэростатном Немом. Постучало раз, другой и третий: безрезультатно. В принципе, так могло бы стучать и до Страшного Суда: с этой стороны редакционный шум, а в средине – сунул голову – пять мужиков режутся в карты на заваленном бумагами письменном столе, в тучах табачного дыма, сидя на пачках старых газет, солидарно попивая винцо из бутылки, и тут же гудит пара потасканных самоваров, пуская пар под запотевшее окошко, а красный попугай дерет горло в проволочной клетке под потолком. Показалось, будто бы Левера что-то напутал; подумало, что попало в комнату фирменных бездельников. Но, слово за словом – присаживайтесь, двери закройте, раздевайтесь и присаживайтесь, добрый человек – и оказалось, что это издатель, старший редактор, два начальника отделов и этот вот, лысый как колено, Григорий Григорьевич Авксентьев, золотое перо по сенсациям и скандалам, они после сдачи номера в печать предаются не слишком изысканным развлечениям. А газета – завтрашняя газета делается сама. Да что бы мы были за главные редакторы, если бы вообще на работу должны были приходить, чтобы газета в срок на печать пошла! Вот только, прежде всего – кто вас сюда впустил, а? – А так, прошел. – Для разогреву глотнете? – Благослови вас Господь, господа журналисты. – Ну, Миша, раздавай. А

вам – как вас зовут? – для лучшего разогрева партия зимухи ну никак не помешает. Так как? – А почем вход? – А по рубчику. – А давайте!

Играло. Поначалу и вправду шли ставки по рубчику, но уже в третьей партии в банке было пятнадцать рублей, и даже рука холодная была, как следует, без единой красной, огненной карточки – захапало почти сорок рублей. Редакторы вонить начали. – Ага, вон оно птичка какая! Общипать нас пришел! – Признайтесь-ка, это Вейхермайер его наслал. – А мы так опростоволосились. – Да что вы! – ужаснулось я-оно. – Вовсе даже неправда, совершенно случайно. Потому что ишу здесь Григория Григорьевича – (тем временем, тасовало карты для следующей раздачи) – по делу одной его старой статьи. – Да что вы говорите! – Статья! Статья! – отозвался попугай. Авксентьев угостил папирою. За время от торговли до проверки он припомнил всю аферу с Аэростатным Немым и что о нем писал пять с половиной лет назад. Глотнул винца, запил чаем, сунул в рот еловую конфетку. Ну да, говорили и писали об этом, неделю или две большая сенсация была, потом, естесно, кое-чего другое на ее место пришло – только чего собственно гаспадин узнать собрался? Что, снова тот дикарь нашелся? Или шведы какие только сейчас за ним приехали? Тут было бы смысл чего-нибудь накалякать! – Да нет, ничего подобного. Одна лишь мелочь из той статьи, может помните: чего такого было в тех ящиках, которые Немой в том пакгаузе над Олекмой попортил, и из которого чудесным образом сбежал? – Один Господь то знает, никак ни я! Но не будете ли вы так добры проверить это в каких-то своих старинных заметках, в тогдашних материалах, ведь должно же было быть там больше записано, не все ведь на полосы идет. – Гр.-ранки! – орала птица. – Гррранки! – Авксентьев только задумчиво посыпал конфету. – Ну что вам такого, пару шагов сделать, – настаивало я-оно, – сами же видите, целое состояние проигрываю вам. – Он пошел.

Играло. Карта приходила то получше, то похуже. Сняло шубу, расстегнуло сюртук, послабило воротничок и галстук. Один редактор выскочил на мгновение, чтобы занять наличности. Посчитало украдкой, а сколько живых денег осталось: тридцать рублей и мелочь, но это с учетом того, что было в игре, потому что в бумажнике один одинокий червонец. Хлопнуло его на столешницу – какой смысл одну бумажку в бумажнике держать? Пришла рука холодная, пришла рука горячая, снова холодная, спустилось до двадцати пяти. – Форртуна! – скрежетал попугай. – Форрртуна! – Вернулся Григорий Григорьевич, показал листок с собственноручными записями: в распоротых ящиках находились запасы тьвечек. – Но каких: на тунгестите или ледовом угле? – Знаю только то, что стоит здесь, вот. – Спасибо. – И неудобно же отказаться прямо сейчас и удрачить, весьма неудобно выглядело бы, Авксентьев так старался помочь – нужно играть. Играло. Уже не поднимало глаз на редакторов, взгляд нацелен только на карты. Господин издатель начал бучу, будто бы мои карты краплены кровью; натянуло на расчесанную руку перчатку. Откуда-то появилась новая колода. От последней раздачи достались одни фигуры Лета; рука тут же бросила на кучку два рубля. – Пррравда! Пррравда! – Вздрогнуло. Часы – зыркнуло на них – сколько дадут за такие новенькие, посеребренные часы – глянуло, который час. Теслектрический ток шел под кожей ревущей струей – одно даже прикосновение к холодному металлу выворачивает мысли, ломает все ассоциации. В Министерстве Зимы ждут, на столе остатки сбережений, нужно объявить "пас", сказать, что уже поздно и выйти, это настолько очевидно, настолько разумно и правильно – я-оно уже видит, слышит, как в ответ они бормочут слова прощения... – Господа, прошу прощения, засиделся, а тут еще дела. – Подхватило последние деньги, шубу, шарф, шапку и выскочило в коридор.

Господин Щекельников читал свежие "Новости" только-только из типографии. – Пишут тут, что католикам святая исповедь помогает с кишками. Что скажете на это, господин Ге? – А я и не знал, что вы читать умеете. – Кто слишком много читает, по-дураски людям верить начинает, может, замечали? – А где господин Левера? – Побил какого-то бухгалтера пишущей машинкой, и его спустили с лестницы. Идем? – Идем, идем. – Вздохнуло свободнее. – Все эти бумагомараки, господин Щекельников, одна сплошная бандя кровопийц. – Вы говорите!

В здании Таможенной Палаты снова День Энтропии, поскольку издавна уже заказанные бригады каменщиков наконец-то принялись спасать домину, будут новые опоры под потолки класть, стены выпрямлять и штукатурку освежать. По этой причине части чиновников пришлось покинуть свои кабинеты. Но – дело оказалось хуже: когда боковыми дверями быстренько пробежало мимо шембуховского Михаила, чтобы найти того худого блондинчика в его кабинете, оказалось, что это вообще ничейный кабинет. А кто им все это время пользовался? Ну, видите, наверное, тогда ремонт в другом месте шел, и оттуда сюда кто-то перебрался на неделю-две. Так, может, хоть скажете, кто это был такой – и описало, как можно лучше, вплоть до наполеоновского локона на лбу. И чиновник, должно быть, не последний! Спрошенный конторщик поднял глаза к потолку, скривился, почесал себя под подбородком, дернул за ус... После откачки тьмечи, я-оно только после добрых нескольких минут подобного театра поняло совершенно очевидные интенции и вынуло бумажник. Чиновник перестал изображать полную потерю памяти лишь тогда, когда увидел рублей где-то шесть. – Если меня не обманывает память, – запел он, – это комиссар Урьяш. – И где я его могу найти? – А об этом спрашивайте уже в администрации.

Отправилось в Администрацию. Пять рублей. – Комиссар Франц Маркович Урьяш? Правильно. Вот у нас тут бумаги подшиты: в первую неделю октября вернулся на должность в Канцелярии Генерал-Губернаторства. – И где мне его там искать? – В Цитадели, ваша милость, в Цитадели. – А гляньте-ка в бумаги, может у вас там имеется его иркутский адрес. – Хотите узнать приватный адрес высокопоставленного губернаторского чиновника? – приподнял бровь канцелярист. – Сколько? – со вздохом спросило я-оно. Тот показал. Пришлось спасовать, в противном случае не осталось бы денег даже на проезды Мармеладницей на работу.

Потащилось назад в секретариат Шамбуха, обходя кучи мусора на полу и тучи штукатурки, летящие из разбивающихся стен. Никто здесь посетителю за бесплатно ни в чем не поможет, такова культура государства и человека, и это видно даже в столь мелких делах, впрочем, а в каких надо? – простолюдин с небольшими средствами только с ними дело и имеет, не с государственными же вопросами, не с проблемами войны и престола. Именно по этому мы и измеряем, и отличаем

Государство от Государства: по мине человека на входе в учреждение, по изгибу спины и наклону шеи, по напряженности взглядов между просителем и бюрократом.

Уселись под криво висящим портретом министра Раппакского.

- А может вы мне подпишете, и я пойду, а? – обратилось к Михаилу.

Татарин возмутился.

- Порядок должен быть! Ожидайте!

- Тогда скажите хотя бы, не слышали ли вы, хоть что-то в моем деле сдвинулось? А? Долго еще комиссар Шембух собирается держать меня тут на привязи?

Секретарь скрчил изумленную мину.

- Да откуда же мне знать, что там начальство думает, или даже не думает! – Через какое-то время он смилиствился. – А вы хорошенько ходите со своим вопросом? Где уже были?

Я-оно не слишком-то хорошо знало, а где следовало быть. У графа Шульца? У Победоносцева? Спросило про Губернаторскую Канцелярию. О, это учреждение важнее, не просто контора – Главное Управление Восточной Сибири охватывало своей властью енисейскую губернию, якутскую и забайкальскую области; сейчас она работает под вывеской Канцелярии Иркутского Генерал-Губернаторства, но уважение не меньшее.

- Говорят, что все от политического решения зависит, – сказал я-оно. – Выходит, выше головы Шембуха.

- Так чего вы тогда вообще хотите? – изумился татарин, даже глазки его округлились. – Будет слово сверху, и печать приставят. Нет тут слов – ждите.

Что ж поделать, ожидало. Зашел проситель, второй, третий, четвертый; одного Шембух даже принял. В коридоре каменщики били стенку, этот неритмичный стук иногда даже заглушал довольно близкие барабаны глашатаев. Заметило одного лята на улице ниже, за зданием Восточно-Сибирского Отделения Императорского Российского Географического Общества.

Эти вечные ремонты, подпорки, клинья, поспешно устанавливаемые колонны, непрерывное состояние наполовину-переезда... Как будто бы выталкиваемая Льдом энтропия находила выход исключительно на уровне бюрократического бардака. А может, так оно и идет, от атомных структур и ввысь: скорее замерзает груда металла, чем человек, человек скорее, чем Государство.

И что с того, раз и так человек никак не способен мериться с державным могуществом? Чем дольше сидело здесь, тем сильнее чувствовало себя мелочевкой, забытой в конторской бездне, несчастным червяком под подошвой Молоха. Со временем даже пугливый Михаил с физиономией добродушного старичка начинал казаться воплощением зла. А если бы это было учреждение Лета, во всей полноте своего чиновниччьего потенциала, не разболтанное ледовой угрозой! Так что там, в предбаннике кабинета Шембуха выродился новый ужасающий образ: системы кишок Империи, ее самых жизненных внутренностей, в которых пищеварительные соки и пережеванная пища, и сама горячая кровь путешествуют от одного города к другому, от губернаторства – к губернаторству, от власти – к власти – система опутывает Азию от Владивостока до Урала, и Европу вместе с Варшавой – конторы, канцелярии, бухгалтерии, представительства и департаменты, отделы и комиссариаты, реестры и архивы, управления и учреждения – это ее органы; бумаги, печать, чиновник входят в министерскую жилу в Иркутске, а выходят – в Санкт-Петербурге; входят в Санкт-Петербурге – а выходят в Одессе – и все это кружит, переваривается, управляет.

Неужто и вправду, как того желают доктор Конешин и пан Поченгло, человек до конца времен зависит от Государства? Неужто нет спасения? О, если бы могли существовать невинные порядки и правление сомнений? Неужто Herr Блютфильд был таким глупым утопистом? Какая свобода может существовать между анархией без будущего и приемной комиссары Шембуха?

Сунуло руки в карманы пальто, чтобы сдержать нездоровые инстинкты. На потолке над письменным столом Михаила начинается резкая черта, длинная трещина, идущая наискось по всему секретариату. Нужно сбежать мыслями из театра ужаса. Самый верный путь: запрячь ум логической задачей.

Трещина, итак, трещина... Хмм, а каким, собственно, образом лют перемораживается сквозь стену? Как твердое тело проходит сквозь твердое тело так, что все здания продолжают стоять, что тротуары, из-под которых появились ледовики, не распадаются в гравий и песок? Ведь лют не напирает ледовой массой словно тараном – тогда он превращал бы на своем пути все в развалины. Он перемораживается. Ба, а принадлежит ли вообще этот ледовый панцирь "телу" лята?

...Кровь лятов протекает сквозь все, в близкой к абсолютному нулю температуре перемещаясь таинственными способами гелия сквозь землю, камень и стену, словно вода сквозь сито, только делает это вопреки притяжению, вопреки бело-физическим законам – молекулярная материя, оживленная Морозом. А кроме гелия – что еще? Ну да, градиент температур. Его тоже не остановишь никаким материальным барьером. Выходит, что лед, это всего лишь последствие входа лята в земную среду, чуждую его физиологии: вокруг лята сжижается и замерзает воздух.

...Как это осуществляется: протекают струйки гелия, перемещается Мороз, ледовая масса прирастает с одной стороны, тает и испаряется с другой. Разве не такую модель строят физики *Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft fur schwarze Physik* на основании исследований доктора Вольфке и его людей? Ведь уже вписывало в рапорты резюме десятков опытов, которые должны были поддержать или опровергнуть подобные гипотезы. Будто бы мы не видим лятов как таковых – мы видим их исключительно "плененных" в формах, навязанных различиями в среде.

...А эти трещины, натеки, щели, отклонения от вертикали, а иногда – абсолютные развалины, как в Дырявом Дворце – все это результаты многократных перемораживаний лятов с "загрязнениями", замкнутыми в их льде: зернами песка, камешками, жилами ледовых субстанций с более высокой температурой плавления и даже с фрагментами раскрошенных гробов, как рассказывал господин Гаврон. Они остаются в стенах и на потолках словно чаинки на ситечке. Отсюда можно

сделать вывод, что лют, только что выморозившийся из-под земли, представляет большую опасность для человеческой архитектуры, чем лют, спускающийся по сосулькам с поднебесных высот; люты более легки при сухой погоде, чем во время осадков; они более чисты в деревнях, чем в промышленных городах.

...А раз уже, перемораживаясь, они оставляют следы в материи, то по этим следам на микроскопическом уровне можно точно установить всю его подземную трассу. Если бы располагало соответствующим оборудованием и средствами для столь крупных геологических работ, таким образом можно было бы составить полнейшую карту Дорог Мамонтов...

Треснула дверь, гневно вскрикнул чиновник, очнулось.

- Но он, вообще, хоть знает, что я здесь сижу и жду?

- Знает, знает, нет такой возможности, чтобы не знал.

- Мне приходится освобождаться с работы, чтобы понапрасну сидеть у него под дверью часами, деньги теряя, или вы мне их вернете, а?

- Не говорите о деньгах, это я вам по-хорошему советую, о деньгах не говорите.

Открыло крышку часов.

- У меня договоренность, не могу я так, до темноты...

- Присутственные часы! – поднял палец Михаил. – Учреждение это вам не бордель, клиент – не хозяин!

Время было около четырех.

- Дайте, хотя бы, бумагу, ручку и чернила.

Подложило на коленях твердую картонку. Михаил вновь склонился над своей работой. Чиновник-червяк, клиент-червяк, все живущие в одной туще, одну тушу пытающие.

Рабочие били стену так, что даже портрет Его Императорского Величества Николая Второго Александровича подскакивал на стене. Над Собором Христа Спасителя за окном висело светящееся облако, туманная шапка на тунгитовых куполах, сейчас туманно-цветных. Видимо, что-то грозное бормотало себе под нос, какие-то непристойности, что Михаил даже раз и два покосился над своей чернильницей и печатью. *Государство и не государство! Власть и не власть! Свобода и не свобода!*

Черт подери, как все это разрешить? Как рассечь сатанинский узел?

Поправив повязку на ладони, мокнуло стальное перышко в чернильницу.

### **Аполитея, или рассуждения о Государстве Небытия**

*Каким образом то, что не существует, может управлять тем, что существует?*

Задаю себе этот вопрос, предмет правления, облеченного в материю, поглощенный видимым, материальным Государством, существующим посредством сотен тысяч функционеров.

Чем же является Государство? Государство является структурой власти народов, посредством которой одни люди управляют другими людьми. Причем, правящих немного, а управляемых – множество, так что в образном представлении структура имеет форму пирамиды или перевернутого дерева..

Эта структура всегда выглядит одинаково, возвращающая только пред Богом, как Российская Империя, или всеобщую демократию, как Соединенные Штаты Америки. Всегда в этой структуре мы находимся зависимыми от воли лица, расположенного в этой структуре выше, за исключением того случая, когда вы сами являетесь императором или президентом.

Дело в том, что государство уже по своему определению представляет собой систему затруднений, неволи и подчинения одного человека другому. А если кто-то скажет, что различия здесь определяются один раз в несколько лет объявляемой при демократии волей избирателей, то отвечу на это, что для структуры это никакой разницы не представляет: дело не в том, кто правит, но то, что правит.

Польское государство не существует уже полтора века – три других государства связали нас в собственных структурах власти. Мало того, что мы терпим давление, так это еще и давление со стороны иной культуры, чуждой нам духовно и морально. Говорят, будто бы мы утратили Государство именно по причине склонничества и анархических обычаев давней шляхты. Лично я предпочитаю видеть в том, скорее, проявление той польской черты, которую считаю даже положительной: проявления стремлений именно к освобождению человека от Государства. Воистину, сложно указать народ, столь охваченный подобной идеей.

Как же можно освободиться от Государства? Дверей к этому не открывает ни демократия (о чем было сказано выше), ни анархия. Почему же не анархия, ведь Михаил Александрович Бакунин выдвигает весьма подобные постулаты. Да по той причине, что не достаточно выпустить славную утопию, нужно ее еще в реальной жизни запустить и защитить. В том, каким он есть, мире, обществу, лишенное прав собственности на землю, на которой могло бы спокойно жить, и не имеющее армии, сильного настолько, чтобы защититься на этой земле от соседей, тут же падет под напором соседских армий вместе со всеми своими анархическими идеями, причем, оно силой будет внедрено в структуры тех чужих Государств. Поэтому-то решения не приносят и всяческие социализмы, несмотря на то, что хорошо в намерениях конструкции великого социалистического Государства описанное – ведь такое Государство невозможно даже в идеальной марксистской форме, пока на земле

останется хотя бы одно не социалистическое Государство, против которого группы личностей абсолютно свободных, освобожденных от гнета и фальши, должны будут, желая того или не желая, заново организовываться в классы, слои и касты.

*Вот в чем задача: как защитить людей и землю перед Государствами, самому Государства не творя?*

Роль государственных структур и исполнителей власти должно было бы выполнять здесь Не-Государство, Несуществующее Государство. Без чиновников, комиссаров, сборщиков налогов, по-лицмейстеров и министров, без советников и судей. Решения всего общества, политические выборы, хозяйствственные реформы, внутренние законы здесь принимались бы не потому, что их навязало то или иное правительство, так или иначе выбранное, сильное тем или иным принуждением – но потому что они не могли бы быть не принятыми. В царстве природы нет Государства: гусеница превращается в бабочку не потому, что король или парламент насекомых ратифицировал ее преображение, но поскольку оно является решением естественным, необходимым и единственно возможным.

По мере того, как весь мир покрывается Льдом, закрывается щель между тем, что возможно, и тем, что необходимо. Чем сильнее и больше Мороз, тем меньшей становится роль чиновников и всяческих исполнителей власти. В конце концов, сам царь в Зимнем Дворце поймет, что стал совершенно лишним, ибо уже не издает никаких приказов, которых мог бы не издать, и ни по какому из вопросов нет свободы выбора между двумя возможностями: одна всегда хорошая, правильная, а вторая – всегда плохая, и он видит заранее определенное добро и зло, тем самым, приказывая лишь то, что является необходимым (даже если от всей души жаждет этой необходимости). Правит не царь – правит понятие, не существующее в материи; необходимость, неизбежность, следовательно – Правда.

Государство исчезает перед лицом необходимости, Государство является земным заместителем единоправды, и оно не имеет причин бытия во Льду.

Будущим сего мира является аполитея, в которой человек не зависит от воли другого человека, но уже непосредственно от Истории, и то, что не существует, правит существующим.

Пятьдесят три минуты пятого. Сложило рукопись в восьмушку и спрятало ее в кармане сюртука. Схватив со стола Михаила бумагу, подготовленную под печать, продлевавшую право пребывания в иркутском генерал-губернаторстве, постучало в двери кабинета комиссара, причем, вошло сразу же, не ожидая разрешения.

- Чего?! – рявкнул Шембух.
- Того! – замахало бумагой.
- Ерославский! Вон!
- Приложить печаты!
- Ерославский!!! Паши!!!
- Печаты!
- Ладно! И вон, вон, вон!!!

Отступило в секретариат, вежливо прикрыло за собой дверь.

- Слышал?

Михаил осторожно приложил огромную печать, подтвердил подпись.

- Бог вас накажет, - шепнул он, чуть ли не со слезами в глазах.

Сбегая по лестнице представительства Зимы и Таможенной Палаты, разминаясь с дюжинами таких же спешащих на выход чиновников, практически затерявшихся в толпе служивых, про себя признало правоту Михаила: это было нечто вроде святотатства.

Поезд панны Елены Микляновичувны отходил с Вокзала Муравьева ровно в шесть. Жандармы, в сопровождении казаков, проверяли билеты, не впуская на перрон никого, кроме самих отправляющихся; так что копеечные перронные билеты никого не волновали. И вообще, я-оно отметило намного больше людей с оружием, чем помнило по предыдущим посещениям Вокзала. Из помещения перед кассами, рядом с грубо намалеванным изображением мамонта, время от времени высакивал осеняющий себя крестом несчастный; ежеминутно жандармы затачивали туда очередную жертву, сдирая с не по дороге шарф и мираже-стекла. Расставившиеся под противоположной стенкой продавцы иркутских особых товаров и сувениров приглядывались ко всему этому с мрачными минами, призываю людей с меньшим, чем обыкновенно, рвением. Неужто Шульц задумал какую-то новую репрессию? Или полиция получила данные про японцев или там коммунистов-ленинцев, либо про каких-то других террористов? Господин Щекельников, посвистывая под носом, откровенно плялся на радужную архитектуру крыши. А, все суета...

Поскольку на перрон, тем более – в вагон, прощавшиеся с панной Еленой войти не могли, все задержались в большом зале. Когда я-оно подошло, панна Микляновичувна как раз обменивалась тихими словами, стоя наедине с паном Поченгло. *Mademoiselle* Филипов, не слишком-то прилично опершись о стенку под мамонтом, присматривалась к ним с не-приступной миной; она сняла мираже-стекольные очочки, машинально игралась ними, поэтому видело ее глаза и наморщенный лобик. Дыхание девушки исходило через шарф маленькими облачками.

Поспешно поздоровалось.

- Уфф, уже боялся, что не успею, чертова бюрократия, *pardon pour le mot*<sup>27</sup>. Никола не пришел? Видимо, забыл. А где пани Урсула?

- Сидит с вещами в купе. Вы с ней в последнее время говорили?
- Ммм, как-то не припомню...
- С Еленой!
- Но в чем тут дело?

*Mademoiselle* Кристина глянула очень внимательно, долго удерживая взгляд серьезный, неподвижный, не мигая; так умеют глядеть дети, а еще молодые женщины в том состоянии изумления-пуглиости-разочарования, когда глаза их делаются большими и круглыми, и губка дрожит, и быстро пульсирует жилка на шее.

- Да как ж можно так играть чьим-то сердцем! – выбросила она из себя. – Одни чудища тут собрались. Один другого стоит!

- Да что...
- Что?! Ведь – зачем она вообще туда едет? Смертельно больная! А вы!... – Лишь вздохнула тяжко и снова надела мираже-очки. – Это вы так подговорились, что ли?
- Кристинка, да Боже ж ты мой, о чём это ты...
- Лучше со мной и не спорьте! – топнула та. – Елена мне рассказывала, как вы ею между собой распорядились – словно... пакетом акций!
- Так ведь... Пан Порфирий... Разве она...

Я-оно ничего не понимало.

*Mademoiselle* Филиппов схватила за плечо и притянула к себе, под стену с мамонтом, приподнимаясь на цепочки, своей меховой шапкой сталкиваясь с моей.

- Сейчас я похищу господина Поченгло, дам вам время, вы с ней поговорите.

На размышления она не оставила ни секунды, сразу же подскочила к парочке, взяла Поченгло под локоть и отбуксировала того, беспомощно оглядывающегося, к раскладкам инородческих товаров. Панна Елена провела их изумленным взглядом – она тоже сняла очки.

Сняло и свои. Поклонилось.

- Пан Бенедикт!
- Панна Елена!

Та же самая улыбка, эту улыбку знало еще по Транссибирскому Экспрессу.

Девушка покачала головой, сплела руки под грудью.

- И что теперь?
- Так. – Поправило перчатки. – Теперь уже и вправду конец нашего путешествия.

Она позволяла молчанию протекать в несколько секундных каплях.

- Он беспокоится обо мне, – произнесла Елена после долгого молчания. – Напрасно.
- Ммм, все-таки, опасность возможна. А вдруг Пилсудскому снова взбредет в голову взорвать Зимнюю Северную?
- Не станет же он взрывать поезд с невинными гражданскими.

- Правда, подо Льдом меньше шансов на случайность, полностью извращающую стратегические планы, – буркнуло я-оно. – Но как вспомню, сколько раз в Транссибирском Экспрессе я избегал смерти буквально на волосок, мельчайший случай, стеченье обстоятельств, секунда туда, секунда сюда – и я бы не жил. Вы, впрочем, тоже.

Елена вернулась взглядом от пана Поченгло и *mademoiselle* Филиппов.

- Так вы это именно так помните? – удивилась она. – Как случайности?
- А вы – как?

Она замялась.

- Ну, ведь вы сами говорили, что никакой правды о прошлом не существует...

Я-оно подняло бровь.

- Говорил?
- Вы говорили?

- Разве мы вообще ехали вместе Транссибирским Экспрессом?

Легкая, насмешливая улыбка задрожала на губах панны Елены.

- Ехали?

- И было покушение с бомбой?

- Было?

- И были убийства, и следствие, и тайные агенты, и битва под лютом...

- Были?

- Откуда это я панну знаю?

- Откуда вы меня знаете?

Вздохнуло.

- Понимаете, ведь если мы согласуем те воспоминания, они так уже и замерзнут.

<sup>27</sup> Простите на слове (франц.)

- Так что будет лучше не согласовывать. – В испарении дыхания она высвободила длинную тень. – Не говорите мне того, что помните. – Елена шельмовски подмигнула. – Пускай так оно и останется – растопленное, наполовину правдивое. Хорошо?

Только тогда поняло. Даже не эта тень и не ответ, пляшущий за панной Еленой подсказали – но блеск в ее глазах, и поднятая выше голова, задорная поза девушки, как в тот самый момент, в воспоминании-иконе, когда она протянула выпрямленную руку и, наполовину повернувшись к темноте за окном *аттедения*, приказала погасить свет, мошенница-убийца.

- Вы были в "Аркадии", чтобы откачать тьмечь.

Елена не ответила.

- Вот почему Кристина так нервничает! – Неуверенно засмеялось. – Тоже мне, трагедию делает!

- Я хотела попробовать в последний раз. – Опустила глаза. – Прежде, чем замерзну навсегда.

- Действительно, нужно было сказать мне. Или доктору Тесле, наверняка ведь не пожалел бы для вас какого-нибудь маленького ручного насоса, тетя ничего бы и не знала.

- Таак.

Что-то здесь не сходится, скрытый параметр искачет уравнение, правая сторона характера не суммируется с левой...

И снова, откровение приходит не вовремя: не как завершение логических размышлений, но через неожиданную ассоциацию со словами *tijlheeg* Иерхейма. Говорят, что подо Льдом останавливаются и болезни. Только никто еще не излечил болезни, приобретенной ранее. Я сам думал ехать в тот санаторий, на севере...

- Это значит... - запнулось я-ono, ударенное этим знанием, словно шальной пулей. – Панна Елена – я, конечно же – о, Господи, ведь я не то имел в виду – неужто Кристина считает, будто бы вы хотите покончить с собой?!

Та пожала плечами.

- Ведь это же малые порции, не так ли? Человек сразу же опять замерзает. Насколько болезнь может продвинуться, на день, на два?

Стукнуло себя кулаком по лбу.

- Дурак, дурак, дурак! Совершенно не подумал! Вы должны мне поверить!

- Но... пан Бенедикт, да не о чём и говорить.

Заткнулось словом.

Панна Елена вздохнула глубже, поправила шаль на шубе из беличьего меха.

- И что вы теперь сделаете?

- Вы же знаете, - мрачно ответило я-ono. – Отца нужно спасать.

- А что вы сделаете со своей жизнью?

- Да кто же может самого себя запланировать?

- Но – если бы не это дело с вашим фатером, что бы вы делали?

- Ба! Наверняка бы снова вымаливал у варшавских евреев еще один рубль.

Елена покачала головой.

- Так нельзя, пан Бенедикт, нет, нет, нет.

- Так не каждый же у нас Невозможная Фелитка Каучук! – сделано засмеялось я-ono. – Что же... Все это и так – одна большая времянка. Угол мне предоставил добрый человек, хотя, тоже видно, на благодарность Сына Мороза рассчитывающий. Работу нашел, словно рубль на улице нашел. Жду политического решения, каждый день может поступить приказ, туда или сюда. Даже вы... - Тут я-ono разозлилось. – Все ведь не так, что вот подумаю: хочу того-то и того-то – и весь мир раскрывается передо мною, словно яйцо на тарелочке! Я пытаюсь – пытаюсь держаться правды – но...

Совершенно не осознавало, что размахивает руками, пока Елена не схватила одну и не задержала ее в воздухе.

- Оставьте наконец эти машины доктора Теслы, – произнесла она тихо и решительно.

Чувствовало пламень стыда, перетекающий с груди на шею и лицо, отвело глаза.

Девушка подошла на четверть шага ближе.

- Когда мы снова увидимся? – шептала. – Наверное, уже никогда. Это прощание, пан Бенедикт, настоящее прощение. Не "до свидания, до завтра", но – последние слова, последний образ, последнее прикосновение. – Она сжала пальцы еще сильнее. – Понимаете? Такую вот Елену Микляновичувну вы оставите в себе до конца дней своих, кххх, и с таким вот Бенедиктом Герославским до смерти останусь я. Все, что когда-либо мы могли себе сказать, все, что могли бы один для другого сделать, все не свершившееся будущее – сведено к этому моменту, к этим нескольким минутам. Для вас – я уеду, и как будто умру, даже если и не умру; конец, закрыто, случилось и пропало в прошлом, не существует, не вернется – следовательно – вы это видите? – нет уже ни малейшего повода для стыда. Это прощание, перед чем здесь стыдиться у конца времен? Никаких последствий не будет. И все можно.

- Все можно.

- Да.

Неуклюже сбросило рукавицу со второй руки. Мороз впился в кожу. Подняло ладонь к лицу панны Елены. Прежде, чем пальцы успели сложиться в каком-либо жесте, Елена уже повернулась, склонила головку и легенько втиснулась в эту открытую, холодную ладонь – щечка открытая, уже замороженная алым румянцем, и влажная от ее дыхания шаль.

Елена отпустила мою руку. Взгляда не отводило, но стереометрия души сама уже подгоняла мгновение к единоправде; ни глядя, ни мигая, отвело голову в сторону, укладывая ее на худеньких, ужасно холодных пальчиках панны Елены. Та сунула большой палец под шарф, провела вдоль уса, нажала на губы, раскрыло зубы, так она добралась до языка, ды-

хания, слюны, до источника тепла в тьвистых выдоах, исходящих из тела. Повторило ее движение – девушка открыла рот, ухватила холодный большой палец зубками.

И теперь – в путах симметричной стереометрии влюбленных – вошло с Еленой в некий вид резонанса, туго настроенного на взглядах, телах, дыханиях, на тепле и тьмечи, протекающими между телами. Вокзал Муравьева, пассажиры, лоточники, носильщики, жандармы и казаки – все, исключенное из этого резонанса, выпало за границы сознания – все это были вещи и движения настолько отдаленные и абсолютно лишенные значения, как и перемещения созвездий на небе.

Ибо тут – один пульс отвечал на другой пульс, глаз – на глаз, подкожный нерв – на нерв, светень – на светень, не высказанная мысль – на мысль, язык – на язык, тепло – на тепло. И действительно, казалось, что именно таким вот образом – то есть, без слов – я-оно рассказывает девушке все вещи, о которых невозможно рассказать, и именно таким вот образом – в этом резонансе молчания – девушка, выкачивавшая из себя тьмечь, высказывает в условиях Льда все, что не высказали все возможные и не свершившиеся Елены Микляновичувны, и все их страхи, стыдливости и желания – наполовину правдивые, наполовину нет – и все вероятные, и такие же бесконечные варианты их прошлого, среди которых находится и детство болезненной Еленки из хорошего дома, и мошенническая молодость наглой дочки дубильщика, и миллион других историй, столь же хорошо соответствующих единоправде настоящего момента; все возможные, но пока что еще неправдивые варианты будущего, среди которых находится и такой, в котором панна Елена быстро умирает от возобновившейся чахотки, но и такой, в котором она выходит замуж за Порфирия Поченгло, и такой, в котором Елену осуждают на смерть за чудовищное убийство, а еще такой, в котором...

- ...попрощаться!

Лопнуло.

Стиснув веки, развернулось на месте и решительным шагом отошло от панны Елены, не слыша криков Поченгло, не оглядываясь, пока не вышло на ступени перед вокзалом; лишь тогда выпустило сдерживаемое дыхание. Конец, распрошалось, закрыто. Замерзло. Слизало с большого пальца кровь, в последний раз испытывая вкус Елены. Натянуло рукавицы, надело мираже-очки. На площади и в вылетах улиц стоял грязно-цветный туман, словно меловые утесы, в которых проезжающие упряжки выбивают темные штолни с очертаниями оленей и саней. Радуги мираже-стекольных фонарей блевотиной стекали на фасады более высоких домов. Болезненно-облачное небо сгустилось над Городом Льда в похлебку цвета грязи. На ее фоне темнота вокруг подобной скелету башни Сибирхожето нарастала словно язва, гнездо гнили. Красноцветные сосульки свисали с трупов на высоченных мачтах. На термометрических часах стрелки остановились на минус сорока восьми градусах Цельсия, на хронометре рядом – на без десяти шесть. Нужно садиться, уезжать. Замерзло, замерзло, замерзло.

- Кличьте сани, господин Щекельников.

- Может, подождете ту, вторую синичку.

- Кличьте, кххрр, сани!

Он похлопал по спине.

- Одну полюбил, господин Ге, спасения уже нет: полюбите другую. Оно как с водкой. Или с мокрой работой. Первый разок, и пропало: остается дыра в сердце. – И в доказательство грохнул лапищей квадратной в грудь. – И выходит, господин Ге, выходит, голод.

Кашлянуло со смешком.

- У вас жена есть?

Тот покачал башкой-кирпичиной.

- Жена – не жена, женщина она. Мужик без бабы быстро дуреет. А баба без мужика – дьявольская тоска.

Видать, даже Чингиза Щекельникова не обошла необходимость в любви Края Лютов. Страшно даже подумать, по каким ухабам мечется характер такого вот Щекельникова в Лете.

Пан Порфирий, кивнув издалека, уехал на своих санях. Немым жестом пригласило *mademoiselle* Филиппов. Вообще-то, "Новая Аркадия" совсем в стороне от Цветистой, с другой стороны, если ехать на другой конец города – то один черт.

Какое-то мгновение считало, что Кристина, все еще обиженная, откажет; но нет.

- Неразумно все это было с моей стороны, – сказало я-оно, как только сани тронулись. – Признаю вашу правоту. Не нужно было мне.

Она не ответила. И невозможно было прочитать выражение на ее лице – под огромной шапкой, под миражеочками, обернутом шалью.

- Но ведь вы могли мне сказать, когда я заходил утром в гостиницу...

- Я уже и не знаю, что о вас думать. Казалось, что госпожа Елена для вас что-то значит!

- Сам не знаю, кххрр, что о себе думать.

- Уууу, шут – не мужчина.

Глядело прямо перед собой, на туманоцветные спины возницы и Щекельникова.

- Вы так думаете. Вы так видите. *D'accord*<sup>28</sup>.

Кристина шмыгнула носиком.

- А пожалуйста, обижайтесь, пожалуйста! Все это только чертям на радость! – Она задрожала. – Проклятый город, проклятые люты, мороз проклятый! Кххххх!

Протянуло руку, чтобы ее обнять, но она ее отбросила.

<sup>28</sup> Соответственно (франц.)

- Должно быть, вам сейчас тяжко, тем более – сейчас; честное слово, буду вас проводывать, не так, на минутку, ради насоса, но когда только...

- Да я уже спать из-за этого не могу! Вот увидите, его, в конце концов, убьют!

- Что?

- Думаете, они поддались, раз мы уже в Иркутске? В прошлом месяце две, а в этом – уже три попытки были. Состоялся даже ночной визит террориста из Боевой Организации эсеров, который, кхх, помочь нам предлагал от имени бердяевцев из его партии; вот это было ужасно.

- Но... Никола мне ничего не говорил!

- Так он ничего и не знает! – взорвалась Кристина. – И так оно должно и остаться, понимаете? Степан все устраивает с охраной и казаками. Оно даже лучше, что Никола нос не высывает из Лаборатории. Он света не видит за своим Боевым Насосом и, кхххх, большим тунгетитором. С ним вечно так.

- Но – кто?

- В основном, мартыновцы, какие-то засланные крестьяне. Губернатор их арестовал, тогда как-то все успокоилось, а сейчас – по-новой. Степан говорит: любительщина. Но вот неделю назад схватили уже студентов из какой-то имперской партии, студентов с бомбой, кххх, которая могла взорвать всю Обсерваторию. Когда же Никола выступит с тем показом – даже думать боюсь. Уже предпочла бы, чтобы они поверили, будто и правда, кххх, что все это шарлатанство и способ вытянуть деньги для покрытия его долгов, чтобы потом его бесславно прогнали. Ведь если все эти зимназовые миллионеры, а то и Победоносцев или сам Шульц – господин Бенедикт, если после этой демонстрации они поверят, что Никола и вправду способен для царя прогнать лютов с его земель... кххх...

Кристина дышала тяжело, отъет тенью ложился на шаль. В очках девушки калейдоскопом переливались все краски тумана. Что, расплакалась?

- Быть может, если бы я с ним поговорил... Чтобы все это разыграть как-то поосторожнее... - Говоря по правде, понятия не имела, как. – Быть может, имеет смысл обратиться напрямую к царю, чтобы усилить охрану... - Но, чтобы царь поверил, что есть смысл вообще что-то охранять, поначалу Тесла должен провести тот убийственный для лютов спектакль. И так плохо, а так – еще хуже. – Почему вы не рассказываете ему обо всех тех опасностях?

- А зачем? Какой смысл? Тогда он лишь больше станет беспокоиться, и работа будет идти медленнее, только больше нервов потратит – а ведь Никола уже не мальчик, господин Бенедикт – намерений же его это никак не изменит. Раз уж он связался с этой "черной физикой", кхх, так уже – уже и "замерзло", как говорят здесь. Можете даже и не хлопотать, никто его не убедит, если сам великий Никола Тесла чего себе надумал. - *Mademoiselle* Кристина повернула голову и, вытащив руку из перчатки из муфты, обвинительно направила ее ко мне. – Вот вы! Вы точно так же! Разве приняли вы от кого-нибудь добрый совет лишь потому, что верите советчику? А не по причине собственных умственных расчетов? Well?<sup>29</sup>

- Кхххр. Вы так говорите, будто бы это было нечто хорошее. Значит, такая легковерность...

- Легковерность? Легковерность? – Она прижала ручку к шубе на груди. – У вас вообще, хоть какие-нибудь друзья есть? А если в семье – ну да, отец, мать – кххр – ну как можно жить – не имея никаких авторитетов?

Лишь пожало плечами, что, наверняка, не слишком было видно под толстой шубой.

- А какой человек вообще ищет авторитетов? А? Какому это человеку вообще в жизни нужен авторитет?

- Ну... когда он не знает, как поступить – и было бы лучше, когда бы сослался на кого-нибудь более умного.

- А тот более умный стал более умным не путем руководства собственным умом, но тоже полагаясь на умы других людей? Мхххм? И по чему человек узнает, кто обрел мудрость, если у него самого ее не имеется?

- Нужно довериться мнению большинства, кххх, ведь есть же люди, признанные в качестве авторитета большинством.

- Есть, но опять же: как отличить авторитет истинный от фальшивого, то есть, настоящую мудрость от представления о ней? Если ты на это способен – тогда зачем тебе еще и авторитеты?

*Mademoiselle* Кристина тихо раскашлялась. Она долго поправляла мираже-очки, плотно прикрывая перчаткой все лицо. В редком приливе уверенности единоправды прозрело мысли собеседницы: сейчас она, вне всяких сомнений, вернулась к тому разговору в Экспрессе, остановившемя посреди тайги, к допросу, касающемуся стыду веры, которому нехотя подвергло госпожу Филиппов вместе с Еленой. Неужто она и далее считает, что над ней смеются? Считает это плохим, негодует?

- Разве нет таких дел, в которых разум оказывается беспомощным? – произнесла, наконец, Кристина, едва слышимо над звоном колокольцев и скрежетом льда под полозьями. – Вопросы, касающиеся добра и зла, этики? Ведь это никак не рассчитаешь.

- Наверняка.

- Так что же? Не имея возможности справиться силой собственного разума, поддаешься в этих вопросах и становишься – кем? Нигилистом? Аморальным животным?

- Но ведь теперь вы уже говорите о чистой вере, о религии!

- Выходит, вы все-таки не верите в Бога!

В перспективе Амурской улицы, над окрашенными в цвет ночи завалами мглы, сияли бело-огненные купола Собора Христа Спасителя. Быстро отвело от них взгляд, словно по причине животного инстинкта, как отдергивают руку от пламени. *Как можно пятнать свою душу подобной ложью и фокусничанием! Ложь это! Ложь!*

- В Бога – верю. Зато не слишком верю в то, что люди говорят о Боге.

<sup>29</sup> Здесь: Ну? (англ.)

## О братстве борьбы с Апокалипсисом

На упряжке в восемь оленей, в высоких зимназовых санях, перемещающихся на паучьих ползьях, в черной шубе и собольей шапке, в закрывающих глаза и половину лица мираже-очках, в которых небо и снег, и солнце, и всяческая краска радуги переливаются, в мерцающем потьвете, оставляющем за собой смолистые повиды, с белой рукой на зажиме аккумулятора тьмечи, в облаке угольного пара – Никола Тесла едет по скованной льдом Ангаре к месту лютобийства, к порогу трехэтажной теслэлектрической машины.

Я-оно стояло над правым берегом Ангары, на площади под памятником императору Александру III, где проходил приречный бульвар, когда-то предлагавший замечательный вид на Конный Остров, саму широкую Ангару, на мосты и на левобережный Иркутск; сегодня же ветер с метелью позволяли видеть не дальше того лята, что вымораживался из острова на лед, и за конструкцию, выше самого ледовика,озвезденную над ним на самом конце мыса. Тесла выбрал именно этого лята и именно это место, во-первых, потому, что, хотя и расположено чуть ли не в самом центре города, оно было безопасно удалено от домов и улиц, а во-вторых, что все это давало возможность зевакам наблюдать за ходом эксперимента, а ведь именно в этом был и смысл.

На площади с памятником, несмотря на мороз и поземку, собралась приличных размеров толпа. С помощью господина Щекельникова я-оно притиснулось в самый перед, на край обледеневшего обрыва. У некоторых зрителей имелись подзорные трубы и театральные бинокли; я-оно об этом как-то не подумало. Зато все были в громадных мираже-стекольных очках, либо прилегавших к лицу, как у изобретателя-серба, либо закрывавших своими плоскими стеклами глаза и половину лица. Когда Тесла ехал через Ангару на своих санях, словно взятых их восточной зимней сказки, сотня зеркальных, радужно-цветных калейдоскопов повернулось к нему, прослеживая каждое движение и мельчайшие жесты. Ведь перед тем Тесла вообще не показывался; сегодня же он вступал на публичную сцену Иркутска, это был его дебют в Городе Льда. Сверкали магниевые вспышки расставленных на возвышениях фотографических аппаратов репортеров байкальской прессы. Дамы в мехах, пелеринах, под заснеженными капюшонами, выглядывали из саней, остановившихся вдоль улицы. Мужчины поднимали себе на плечи малышей, плотно закутанных в грязные полушибки; ребятня глядела на происходящее сквозь меньшие, детские мираже-стекла. На трескучем морозе сильно много не разговаривали и не сплетничали, зато можно было слышать то характерное шуршание дыханий, шевелений, вздохов, проходящих волнами через толпу. Над людским скопищем вздымались тьветистые облачки пара. Было воскресенье, 9 ноября, утреннее время после того, как закончились службы в церквях. Доктор Тесла начинал Войну с Зимой.

В первую очередь, еще перед тем, как сойти с саней, он стиснул зажим батареи. Должно быть, он сильно откачал тьмечь, никогда еще ранее я-оно не видело подобного эффекта – поднимаясь, серб не отпустил руку, и тьмечь ринула в него в неожиданном разряде; чистый ток прошел от руки к туловищу, к голове и всем конечностям, разлился по черной шубе, на которой каждый волосок встал дыбом, словно иголка, и выстрелил теслэлектрической микро-молнией: Никола Тесла сходил с саней словно живой, дымящийся факел тьвета, на каждом шагу вспыхивая яркими светенями. Во второй его руке была тросточка из специального сплава зимназа, увенчанная тунгститовым навершием 24-карратной пробы. Сейчас этот шарик светил ярче куполов Собора Христа Спасителя, а из зимназа непрерывно исходили семицветные, пульсирующие радуги. Олени из упряжки переполошились и рванули подальше от странного человека. Ежесекундные черные молнии прокакивали от него в сторону саней, возницы, животных, в сторону Боевого Насоса, самого лята. Серб в высокой собольей шапке шел, выпрямившись, широко шагая, не опираясь на трость, держа ее, скорее, словно булаву. Белизна и чернота перетекали вокруг него на мираже-стеклах, словно пузыри подводных газов. Снег принял цвет Теслы, лед принял цвет Теслы, даже лют принял цвет Теслы.

...Изобретатель вступил на лестничку Боевого Насоса. Светени заплясали искрами на его зимназовых элементах – миллионы искр.

Никола поднял руку, взмахнул тросточкой. Толпа в ответ кричала "браво!". Магниевые вспышки слепили.

- Ебал меня хер...! – вздохнул господин Щекельников, из чего можно было сделать вывод, что он потрясен.

На открытой платформе сверху Боевого Насоса находился железный стул перед пультом, на котором торчали дюжина рычажков и регуляторов. Тесла сел на стул и тронул первый рычаг. До памятника Александра III дошло тарахтение нефтяного двигателя; изнутри Насоса начал исходить черный дым, тут же выдуваемый ангарским ветром.

Тесла потянул за второй рычаг. На спину лята упала зимназовая балка, законченная массивным когтем-ломом, который вонзился в ледовика на добрую половину аршина. Вдоль балки, словно жилы на анатомической модели, вились толстые кабели в тьмечевой изоляции.

Тесла потянул третью рукоятку. Раздался визг, словно из радиоприемника, не настроенного на нужную частоту, только раз в десять разче, и настолько громкий, что люди в едином порыве прижали руки к ушам и склонили головы. Постепенно визг затих – Насос работал в ровном ритме – Никола управлял боевой операций, держа пальцы на передачах – небольшие теслэлектрические разряды прыгали по Насосу, по человеку и ляту – затем все они застыли на месте, только плотная темень, словно от криоугольной печи, вибрировала по сторонам. Упадет или не упадет, сломит его или не сломит, отморозится лют или не отморозится – люди стояли и глядели, сжимая кулаки и закусывая губы, словно на борцов, окаменевших в неподвижном и смертельном захвате, все напряжение собралось в этой неподвижности и ожидании: первого знака, сигнала слабости, первой крови...

- Но вы прекрасно знаете.

- Ммм?

- Я бы не заговорил с вами, если бы не был полностью уверен. – Невысокий поляк, даже не повернул головы, тоже уставившись на Насос, Теслу и лята. Он стоял тут же, рядом, я-оно прекрасно слышало слова, высказанные вполголоса, с сильным акцентом восточных окраин Польши. Малахай, мираже-стекла и шарф плотно закрывающие лицо, можно было только догадываться про обильную щетину и выдающийся нос. – Пан передаст ему, что когда дойдет до проблемы жизни и смерти, мы всегда предоставим ему возможность безопасного бегства из Империи. И его красавице, американке. И вам тоже, пан Герославский.

- Кххрр. И в чем же здесь торг?

- Что пан Тесла уже не станет пытаться состязаться со Льдом на землях самой России, то есть, за Днепром. К западу от Днепра – пожалуйста. Да и здесь, в Сибири, сколько угодно. Но не в старой, европейской России. И еще, что он не сдаст свои арсеналы никому другому, пока что еще не время. Впрочем, вы знаете лучше.

- Думаете, он перепугается?

- Самому царю следовало бы сюда спуститься, чтобы своим присутствием защищать его. Впрочем, даже и его присутствие не остановило бы Сибирхожето. Там, в санях, за памятником – видишь, пан? – если не ошибаюсь, сам Ангел Победоносцева приехать сюда побеспокоился. После сегодняшнего показа – даже пускай пан Тесла и самый неустрашимый сумасшедший, ничего; достаточно, что его испугаются те. Как появится возможность, пан пускай поговорит, наставит его на ум. А после того, знак в окне, что на реку выходит, пан даст: после заката поставит зажженную лампу, в полночь заменив ее на тьвечку. На следующий день к вам обратится человек. Машины и документация должны быть уничтожены. Повторите.

- До Днепра, не далее, уничтожить машины и заметки, лампа в окне, выходящем на Ангару до полуночи, начиная с полуночи – тьвечка.

- Хорошо. Если достанут его раньше, сами все уничтожат. Ежели чего... Вас, возможно, подозревать не станут.

- Почему же не станут? Он – мой приятель.

- Слышали мы, слышали. Но ведь вы теперь – ледняк–доктринер, разве не так? Надоело вам противодержавное царство, а? Что же, тоже какая-то дорога. В благородных сердцах несчастье и унижение страны бывает источником патриотизма; в несчастье выковываются характеры. В этом заключается особенное свойство московской неволи: мало просто нагайкой ударить, им нужно, чтобы побитый еще и поцеловал орудие пытки; мало повалить противника, нужно еще поверженному пощечину дать. А если кто пощечину покорно принимает, тот воистину не достоин лучшей судьбы. За эту струнку потяни, сынок; увидят правду, как она замерзла.

- Погодите? Ведь мой интерес не в бегстве заключается – я же к отцу – погодите! – ведь это же вы на Дороги Мамонтов его выслали – дайте мне только –

Но тот уже скользнул в толпу, растворился среди людей, напрасно я-оно крутилось и оглядывалось, незнакомец был ниже на пол-головы, исчез без следа.

Ругнулось про себя. Действительно ли они так уже боялись агентов охраны? Действительно ли те безустанно следят за мной? Чингиз в последнее время ни о чем подобном не упоминал, но – кто его толком знает, увидал кого или не увидел; сейчас тоже, в течение всей беседы он и не пошевелился.

- Видели его, господин Щекельников?

- Друг ваш какой-то? Пошли-ка лучше отсюда, пан Ге, в толкучке любой может пером пихнуть, и никак не убережешься. Аах ты, засранец, по ногам топтаться, хрен недоваренный! – и сцепился с каким-то наглым жуликом.

Закусило губу. Должны были следить, должны, нет иного объяснения, смерть здоровилы с газовой трубой их явно не заставила прекратить попытки. Я-оно не могло удержаться от того, чтобы не оглядываться по сторонам, назад, над головами, на дома и окна. Но в мираже-стекольных окнах разве что только кисель туманноцветный увишишь.

Вы теперь – ледняк–доктринер, разве не так? Ну, слава Богу, все же – нет. Сегодня, несмотря на воскресенье, опять, как и всякий день, зашло в "Новую Аркадию" откачать тьмечь, наново наплывающую в мозг.

Но ведь именно на такую реакцию и рассчитывало, отдавая *Аполитею* для печати редактору Вулькевичу.

Нельзя сказать, чтобы текст его очаровал. Прочитал, скрчил изумленную мину, затем – кислую, потом – развеселившуюся. Налил себе наперсток настойки на травах, глотнул, зашевелил усиками.

- И пан желает, чтобы этот вот метафизический манифест – что?

- Чтобы напечатали здесь же в "Свободном поляке".

- Еще и "здесь же"! – раздраженно забурчал старый редактор.

- Так точно. А самое главное – вот видите, на последней странице, внизу?

- "Бенедикт Филиппович Герославский". Прямо так, с отчеством? Вот это да! – Только теперь до пана Вульки-Вулькевича все дошло. – Я же не запущу под вашей собственной фамилией! Вы не знаете, что все это идет в охранку и в Третье Отделение? Все конторы политических полиций Империи тщательно изучают наши газетки!

- Именно такова моя идея и была.

- Идея у него! – Вулька-Вулькевич закурил толстую папиросу, свернутую вручную из маньчжурского табака. – Вроде бы, ничего конкретного вы здесь и не пишете... Но эта дурацкая бравура, пан напрашивается на неприятности! Придут к вам, спросят, каким образом ваша статья очутилась в противоправительственной печати – что тогда скажете? – Он сделал глубокую затяжку. – Откажетесь от всего?

- Нет. Вас я не выдам, если это вас заботит. Если бы у охранки был приказ к вам прицепиться, уже давно бы прицепилась, ведь все вас хорошо знают. – Дернуло себя за бороду, пытаясь высказать Вульке-Вулькевичу истину, которая пока что не замерзла. – Видите ли, я должен, как можно скорее, наделать себе политических врагов.

Тот, молча, докурил свою папиросу – что заняло добрых несколько минут, но как замолчал, так уже и не отозвался; только корчил многозначительные мины: перепуганные, беспомощные, грозные, и даже – гневные.

Но ведь, напечатал, и вот, пожалуйста, приходят японцы, такую, а не иную видят правду, теперь уже наверняка я-оно получит вызов в Министерство Внутренних Дел, или же их чиновники сами домой побеспокоются...

Толпа громко ахнула, зашипел магний. Никто не аплодировал – все в толстых рукавицах – вместо этого начали громко топать. Я-оно вернулось взглядом к люту, пришпиленному когтем Боевого Насоса. Доктор Тесла стоял на платформе, левая, белая ладонь на рычажке, правая, белая ладонь поднята со светящейся тростью, меховая шапка дымится ответом – а лют перед ним потеет молочно-цветной кровью. По льду, по сосулькам, по морозным струнам, по монументальным сталагмитам – медленно текли туманные ручьи, быть может, жидкости, а может – уже сжиженного газа. Я-оно догадалось, что это из ледовика выходит гелий. – Во, кровянка хуева, – удовлетворительно констатировал это господин Щекельников. Толпа снова орала "браво". Человек победил чудовище. (Человек, а конкретно, человеческие машины).

Но какой же черно-химический процесс произошел внутри лютя? Что изменилось после откачки теслэлектрического тока?

В Обсерватории, уже после возвращения с Ангары, Тесла объявил собственную на эту тему теорию (поскольку, естественно, теория у него имелась):

- Так вот, *messieurs*, существуют такие состояния Мороза, для поддержания которых необходима не только низкая температура, но и высокий заряд тьмечи.

Я-оно даже довольно неплохо знало, что это за состояния. В очередной раз прикусило себя в язык. Говорить или не говорить Николе про криофизические исследования доктора Вольфке и других ученых из Холодного Николаевска? В конце концов, большинство подобных открытий было опубликовано в различных научных изданиях. Тесла наверняка следит за подобными исследованиями, он способен сделать выводы и самостоятельно...

Но, пока я-оно решилось, Тесла ушел к тунгетитору.

Что тоже было к лучшему, потому что в лаборатории остался один Саша Павлич.

Я-оно поздоровалось с ним.

- А инженера Яго нет?

- Доктор Тесла приставил его к тунгетитору, сегодня с утра генеральные испытания, слышите? Этот грохот.

- Ну да, и вправду. А профессор Юркат?

- Сейчас спустится. Вы чего-то от него хотите?

- По правде... - Я-оно сунуло руку во внутренний карман пиджака, вынуло яицеобразный сверток. Саша вопросительно глянул. Развернуло платок, показывая подгнившую картофелину. Показало на клетки с крысами и мышами. – У меня к вам просьба, говоря точнее, идея для эксперимента. Не могли бы вы выделить несколько экземпляров и каким-то образом скормить им вот это? И только лишь потом откачивать из них тьмечь. Мне бы хотелось сравнить результаты.

Павлич надел очки (что сделало его старше на добрый десяток лет), склонился над картошкой.

- Что это такое?

- Картофелина.

- Я вижу.

- Картофелина, но и не картофелина. То есть, чернобиологический вид.

- Ага!

- Но, - приложило я-оно палец к губам, - только тихо – ша, я не могу признаться, откуда ее взял. Для меня важно, чтобы...

Павлич взял картофелину лабораторными щипцами.

- Что в ней? Тунгетит?

- Мне так кажется. Она выросла на тунгетитовой почве. Похоже, что само присутствие этого элемента в земле каким-то образом изменяет строение растения.

Ассистент Теслы положил картошку на металлический поднос.

- Вы разрешите, я отрежу образец и погляжу на него под микроскопом.

- Лишь бы для крыс хватило.

- Ну, конечно же, этого будет слишком мало, чтобы регулярно кормить несколько штук. – Саша присел на высоком табурете, задумчиво протер очки. – А знаете, Венедикт Филиппович, а ведь подобные случаи уже были.

- Какие?

- Отравления тунгетитом. У людей. Мой знакомый, работающий в больнице Святой Троицы, говорил мне о серийных отравлениях, причем, вовсе даже не в Холодном Николаевске. Потом, кажется, оказалось, что это федоровцы.

- Матерь божья, снова какая-то secta...?

- Нет, нет. Ну, разве что если религию наукой заменим – тогда, secta. Хммм. По-моему, они от этого умерли. – Он помассировал шею. – Я к нему зайду сегодня, узнаю подробности, может, скажет чего-нибудь полезного. – Он глянул на часы. – Видимо, кто-то должен был задержать профессора, из-за этой демонстрации на острове с самого утра ходят тут всякие... Простите.

Он вышел.

Я-оно присело за столом, неподалеку от прототипа Черной Лампы Луча Смерти. Устройство сейчас было размонтировано, гладкая внутренность открытой сферы отражала свет, словно отполированный алмаз. Снова засвербели руки, засвербело под черепом. Ругнувшись, взяло замшевые перчатки, купленные вчера у Раппопорта, где зашло и в Дом Моды к

пани Гуждь, чтобы выпытать про дальнейшие подробности секретной отцовской жизни. Но после того, как перчатки были надеты, свербение вовсе не прекратилось. Я-оно начало играться банкой с барашковыми гайками. Животные в клетках нервно попискивали. И действительно, можно было слышать мерный грохот, от которого на жидкости в мензурках образовывались круги, звенело стекло и металл. Открыло часы. Лубуммм! – двадцать семь секунд – лубуммм – двадцать семь секунд – лубуммм! Никола Тесла пробуждает волны на Дорогах Мамонтов. Интересно, пойдут ли шаманы жаловаться к Победоносцеву. Я-оно захихикало. Банка выпала из руки, гайки рассыпались по полу. Наклонилось, чтобы их собрать – и замерло так, с расставленными пальцами, в странной, сгорбившейся позе. Что там говорили про гадания в Стране Людов? Про карточные игры? Никто и никогда не выбросил здесь пяти шестерок, не получил на руки покер. Гайки лежали в ровеньких колонках, выстроившихся будто под линеечку.

Вытащило из портмоне полтинник и начало бросать его на столешницу неуклюжими, скованными перчаткой пальцами. Двухглавый орел, орел, орел, ОООООООО, после восьмого орла снова пошли решки, но – но! Лубуммм! Быстро собрали гайки. Восемь орлов подряд – это не регулярность, это флуктуация хаоса, пик волны энтропии. Кожа на руках палила, словно облитая кислотой.

Появился Саша Павлич с профессором Юркатом, сразу же за ними вошел инженер Яго. Попросило профессора отойти в сторону.

- У меня есть вопрос. Помните, господин профессор, что вы говорили мне в подвале? О водных стоках подо льдом и про вечную мерзлоту?

- И что я такого говорил?

- Проблема следующая. Реки замерзли, правда? Замерзли до самого дна. Во всяком случае, большинство. Здесь, в байкальском водоразделе. Я прав? И уж наверняка замерзла до дна единственная река, из Байкала вытекающая: Ангара. Но господин профессор утверждает, что вечная мерзлота обладает постоянной температурой, те самые минус четыре градуса Цельсия, и, независимо от изотермы на поверхности, в земле, под давлением иногда случаются такие течения, что, если неосторожно копать колодец, то в мгновении ока человека может залить, и он замерзнет в чистом льде – так?

Климент Руфинович заморгал, тьмечь залегла в морщинках кожи.

- Нуууу, более менее...

- Следовательно, если бы я где-то обнаружил актуальную гидрографическую карту Байкальского Края, то увидел бы тысячу живых подземных стоков, подводящих воду к озеру. Я прав?

- Тысячу? Гидрографические карты...

- Я знаю. Но – ведь именно так это должно выглядеть, правда? Так может, господин профессор решит для меня вот какой парадокс: куда, черт побери, идет из Байкала весь этот сток мерзлоты, если не в Ангару?

Старичок даже засопел.

- Значит, вы полагаете, будто бы, будто – как же? – что не стекает?

- Значит, полагаю, что гидрологией мерзлоты в условиях Льда управляют иные законы, и эти карты никак не были бы связаны с гидрографией Лета. Я полагаю, что, раз лед на озере не поднимается, и железная дорога на нем функционирует, поезда ездят, как ездили, то, по крайней мере, такое же количество воды уходит из Байкала по подземным рекам.

- Но ведь это же не имеет смысла! – Седенький профессор поправил на носу толстые линзы, сделал глубокий вздох, откашлялся. – Прежде всего, батенька, подземная гидрология территорий Льда крайне убога. Здесь, даже перед Зимой Людов, во времена обычных зим, мерзлота скрепляет грунтовые воды. Почитайте Миддендорффа. Если бы вы увидали тайгу летом, те тысячи верст подмокшей почвы, трясины, торфяники, болота – вы бы таких вещей не говорили. Енисей, Лена, Обь или даже Юкон с другой стороны Берингова пролива – это гигантские поверхностные реки, шириной в несколько верст. А ведь, если считать по осадкам, у нас здесь чуть ли не пустынный климат. Тем временем, тайга зеленая, мокрая, распространенная на половину континента. Почему? А потому, что в непромерзшую землю идет семьдесят-восемьдесят процентов осадков, а у нас наоборот: девяносто процентов уходит в открытые реки, вода по мерзлоте, словно по водосточным трубам под слоем почвы. Вы понимаете? Этой воды не остается для того, чтобы выстроить порядочную сеть подземных стоков. Кроме того, Байкал располагается среди пород с очень низкой пропускной способностью, с низкой капиллярностью и пористостью. Вам не кажется, что под таким давлением он не стек бы под землю еще раньше?

- А господин профессор знает, как меняется структура породы после прохождения люта? После многократного прохождения? Структура породы и этих мерзлотных грунтов, в обычное время воду не пропускающих? Вы видели, как ваются мраморные здания, по-дурацки выстроенные на Дорогах Мамонтов?

Седой криогеолог раздраженно замахал руками.

- Дороги Мамонтов! Так нельзя. Сначала исследуйте проблему до самой глубины, потом только рассказывайте нам свои теории! Вы что тут выдумываете? Будто бы подземные путешествия лютов каким-то образом размягчают породу и промерзшую почву, в связи с чем, в направлении Дорог рождается совершенно новая гидрография Сибири? И уж наверняка, если идти от Байкала вверх, напротив стоков всего водораздела? Ха!

Я-оно кивало, тем не менее, все еще видя проблему совершенно по-другому. По Дорогам Мамонтов течет тунгетитовая вода, поднятая со дна священного озера, где спят мертвые. И, поскольку естественным направлением напора жидкости и льда является верх, эти стоки, в конце концов, выходят на поверхность. Есть здесь, возможно, какие-нибудь горячие источники, серные термы, после-вулканические котловины, отдающие геологическое тепло? Я-оно слышало о такой лечебнице на заливе Хакасы; должны быть и другие, подобные места. Оазисы черной флоры и фауны, где не одна картофелина, но вся растительность вырастает на тунгетитовой почве, втягивая в ткани тунгетитовые соки, а животные это едят, принимают в собственную кровь, и раз путник какой, счастливый-несчастный, туда забредет... Тафак.

- Что вы знаете про лед, молодой человек? – ораторствовал профессор в злобном возбуждении. – Что знаете вы о воде? Ведь это все великие тайны науки! Под Оймяконом, например, имеется такое чудо: минус десять по Цельсию, и река замерзает; но когда мороз спускается до минус пятидесяти – хлюп-хлюп, лед растаял, речка течет гладенько, словно под июльским солнышком. Вот это объясните, а потом только за гидрологию лютов беритесь!...

На Цветистую семнадцать я-оно заехало еще перед тем, как семейство Велицких вернулись из церкви. Слуга вручил письмо, доставленное в мое отсутствие специальным человеком. Тут же злое предчувствие овладело воображением. С ногой, еще плененной в деревянном захвате, наполовину разбуввшись, разорвало конверт. Словно тьмечная молния в позвоночник ударила. Это было приглашение на второе (то есть, пятнадцатое) ноября во дворец генерал-губернатора Тимофея Макаровича, графа Шульц-Зимнего на торжество обручения его дочери, Анны, с господином Павлом Несторовичем Герушиным. Направленное с собственноручной подписью графа в адрес monsieur Бенедикта Филипповича Герославского *et invité, pas de cadeaux, R.S.V.P.*<sup>30</sup> Нет, этого как раз никак не ожидало!

С порога комнаты повернулось и вновь позвало слугу. А этот посланец не принес ли письмо и для семейства Велицких? Слуга подтвердил. Во всяком случае, приличия будут соблюдены, они могут считать, что это и вправду адвокат Кужменьев приглашения выпросил. Тут же село писать благодарность с подтверждением прибытия. Как раз отправляло курьера, как появились Велицкие. Сразу же объявило им неожиданность. Пан Войслав прочитал и показал приглашение жене. Женщины начали радостно пищать и общеловывать всех, кто только им попадался. Радость передалась детям, которые, еще не сняв шубок, разбежались по всему дому, так что Маше и кухаркам пришлось гоняться за ними, чтобы те не разносили снег и грязь по начищенному паркету. Тем не менее, и пяти минут не прошло, а настроение изменилось совершенно, и дамы ручки начали заламывать и печальные глазки к пану Войславу вздыхать. Да кто же такое видывал, всего лишь за неделю предупредили, нет времени как следует подготовиться, в чем же мы в губернаторском дворце покажемся! Платья, новые платья, как можно скорее заказать у китайских портных для подгонки, в самом срочном порядке! Пан Войслав забурчал себе что-то в бороду и театральным жестом схватился пальцами с бриллиантом за карман. Приглашение было на пана Войслава с женой и на панну Марту. Обанкрочусь, бормотал он, как Бог мил, непристойная эта мода до сумы доведет! (Тем временем, Пётрусь залез ему на спину и дергал за уши). Женщины уже и не слушали, занятые обдумыванием потрясающих туалетов. Ба, даже несчастному Войславу новый фрак запланировали. Ведь по-другому и нельзя! А пан Бенедикт – пану Бенедикту тоже ведь не во что одеться, с удовлетворением констатировали обе. Завтра вечером на премьеру, оба! И без дискуссий! Хозяин дома взял Петра-Павла под мышку и ретировался к себе в кабинет. Я-оно наблюдало за этими семейными сценами с сидящим на коленях котом, тот с удовольствием вылизывал новые, пахнущие кожей перчатки. Никому и в голову не пришло спросить себя, зачем Модест Петрович в последний момент должен дописывать в список приглашенных еще и гостя семейства Велицких. Им это как-то и не мешало, они не видели этого странного – для них все соответствовало – уравнения суммировалось. Я-оно прислушивалось с меланхолической улыбкой.

- И пан Бенедикт должен ее как можно скорее в известность поставить, - вспомнилось тут панне Марте.
- Кого?
- А с кем он идти собирается. С той таинственной девушкой, с которой он видится...
- Она уехала.
- Ах! С кем же тогда?

Я-оно поднялось до рассвета, выехало в темную, беззвездную ночь, пробиваясь двойной упряжкой сквозь туман, сгустившийся в известковую взвесь, а мороз безумствовал такой, что и шарф, и подбородок, и кожа, и дыхание смерзались вместе, время от времени нужно было бить себя по губам. Мираже-стекольные фонари светили зеленым светом, спины лютов истекали красками лета. Барабаны глашатаев грохотали над Городом Льда.

Апартаменты Николы Теслы открыло его запасным ключом, зажгло свет. "Новая Аркадия" тоже еще спала. Намеревалось вначале зайти в кабинет изобретателя, откачать тьмечь, но тут услышало за дверью, соединяющей номера, движение и французские слова, произносимые веселым голосом. Приостановилось. Почему бы и нет? Ведь это же доставит ей удовольствие. Да и обещало ей. Энергично постучало, раз, другой.

Открыла mademoiselle Филипов, уже в утренней юбке из легкого *crepe de Chine*<sup>31</sup>, в длинной до колен безрукавке на плиссированной шемизетке<sup>32</sup>, с заплетенными пшенично-золотыми косами, с чашкой в руке. Возле стола, накрытого к завтраку, сидел старый Степан. С ним поздоровалось через двери, без слов.

- Панна Кристина, разрешите вас на минутку?

Та переступила порог, прикрыла двери. Левой рукой стряхнула с шубы снег. Я-оно сняло шапку и очки. Теплый воздух распирал горло, раскашлялось, высморкало нос. Кристина ждала, отпивая кофе, поглядывая с любопытством из-под ресниц.

- В ножки панне Крысе падаю, прямо в ножки. Кхрр... Вы, наверное, слышали про обручение дочери Его Светлости? И вам было бы неплохо отвлечься от всех этих беспокойств, от Степанов и казаков с полицмейстерами; вы же так любите танцевать, я же помню. Так что, - махнуло шапкой перед коленями, - если Никола ничего не будет иметь против, хотел бы вас попросить... А?

Кристина сладко улыбнулась, даже ямочки на пухлых щечках появились.

<sup>30</sup> С гостем, без подарков, просим ответить (фр.)

<sup>31</sup> Крепдешин

<sup>32</sup> Женская блузка, кофта

- Оooo, с удовольствием! Если только господин Бенедикт поклянется, что никогда больше уже не станет пользоваться тем черным теслектичеством.

Я-оно неуверенно засмеялось.

- Но, говоря серьезно...

- Да или нет? – И Кристина взялась за дверную ручку.

- Но...

- Да или нет?

Беспомощно огляделось по сторонам.

- Только вчера тьмечь откачивал, как же можно настоящую клятву давать, когда...

- Да или нет.

- Мне нужно напитаться тьмечью, чтобы с уверенностью уже! Впрочем – заклинать будущее...!

- *Oh, well, that's a pity. So, toss a coin. Pile ou face?*<sup>33</sup>

- Зачем вы это делаете, – разозлилось я-оно.

Та все еще улыбалась из-под прижатой к губам чашки.

- Что я такого делаю? Ведь нет же приказа, что вы обязаны показаться у губернатора именно со мной. Так в чем проблема? Как господин Бенедикт решит, так и поступит.

- Но...

- Но господин Бенедикт уже начинает понимать, что не может поступить в соответствии с собственным решением.

Я-оно скривилось.

- Есть... есть привычки хорошие. Вещи, поступки, ассоциации, которым мы согласились отдаваться в неволю. Вы ведь это понимаете, вы ведь – не Елена. – Тут уже я-оно глядело куда-то в сторону и над девушкой, на потолочную лепнину, на люстру. – Вы понимаете необходимость... стыда.

- А ля, ля, ля!... – затрепетала Кристина ручкой. – Так вы можете говорить именно с Еленой, я же – девочка глупенькая, мне нужно все по-простому. Да или нет.

Пожало плечами, хлопнуло шапкой по бедру.

- Да.

- *Bien*<sup>34</sup>. Когда же это обручение?

- Пятнадцатого, в субботу.

Хрусь!, разбилась выпущенная чашка.

- И вы говорите только сейчас?!

В Лаборатории Криофизики Круппа доктор Вольфке принимал гостей: металлургов из промышленного отдела концерна; они дискутировали над спектрографическими снимками и образцами различных зимназовых ходов. Я-оно сидело над бумагами, прислушиваясь к их беседе, изредка поднимая голову. Чтобы писать, пришлось снять перчатки, каждое прикосновение вызывало свербеж. Сегодня еще ничего, размышиля я-оно, но вот завтра, послезавтра, через неделю – ведь замерзну, раньше или позднее, замерзну. Уже начинало планировать, как бы тут обойти слово, данное *mademoiselle* Филиппов. Тьмечь кусала нёбо. Вокруг Дырявого Дворца нарастал тунгеститоцветный туман, с высоты мансарды Часовой Башни Холодный Николаевск выглядел, словно кальдера мороз-вулкана, неспешно исходящего черным паром белой магмы.

Когда Вольфке с металлургами отошел на другой конец Лаборатории, чтобы зажечь рентгеновскую лампу, подошло – вроде бы по дороге к шкафу с документацией о предыдущих испытаниях – к столу, на котором металлурги разложили свои необработанные образцы. Сунуло в карман несколько плиток, обозначенных как стандартные холода с пониженным содержанием углерода (томская единица, двойка, четверка), а еще сравнительные образцы неохлажденной руды. Никто не глядел. При первой же возможности переложило их в шубу.

Меньше сложностей было с получением результатов исследований этих ходов, описания молекулярной структуры и таблиц сверхпроводимости. Просто-напросто, переписало всю информацию на отдельных листах, которые затем спрятало вместе с образцами. Забавно: поскольку не для конкурентов Круппа воровало его собственность, но с видами исключительно собственной прибыли, так что ни в коей степени вором себя не чувствовало; дело было каким-то чистеньkim, оправданным; инстинкт обогащения, о котором говорил пан Велицкий, подталкивал к следующим необходимым действиям. Животное охотится, человек обогащается. Разве Крупп здесь в чем-то обеднел? Вскоре все эти данные станут общественным достоянием. Разве вытаскивало деньги у него из кармана? Нет; эти брускочки практически ничего не стоят. Деньги только еще будут сделаны. Так разве это кража? Когда делишь сведения пополам, то не получаешь две половинки информации, но две, одинаково хорошие информации. Вот она, новая математика хозяйствования знаниями! В соединении с тем инстинктом обогащения, если он будет запущен во всех людях, разве не приведет это к миру всеобщего благодеяния и богатства, в соответствии с принципами библейского буржуйства пана Войслава? Я-оно уже видело такую неизбежность столь же четко, что и неумолимую очевидность скорого воплощения аполитеи.

Причем, даже выигрывая в зимуху сотни рублей, не чувствовало такого возбуждения, как сейчас, занимаясь чернофизической наукой налево. Детская радость! Теперь чуточку лучше понимало Николу Теслу. Все великие открыватели и изобретатели страдают определенным врожденным инфантилизмом. Они буквально "молятся" на него, как сказал бы Ачу-

<sup>33</sup> Ах, какая жалость. Что же, бросьте монету. Орел или решка? (англ. и франц.)

<sup>34</sup> Хорошо (франц.)

хов. С трудом сдерживалось, чтобы не осклабиться мираже-стекольному отражению, не потерять довольно руками. (Тьмечь бы стрельнула под кожей небольшими молниями тени).

Но вот чтобы добыть очередные чернобиологические растения для скармливания крысам Павлича, в план следовало включить Зейцова, поскольку было невозможным забраться на шкафы и выковырять из кювет тунгетитовые овощи, когда люди еще работали в Лаборатории. Вышло перед Иерхемом, чтобы не возбуждать подозрений, и переждало в коридоре этажом ниже, пока Чингиз не даст знать, что вышел и голландец; после этого вернулось и постучало условным способом. Зейцов впустил. Не говоря ни слова, поспешило к кюветам, чтобы успеть до прибытия бригады чистильщиков льда, запаковало в мешочек под шубу восемь уже прилично выросших растений, по одному из каждой кюветы, старательно засыпая оставшиеся дыры. В конце концов, Бусичкин заметит, но, с Божьей помощью, к тому времени уже будет поздно проводить какие-либо расследования. Тихонько выскоцилзнуло из Лаборатории, еще успев приказать Зейцову хорошенько натопить печи. Тот понуро покачал головой.

Ну да, без всякого сомнения, это была кража – но ведь не для выгоды проведенная, но ради погони по Дорогам Мамонтов за замороженным отцом.

Спиртовые Склады Хрущчинского и Сыновей на Туманном проспекте закрывали двери уже после наступления темноты. Заехало туда санями, нанятыми у вокзала Мармеладницы, и послало Щекельникова, чтобы тот выпытал, на месте ли господин Исидор Хрущчинский; сейчас его не было, но он должен был появиться после семи, чтобы завершить какие-то бухгалтерские дела. Записалось к нему на прием через Чингиза и направилось в Обсерваторию Теслы. Светени в тумане складывались в замечательные арабески, пробитый санями в тумане туннель тонул в багровых, кроваво-красных оттенках. Хлопнуло себя по губам и оглянулось на Собор Христа Спасителя. – А не кажется ли вам, господин Щекельников, что Черное Сияние долго уже висит над городом, но какое-то невидимое, не слишком тьветом напитанное? – Думаете? – Тот махнул рукой. – Снова их работенка, нехристей проклятых, чтобы их всех на колья посадить. – Кого? – Ну, тех колдунов-инородцев, кого же еще? – Кххррр. Да разве они как-то на Сияние влияют? – Это как посмотреть, влияют, не влияют. Только оно бы никак не повредило.

Спеша через фойе под фреской лета, открыло часы-луковицу; если держать их в тепле тела, то шли они даже хорошо. Портной должен был подойти на Цветистую к девяти вечера, поскольку пан Войслав раньше освободиться не мог; так что время имелось.

У основания лестницы и перед входом во внутренние коридоры Обсерватории толпился с десяток мужчин, часть из них с характерными саквояжами для фотоаппаратов; среди них заметило и Авксентьева. Два могучих казака не давало им пройти дальше. Прошмыгнуло мимо них, так что журналисты не успели сориентироваться. Быть может, Григорий Григорьевич тоже не успел узнать. Тесла любил помариновать их с пару часиков, после чего выступить с каким-нибудь фантастическим заявлением для прессы. Понесли кони, подумало я-оно, вынимая из-за пазухи мешочек с чернобиологическими растениями. Никто уже этой залетной тройкой не управляет, и наверняка уже не Никола, и не Кристина, как бы она себе не представляла. Но, быть может, именно ей следовало бы изложить предложения японцев; быть может, и вправду дойдет до того, что речь пойдет только уже о спасении жизни изобретателя и *mademoiselle* Филипов. Кто знает, не спасет ли это жизни и отцу, раз Никола должен был еще этой зимой запустить тот свой Молот Тьмечи, чтобы разбить Лед на Дорогах Мамонтов. Из двух зол, сохранение Льда в Сибири и Оттепель в Европе кажется наиболее безопасным сценарием. Значит, правильно предсказало письмо: ОТТЕПЕЛЬ ДО ДНЕПРА – ПЕТЕРБУРГ МОСКВА КИЕВ КРЫМ НЕТ – ЯПОНИЯ ДА – РОССИЯ ПОДОЛДОМ. ЗАЩИЩАЙ ЛЮТОВ! Правда, пану Поченго поклялось в чем-то совершенно противоположном...

Саша Павлич вместе с инженером Яго и еще одни ассистентом Теслы сражался с огромным тунгетитовым зеркалом. Вынув лист чистого тунгетита, изобретатель намеревался бомбардировать его пучками концентрированного света, изучая затем отраженный свет или изменения в самом зеркале; повторяя затем те же самые эксперименты и с тьветом.

- Он половину дня накачивался и откачивался, - сказал Саша, отдохнувшись, - и сразу же ему захотелось исследовать свойства тьвета. Говорят о Максвелле, Эйнштейне, каком-то Планке и Боре, сам с собой разговаривает о лучах отрицательной вероятности, и все это переплетается цитатами из Гете. Уф! Вы же лучше его знаете, правда, гаспадин Герославский? Что это может означать?

- Новые эксперименты для себя придумал; это давняя его болезнь, что перескакивает вот так, от одной идие к другой. Особенно сейчас, откачивав Тьмечь, он легко делается рассеянным.

- Нет, нет. – Павлич глянул искоса на инженера Яго и показал на угол за клетками с крысами. Прошло туда, по дороге снимая шапку и шубу. – Венедикт Филиппович, сегодня с утра, девяти еще не было, прибыл сюда к нам, в лабораторию, высокий чиновник Канцелярии Генерал-Губернатора, по личному поручению графа Шульца, с военной свитой, с казаками; потом выпытывали нас, каждого по отдельности...

- Тот чиновник... Телом худой? Волосы светлые? Зубы гнилые?

- Да... ну да.

- Как фамилия? Не Урьяш?

- Вы его знаете?

- Ну, он мне не представился. – Подало Павличу мешочек; тот заглянул в него, спрятал под стол. Сняло мираже-очки; контуры и окраска людей и предметов замерзли на своих местах. – И чего он от вас хотел?

- Долго разговаривал с Теслой, вышел во двор, чтобы осмотреть прототип тунгетитора.

Я-оно прислушалось: Молот Тьмечи молчал.

- И?

- И сообщил, что организует нам здесь жилые помещения, то есть – здесь, в Обсерватории; что губернатор берет все здание в управление в силу какого-то там чрезвычайного права; и что будет лучше, чтобы мы не выходили наружу без человека из охраны. И еще, что губернатор и сам Государь Император весьма интересуются нашей работой.

- Ммм.

- А уже после обеда...

- Да?

Саша прикусил ноготь.

- Ходили вокруг с тунгеститовыми факелами, в тьве, и делали отметки в земле вокруг Обсерватории. С ними был один спепой, один безрукий, один хромой, еще один – железом пробитый. Били в барабаны, словно лята на привязи тащили.

- Будут здесь трупные мачты ставить.

- А в чем дело, Венедикт Филиппович?

- Это ради вашей же охраны.

- Но перед кем?

Неужто он и вправду настолько наивен? Глянуло ему в глазенки ясные, под бровки – словно пучки жесткой травы. Саша не мигал, глядел откровенно. Сколько же это ему может быть лет – меньше тридцати, молодой – и все равно, в возрасте. Почему же глядит, словно на человека, по рождению его высшего, как на данного ему небесами опекуна? Откуда вообще такое скорое доверие, откуда этот тон понимания? Словно бы знал человека издавна. И с экспериментом на крысах быстро согласился помочь, ни о чем не спрашивая.

Может, и вправду ты имеешь на свете друзей, прежде чем их вообще встретишь, прежде чем о них вообще услышишь?

- А как вы вообще сюда попали?

- Меня попросил профессор; семья у меня здесь, на Байкале, так что я часто езжу из Томска, а в университете преподавать должен буду лишь с весеннего семестра...

Бедняжка, оторванный от своих книг с научными абстракциями, но тут же брошенный под удары сибирской политики – не удивительно, что ему сложно чего-нибудь в ней понять.

И тут же подумало о себе. А некий Бенедикт Герославский, чуть ли не силой оттянутый от логических абстракций в Варшаве, о чем он имел понятие, когда садился в Транссибирский Экспресс?

И сразу же почувствовало откровенное сочувствие к добруму, но перепуганному до границ воображения парню.

- Они, желая добра, вам говорили: никуда не выходить. В городе вам уже не будет безопасно, ни для кого, кто близок к доктору Тесле.

- Но вы же выходите.

- А вы видели того костолома, с которым хожу? То-то и оно.

- Но – как же так? По какой причине? Кто все это?...

- А вы над чем здесь работаете? Над тем, чтобы уничтожить Лед. И что, думаете, будто бы все силы Байкальского Края от радости подпрыгнут, когда их денежная фабрика в один прекрасный день – растает?

Саша даже рот раскрыл.

- Императору воспротивятся!?

Я-оно презрительно махнуло рукой.

- Императору в этом году привидится так, в будущем – как-то иначе, или же интересы Распутина за это время как-то поменяются, кто его знать может, логикой тут и не пахнет. Но если люты сдохнут, то все – птичка убита, золотых яичек нести уже не будет, аминь.

- Это означает, – прикусил Саша второй палец, – что после вчерашних испытаний Боевого Насоса цены на зимназо должны были резко вверх пойти. – Он оглянулся на стол Теслы. – И, кто первый об открытии доктора узнает, тот капитал на харбинской бирже тут же съебет.

Ай, маладца! Все-таки, при более близком знакомстве Саша начинал нравиться все больше. Интересно, а не пользуется ли он сам насосом Котарбинского? Я-оно не замечало в нем сильного отъмечения, характерного для лютовчиков. Книжная моль, ха...!

- Съебет, съебет, а как же. Разве что! – подняло палец.

- Разве что... – наморщил Саша брови. – Разве что... – Третий ноготь Саши стал жертвой зубов. – Разве что он во время откроет технологию ледовых трансмутаций!

Я-оно хлопнуло его по плечу.

- Какая жалость, что вы биолог, в промышленности и коммерции перед вами открылось бы большое будущее.

Саша улыбнулся; его лицо залпал румянец, который еще сильнее выделил оспинки на его лице.

- Да меня со школы еще мало чего интересует, кроме живой природы, так уже со мной замерзло.

Погоди, браток, встретимся после Оттепели.

- Ну ладно, время не ждет, мне нужно...

- Ах! Венедикт Филиппович, я тут пораспрашивал про те отравления тунгеститом.

- И что?

- Я же хорошо помнил, что то были федоровцы. И явным это сделалось, когда за лечение их заплатил господин Фишненштайн. Он здесь, среди федоровцев, фигура крупная, во всяком случае – их главный спонсор.

- Откуда вы это знаете?

- Разве я не говорил, над чем работаю в университете? Над жизнью в вечной мерзлоте, над оживлением растений и мелких животных, извлеченных изо льда. Федоровцы давно уже к нам приходят; иногда оплачивают расходы на оборудование и командировки, потом публикуют у себя результаты наших исследований, но каким-то странным образом искаженные. Они издают свои брошюры, те валяются здесь в каждой книжной лавке, в каждом кафе, может, вы и сами видели, их можно взять даром. Господин Фишенштайн – человек богатый.

- Ну а с этими отравленными – что дальше? Фишенштайн заплатил, они выздоровели – или как?

Саша отрицательно покачал головой.

- Родион говорит, что умерли все. В больнице до последнего старались, только ничего сделать было нельзя. Никто из них вообще в себя не пришел. А это же дюжина мужиков была, и все в одну неделю; дюжина, а то и больше. Трагедия! *Congelationes, thromboangiitis obliterans, embolia et collapsus.*

- *Il semble étonnant<sup>35</sup>,* только что все это означает? Обморожения и коллапс, так?

- Гипотермия, большие проблемы с кровообращением, что-то вроде *morbus Bürger<sup>36</sup>*, только очень ускоренная, образуются тромбы, тело умирает, холодное, словно камень.

- Все, говорите. Ну, этого мы никак знать не можем.

- Так я же говорю вам, что Родион...

- Логика, господин Павлич! Отступая от результатов к причинам, невозможно увидеть все причины, которые могли привести к совершенно иным результатам. Зачем нам возить в больницу тех, которые все это пережили без вреда для здоровья? – Я-оно надело очки и шапку. – Фишенштайн, так. И повсюду лежат, можно брать даром, так? Ладно, кормите их регулярно и накачивайте теслектричеством, пока не замерзнут. Или – не замерзнут. Ну, пака!

Вышло задними дверями, в складской закоулок. Щекельников побежал искать сани.

Господин Исидор Хрущчинский после приветствия приглядывался долго, и вложив мираже-стекольный монокль в глаз, и без него, пока не подумало – раз, что в его лице с очередным мясником души встретилось, что высверливает из нее резким взглядом всю единоправду о человеке; два, что Хрущчинский каким-то образом разбирается в откачке тьмечи, ведь не у всех обитателей Страны Людов она накапливается по естественным причинам, но и от механического откачивания, противного природе; три, что какой-то мелкий эффект Черного Сияния тут действует, заманивая пана Исидора злыми симметриями светеней.

Одно правда: я-оно все еще было под воздействием откачки, поскольку все остальные домыслы оказались неверными.

- Вы уж простите, что глазами вас так сверлю, – сказал хозяин, усевшись, – но сегодня вы еще сильнее его напоминаете. Когда я его в последний раз видел, он тоже густую бороду носил. И стригся всегда чуть ли не налысо. И еще, когда вы так вот стоите – вы присаживайтесь, присаживайтесь! – он на всех свысока глядел, стоял ли, сидел ли, лежал ли, все равно – свысока. Выпьете капельку?

В комнате на задах Складов – обустроенной даже прилично, с обитыми кожей стульями, с керосиновыми лампами под золочеными абажурчиками, с не сильно даже гадким пейзажиком – три из четырех стен были застроены стеллажами для бутылок со спиртным. "Хрущчинский и Сыновья" не имели дела с напитками наилучшего вкуса и наивысших цен, но здесь, наряду с самыми паршивыми водками и ординарными винами, очутились бутылки с весьма даже благородными этикетками. Пан Исидор налил по рюмочке абсента.

Я-оно попробовало кончиком языка, подсладив и сильно разведя водой. На всех глядел свысока – разве панна Елена не упоминала чувства превосходства? Только, Боже – какого же превосходства?! Как я-оно могло глядеть на людей сверху, если в их силах было одним лишь взглядом разжечь багровый стыд, и стыдом этим испепелить душу? Никак невозможно согласовать подобные уравнения характера!

Я-оно отодвинуло рюмку.

- А какой, собственно, природы было ваше знакомство? – спросило напрямик. – Вы упоминали про долг благодарности...

- Какой природы. – Хрущчинский выпрямился за столом, провел ладонью с пятнами после обморожений по пятнистому жилету, по гладко бритому подбородку, вынул из глазницы монокль, постучал им по очищенному от бумаг столу. – Мой старший, Радослав... Видишь ли, пан, эта вывеска, "Сыновья" – это заклинание, я заговариваю будущее. Ян, ну да, но Радослав – ему было семнадцать лет, когда в тысяча девятьсот пятнадцатом он получил десять лет за участие в заговоре против правительства. Ваш отец... Если бы не ваш отец, Радослав на каторге не пережил бы и года. Он попал к нему в роту, пан Филипп взял его себе под крыло, духом поддерживал, научил жизни каторжной. – Хрущчинский поднял голову. – Так что, можете представить, когда он появился в Иркутске, я хотел его отблагодарить.

- А он ничего не взял.

- Не взял, – пан Исидор сухо усмехнулся. – Мне показалось, он меня еще и выругает. – Хозяин вздохнул. – Так что, когда я увидел вас под Черным Сиянием... Сын за сына, разве не такова справедливость божья?

- Вы остерегали меня перед Пилсудским.

Хрущчинский залпом допил остаток неразведенного абсента.

- Это демон Льда! – хрюкло прошептал он. – Бегите от него!

- Вы с ним знакомы?

<sup>35</sup> Кажется удивительным (фр.)

<sup>36</sup> Болезнь Бюргера (?)

- А вы как думаете, по причине кого Радослав жизнь себе сломал? Вот тут, - он махнул в сторону стеллажей с бутылками, - здесь они встречались, здесь по ночам операции свои оговаривали, политику делали. И потом пан Филипп...

- Что?

Хрущинский стиснул кулак.

- Потому что заловил и его! Проклятый товарищ Виктор! Он притягивает их как магнит – подойдешь поближе и уже н отлипнешь. Замерзло! И где теперь пан Филипп? Сибирский лед!

- Выходит, если я вас правильно понимаю – у вас точные сведения, что это Пилсудский послал отца на Дороги Мамонтов?

Хрущинский вздохнул, скрестил руки на груди.

- Ясное дело, при том меня не было, - сказал он, уже спокойнее. – Но у меня есть глаза и уши, свой ум имеется. Я знаю, что за день перед тем, как прийти ко мне, пан Филипп разговаривал с ним где-то у себя, в Холодном Николаевске. И сразу же после того полиция начала ходить за ним по Иркутску. Сюда забегает он уже вечером, шарфом обвязанный, так что лица под мираже-стеклами не видать, и кладет деньги за пять бутылок сажаевки. А утром он уже явно в дороге был – только его и видели.

- Сажаевки?

- На дорогу. – Пан Исидор указал на бутылки, уложенные высокой стопкой слева. – Десять рублей тридцать копеек, дороже пойло, это правда, могло быть что-то и подешевле.

Я-оно поднялось, сняло со стеллажа плоскую бутылку. На наклейке была нарисована панорама Иркутска с башней Сибиржето посередине; ее корона темноты распространялась в виде черных букв названия напитка:

### САЖА байкальская настойка

Снимая бутылку с высоты, я-оно встряхнуло ее. В прозрачной жидкости, скорее всего, чистой водке, плавали хлопья черного снега, угольные снежинки-сажинки.

- И люди это пьют? Разве им не вредит?

- Вodka всегда вредит, если пить неумеренно, пан Герославский.

- А это в ней – тунгетит?

- Потому и такая дорогая. Пьют и с золотом, и с перемолотыми костями, пак почему бы не пить с тунгетитом? В черноаптечных сиропах встречаются куски и побольше.

Я-оно еще раз взболтнуло бутылку сажаевки. Черные частицы медленно закружились.

- Я понимаю, почему вы с таким сожалением относитесь к Пилсудскому...

- Сожалением?!

- Нууу, демон Льда?

- Пан считает, будто бы он от всего сердца желает Оттепели? Ха! Он обманул самых разных людей политическими соображениями в посланиях, письмах издалека<sup>37</sup>, высылаемых с безопасного расстояния в Лето, так что никто уже не может усомниться в характере автора. Только я вижу его как на ладони: это чисто ледяная душа; он должен растопить Польшу, чтобы вернуть ей независимость, но как только страна попадет по его командованию, он сам всю ее под собственным единовластием быстро заморозит! – И вновь пан Хрущинский стиснул кулак. – Не раз и не два встречался я с ним лицом к лицу и узнал правду об этом человеке. Здесь они появляются чаще, чем у нас, есть нечто такое в русской земле, что человеку легче оторваться от фальши и ненадежности материального мира, и схватиться сразу же за идею, за Правду, схватить Бога за бороду. А уж как только кто услышал глас Божий, то хотя бы и свинопасом был, тут же без стыда встанет пред толпою и объявит себя царем правомочным, императора-помазанника с проклятиями именуя узуратором – и толпа довольно часто ему верит.

- А почему бы и не верить? – буркнуло я-оно, косясь на сажаевку. – Правда – она правдой и будет, кто бы ее не коснулся. Если Господь к человеку обратится и прикажет даже сына своего убить, то человек не спрашивает, разрешено ли подобное Богу, а только за нож хватается. – Отложило настойку. – Кажется мне, пан Исиор, что правы те геологи, что обнаруживают древнюю историю Дорог Мамонтов в наиболее давних месторождениях мерзлоты. В России всегда было... холоднее, если вы меня понимаете; россияне всегда жили ближе к Правде. Отсюда и столько самозванцев, юродивых, пророков, столько сект жестоких, такая зядлость на пути к небесам. В Лете все это размывается, неопределенность складывается с неопределенностью, мы чаще рассуждаем, судя по кажущимся признакам материи. Но здесь...

- Здесь народ ледяный, так пан говорит.

Я-оно уселось, вытащило папиросы, предложило хозяину, закурило. Пан Хрущинский поблагодарил, только подлил себе абсента. Глянуло на часы.

- У вас имеется с ними какая-то связь?

Тот наморщил брови.

- Пан думает переговорить с японцами?

- Откуда вы можете знать, чего от меня хочет Пилсудский?

Купец открытой ладонью стукнул по столу.

- Только ради Бога, не вступайте с ними ни в какие переговоры!

<sup>37</sup> Не напоминает вам это ленинскую работу под тем же названием? – Прим.перевод.

- Пан Исидор... - я-оно смягчило тон до мягкого убеждения. – Мне нужно найти отца. Если это и вправду Пилсудский отправил его в Лед... кого мне еще спрашивать, как не его?

Хрущчиньский отвел взгляд. Дрожащая тень от керосиновой лампы, смешавшись с лютовчиковским ответом, заливала благородный профиль торговца спиртным волной то в одну, то в другую сторону; один раз он казался рассерженным, через секунду – опечаленным.

- Поговаривают... Все пошло не так, как ему хотелось. Тут громыхнула весть, что в Иркутск прибыл Сын Мороза, и сразу же потом – будто бы Зюк специально приехал из Харбина. Наверняка он хочет встретиться с вами. – После того он что-то долго пережевывал в молчании. И наконец: - Так мне послать слово?

Медленно затушивая папиросу в пепельнице, кивнуло.

Поднявшись и готовясь прощаться, вынуло бумажник.

- Десять рублей и тридцать копеек.

Пан Хрущчиньский скрочил обиженнюю мину и решительным движением сунул две бутылки сажаевки, отталкивая руку с деньгами.

Я-оно отступило на шаг, вновь отсчитало надлежащую сумму, даже мелочь, и положило деньги на стеллаже.

- Значит, так, - заурчал пан Исидор. – Значит, так.

На Туманном Проспекте еще была открыта книжная лавка и антиквариат, заглянуло туда, спешно пробежавшись через улицу трусцой, только у них никаких федоровских брошюр не было. Когда уже возвращалось на Цветистую, в мираже-стекольных радугах заметило вывеску еврейской продовольственной лавочки: остановило сани. Ветхозаветный продавец указал на стопку возле сладостей. Там лежало три номера журнальчика, названного "Воскрешение". На обложке последнего номера была помещена гравюра, представляющая собой сцену, взятую, по-видимому, из фантазий Жюля Верна: какие-то гигантские машины железными руками опускались в глубины льда, поднимая под свет прожекторов людские останки, десятки, сотни трупов. Брошюры, как сообщалось под самым титулом, издавало Иркутское Братство Борьбы с Апокалипсисом. Я-оно взяло по одному экземпляру, при оказии приобретя коробку бумажных папироносных гильз с тунгеститовым фильтром.

На Цветистой китайский мастер иглы и ножниц уже взял в оборот пана Велицкого, из дальних комнат доносились рычания и басовые замечания хозяина и щебет китайца. Пани Галина и панна Марта разложили в салоне образцы дорогих материй; тут же они заставили выразить мнение относительно той или иной расцветки, того или иного фасона из журнала. Едва-едва удалось сбежать в спальню, раздеться и спрятать бумаги с таблицами результатов зимназовых экспериментов, металлические плитки, две бутылки сажаевки и федоровские брошюры.

В то время, как пожилой китаец размахивал метром вокруг тела и твердыми пальцами колол под сорочку, пан Войслав, прия в себя после собственных мучений, закурил трубку и, ни с того, ни с сего, ляпнул:

- А вот Модест Петрович говорит, будто бы приглашение для вас – это делишки Победоносцева.

- Победоносцева? А мне казалось, будто бы они на ножах. Это зачем же Шульцу приглашать кого-то на обручение дочки ради удовольствия собственного врага?

- Ааа, тоже мне, врага; у обоих ледняцкие интересы. – Пан Велицкий усмехнулся в облаке табачного дыма, затем махнул рукой с трубкой и бриллиантом, и – фокус-покус – улыбка исчезла. – Модест Павлович говорит, что вы теперь у нас политический игрок, будто бы фигура самая противоречивая и радикал. Это кого же я пригрел у себя?

- Сына Мороза, разве не знали?

Прозвучало это резче, чем я-оно намеревалось. Так ведь он же шутил. (Шутил?) Эх, как бы сейчас пригодился крепкий зарядец замораживающей тьмечи... Ладони под перчатками ужасно горели, но портной как раз приказал поднять руки, так что стояло, словно дурак, и даже невозможно было ответить Велицкому понимающей улыбкой. И это ведь только второй день – но если и вправду так замерзнут...

Под конец выругало китайца и закрылось у себя в комнате. За окнами только монументальная темень, и в темноте – разрисованный радугами фонарём туман, а вот здесь – человек и его мысли. Та самая пора, когда всякая мелочь пробуждает иррациональное раздражение, окружающий мир прохаживается по чувствам костяной скребницей, трудно найти занятие для тела и ума, поднимаешь и опускаешь предметы, даже не глянув на них, вот и трешься об стены, о мебель, словно проснувшийся кот, топчешься в замкнутом пространстве. Та пора дня, даже ночи, когда усталость еще не принуждает ко сну, но делать уже ничего и не нужно, не нужно даже притворяться, будто что-то делаешь, после извлечения из людской среды. Нет ничего обязательного; все возможно. Что начать, что такого сделать? Ладони сжимаются и разжимаются, расцарапало бы все тело, донага. Мужик в таком состоянии ужирается допьяна или бабу колотит или совершает какие-нибудь громадные, жизненные глупости. Женщины занимаются домашней уборкой (или тихонько выпивают). Я-оно спрятало сажаевку высоко в комоде. Поставив лампу на шкафчик у кровати и завалившись на постель, открыло "Воскрешение". Толпы воскресших маршировали через Фабрику Бессмертия, по аллее под фантастическими машинами, за троном-пультом которых восседала высокая фигура, на этой серо-белой гравюре, в керосиновом свете – весьма даже похожая на доктора Теслу. Главным редактором "Воскрешения" был Эдмунд Геронтьевич Хавров. На каждой странице в упырно-пасторальных букетиках в нижней части листа из черепов вырастали цветочки. Воскреснем! Воскресим! Н-да, самое чтиво на сон грядущий.

Этого Николая Федорова охватила идея, но не так, как идея охватывает западного человека: когда он эту идею присвоит и рванет делать дело со всей силой, после чего либо достигнет намеренной цели (с большим шумом), либо понесет поражение (с таким же шумом), после чего вернется к нормальной жизни. Идея Федорова пришла к нему так же, как приходят все российские идеи: потихоньку, шепотком, из глубин черепа, вначале обращаясь к душе, только потом – к разуму, но с такой силой, с такой уверенностью правоты и истины, так что Федорову уже не было возможности вернуться к жиз-

ни, поскольку идея тут же закрыла собой всяческую жизнь, весь мир, всю Историю, и мелкого Федорова вместе с ними. Как и самые давние авторы летописей, хроникиры туманной древности Руси, что совместными усилиями до смертного своего часа творили в обособлении величайшие произведения, так и Федоров, поглощенный идеей, вовсе не собирался объявляться перед людьми; если что при жизни и опубликовал, то все под псевдонимом. Он не существовал в отрыве от идеи; это идея провозглашала себя через него. Жил он в аскезе, практически словно монах, то есть, в одиночестве, в бедности, среди книг. Незаконнорожденный сын князя Гагарина, по семнадцати рублевому жалованью – чиновник самого нижнего класса, всю жизнь он провел в библиотеке Румянцевского музея и в московском архиве Министерства Иностранных Дел. А прожил он семьдесят четыре года – и за это время прочитал все доступные ему в библиотеках книги (идея росла) и покрыл словами десятки тысяч страниц, излагая на них подробности своего Проекта. Только уже после смерти автора Проектом восхищались Соловьев, Толстой, Достоевский, величайшие умы России. Дело в том, что Николай Федоров запланировал инженерию бессмертия, его идеей была победа над смертью – но не только над смертью будущей, но и любой смертью, что когда-либо в безднах Истории произошла. Федоров составил подробный рецепт для воскрешения всего человечества, начиная с Адама и Евы.

...Основывался же он на геологии и гидрогеологии. Энергия, черпаемая из воздушных течений и передаваемая в различные слои Земли будет вызывать в них регулярные сотрясения, заменяющие нынешние разрушительные землетрясения, которые, все же, обеспечивают протекание вод, накапливающих частицы праха умерших. Наука, занимающаяся бесконечно малыми молекулярными движениями, которые могут быть замечены лишь обостренным слухом сынов человеческих, снабженных наиболее тонкими органами зрения и слуха, не станет разыскивать драгоценных камней или частиц благородных металлов, поскольку искателями будут не гуманисты, которым все, что есть родительского, отцовского, чуждо, но совершеннополые сыновья; они будут разыскивать молекулы, складывающиеся в существа, которые отдали им собственную жизнь. Воды, выносящие из внутренностей Земли прах умерших, станут послушны коллективной воле сыновей и дочерей человеческих, и они начнут реагировать под влиянием световых лучей, которые уже не будут спепты, словно тепловые лучи; не будут они и холодно-нечувствительными; химические лучи обретут способность выбирать, то есть, под их влиянием родственные элементы станут соединяться, а чуждые – отделяться. Подробность технологических проектов тем большая, чем дальше в технологии будущего заглядывают Федоров и его последователи. Поскольку существует граница восприятия человеческих чувств, операциями на молекулах отцов будут заниматься уже не непосредственно сыновья, но микроскопические машины, построенные сыновьями, и даже машины, построенные машинами, которые, в свою очередь, построены машинами, построенными сыновьями. Дело в том, что это внутреннее строение частичек, берущихся из праха умерших, доступна лишь невидимым для наших глаз микроскопическим организмам, да и то, при условии, чтобы те были снабжены такими микроскопами, которые бы расширяли поле их видения так же далеко, как наши микроскопы расширяют поле нашего видения. И вот "Воскрешение" помещает статью об этих автоматических червяках, иллюстрированную набросками микромашин, настолько малых, что видимых исключительно уже для иных миниатюрных машин. Червяки Федорова имеют форму геометрических фигур с дюжинами малюсеньких ручек-противиков; они немного напоминают гравюры микробов из атласов Зиги, немного же – автоматы, управляемые радием, описанные в отброшенных Военно-Морскими Силами США патентах доктора Теслы.

...Охваченный идеей Федоров обсуждает различные проблемы, стоящие на пути ко всеобщему воскрешению. Я оно улеглось поудобнее под лампой, все это было увлекательным, какими частенько бывают на первый взгляд чужие наваждения. Как найти все частицы, когда-то входящие в состав тел предков? Ведь они же были распылены в пространстве Солнечной Системы, и – быть может – в иных мирах. Следовательно, проблема воскрешения имеет теплуро-солярный<sup>38</sup> характер или даже теплуро-космический. И от внимания Федорова не уходит монументальная математика Проекта: если в одном моменте Истории мы соберем всех людей, которые когда-либо жили, даже не принимая во внимание будущие поколения, то мы никак не разместим их на одной Земле. Потому логической последовательностью Проекта Всеобщего Воскрешения является необходимость выхода за пределы Земли, овладения космическими безднами и открытия иных небесных тел. Обязанность воскрешения требует подобного открытия, ибо, без овладения небесными пространствами невозможно совместное сосуществование поколений, хотя, с другой стороны, без воскрешения невозможно и полное овладение небесного пространства. Но ведь это же очевидно! Вся вселенная станет объединением бесчисленных миров безграничных небесных пространств, объединением, совершенным тысячами тысяч воскрешенных поколений, поглощенных Землей в течение бесчисленных веков. Необходимо эмигрировать за пределы Земли, колонизировать небесные тела, брать во владение и подчинять себе звездные системы, галактики.

...Откуда же энергия для всего этого, какая технология позволит это? В предпоследнем номере "Воскрешения", на третьей же странице была помещена копия той старой фотографии, на которой Никола Тесла сидит под гигантскими молниями электрических разрядов. Ибо, исходным пунктом для технологии Воскрешения будет, по словам Федорова, громоотвод, поднятый в воздух с помощью аэростата, получающий грозовую энергию не только лишь, понятное дело, для поддержания людьми собственной жизни, но для возвращения жизни тем, которые ее утратили, но это всего лишь ничтожное начало регуляции сил природы. "Регуляция" – это слово-ключ; "регуляция", "порядок", "власть над материей". Вся жизнь вселенной представляет собой непрерывную грозу и бурю с различной степенью напряжения, поскольку сила, действующая во вселенной, еще не является силой, поддающейся регуляции. Исследовать природу – означает отыскивать способы разряжать электрическую энергию и преобразовывать ее из разрушительной, в энергию возрождающую, воскрешающую. Объединившись в управлении метеорологическим процессом, в котором концентрируется солнечная энергия, сыновья человеческие обретут способность преобразования извлекаемых из глубинных слоев Земли частиц

<sup>38</sup> Здесь: связанный с Землей и Солнцем.

праха предков не для пропитания потомков, но в тела тех, кому те принадлежали. И, в конце концов, сама Земля станет машиной, послушной в руках воскресителей. Исследования над электричеством, и, одновременно, над всей природой, лишь тогда будут высажены на твердой основе, когда мы сможем вводить Землю, как единое тело, в различные степени возбуждения и отмечать влияние, вызываемое ею, на иные миры. Единство метеорологического и космического процессов создает основание для расширения регуляции на всю Солнечную систему и другие планетарные системы с целью их возрождения и разумного овладения. Регуляция охватит все время – ибо, не только людей, живущих совместно в данное время, следовательно, подлежащих такой власти, но и всю Историю и людей, которые с нею ушли – а так же все пространство – не только Землю, но весь космос. Совокупность оживленных воскрешенными поколениями миров, остающихся в тесном, братском союзе, сама сделается инструментом воскрешения собственных предков.

...Дальше. Я-оно подкрутито фитиль. Дальше, дальше. Раз человечество овладеет силами и способностями, позволяющими ему реализовывать подобные предприятия, это уже не будет человечество в нашем сегодняшнем, вида и человечности, понимании. Невозможно быть одновременно и зрелым мужем, и ребенком; невозможно быть ангелом и вести жизнь бродяги. Возвращение жизни умершим создаст бессмертные существа, неуничтожимые, поскольку воспроизведение жизни из лишенного жизни существа лишь тогда станет не только возможностью (так было всегда), но и доказанной реальностью. Воскресители и воскрешенные направят свои усилия к иным идеалам. Человек боится смерти и делает все, лишь бы остаться при жизни – но к чему стремится уже бессмертное существо? Не только функции всех органов, но и морфология должна стать продуктом знания и воздействия, труда. Необходимо сделать так, чтобы микроскопы, микрофоны, спектроскопы и тому подобные инструменты сделались естественным, но и осознанным способом собственностью каждого человека, то есть, чтобы всякий имел возможность воспроизведения себя из наиболее элементарных субстанций, получая таким образом возможность пребывания повсюду. Следовательно, это уже будет панкосмическая цивилизация бывших людей, которые существуют не благодаря телу, но вне тела, поскольку они могут менять его по своему желанию, перестраивать, отнимать и прибавлять: вот это – здесь, а это – там. Окончательно будет стерта грань между материей тела и материей не-тела: всякая частица сможет быть употребленной автоматическими червяками для воспроизведения тела или же его створения. Задание людского рода состоит в преобразовании всего, что бессознательно, что образуется само из себя, что было рождено – в сознательное, светлое, реальное, распространенное и обычное, личное воскрешение. Понимаемое в самом буквальном смысле воскрешение тел именно потому столь важно, что, в конце концов, позволит вырваться из неволи того, что телесно, к тому, что духовно. Только лишь благодаря регуляции материи, так же и дух обретет полную победу над телом.

...Ибо, мотивом и смыслом всего Проекта и содержанием идеи, поглотившей Федорова, является Истина христианской религии, Слово Божье. Христос является Воскресителем, и Христианство, как истинная религия, является воскрешением. Библейские предсказания из Апокалипсиса не представляют собой и не могут представлять безусловного описания будущего. Ведь таким образом они отбирали бы у человека надежды и вольную волю. Вместо того, это план, представленный человечеству для реализации. Всех, кто к ним не присоединяются, федоровцы презрительно называют "пассивными христианами", "клиентами<sup>39</sup> религии", "ленивыми Лазарями<sup>40</sup>". Одни лишь федоровцы – это "активные христиане". Они не ожидают брезвально воскрешения тел – они трудятся, чтобы это воскрешение наступило. Сражаясь против Апокалипсиса, они исполняют божий замысел Истории. Как можно полнее, они берут пример с Христа: будут воскрешать, как воскрешал Он. Ибо, все мы воистину воскреснем, но не все будем измененными. Очень скоро, в мгновение ока, по звуку труб Страшного Суда (ибо вострубят они), и умершие восстанут без изменений, мы же будем изменены. Так, братья мои милые, будьте же правыми и несокрушимыми, обиляя всегда работой Господней, зная, что труд ваш для Господа не напрасен.

...Религия непосредственно связывается с наукой, наука является орудием религии. Ничего удивительного, что сторонники Федорова ездят по университетам, исследовательским институтам и отсыпают деньги на те или иные исследования. Особое впечатление произвели на них случаи "самодельного" воскрешения животных, извлеченных из вечной мерзлоты. Лёд, лёд – уже какое-то начало. Сам Хавров пишет в брошюре об экспериментах со смертельно больными добровольцами, которых кладут в ледяные ямы и вынимают оттуда через несколько десятков часов, когда те уже успевали замерзнуть в камень – встанут или не встанут? А, может, не встали они только лишь потому, что, несмотря ни на что, болезнь победила их окончательно? (Интересно, понимают ли федоровцы, что своеобразно повторяют тем самым мартыновские ритуалы?) Лёд, лёд – чем ниже температура, тем более полное замораживание. Они даже продумывали какие-то эксперименты с лютами. Гальванизировали замерзших зимовников. Господа в толстых шубах, с обнаженными головами и серые-зными лицами над патриаршескими бородами фотографировались рядом с открытыми могилами, выбитыми во льду, между ними стоял опиравшийся на доску застывший словно сосулька труп, тоже лютовчик, следовательно, сильно затмеченный. Идеальное сохранение тела является первым шагом на дороге к воскрешению этих тел. Я-оно погасило лампу, нажало на веки подушечками больших пальцев. Но разве не так звучит термодинамическое уравнение Нернста? Для температуры, стремящейся к абсолютному нулю, энтропия так же стремится к нулю. Но вдруг теслектрический ток и вправду достигает ниже известных температурных измерений... Сняло перчатки; покалывание перешло с ладони на щеки, лоб. Действительно ли нуль лорда Кельвина – это точка, в которой все процессы энтропии меняют знак? И с другой стороны этого нуля, в Царстве Темноты, откуда приходят только люты, там смешанное будет упорядочиваться, испорченное – исправляться, забытое – вспоминаться, подделанное – сделается правдивым, а умершие – они воскреснут?

<sup>39</sup> Здесь слово "клиент" применяется в смысле "прихлебатель", "нахлебник" – по образцу клиентов богачей Древнего Рима – Прим. перевод.

<sup>40</sup> Отсылка к новозаветной легенде о воскрешении Лазаря Иисусом.

Выглянуло в окно на золотистую Ангару, огненую от ламп саней, что по ней ездят, и цвета эти в мираже-стекле соединились в форме замерзшей реки; а снег – в небо; а небо – в крыши, а крыши... Снова проторло глаза. Полтора дня без откачивания тьмечи, и уже уверенность в едино-истине начинает въедаться в мысли. Ибо чувствовало в идеи Федорова ту истинность, следующую из самой ее тотальности, из всеохватывающего поглощения. Что же станет через неделю, месяц? Так еще и в мартыновца обратишься...! Тихонько расмеялось. Прах отцов. Труп, из могилы извлеченный; достойнейшие федоровцы вместе с ним. Возвратилось к брошюрам, вновь зажгло лампу. Нашло адрес редакции и в то же самое время местоположения Иркутского Братства Борьбы с Апокалипсисом. Улица Главная, 72; четвертый этаж. Ну, расположение и вправду представительское. Переписало адрес, положило в бумажник.

Редакция "Воскресения" могла себе позволить располагаться в таком шикарном месте, поскольку, как я-оно само увидело, заехав туда на следующий день после работы, в том же доме размещались конторы фишенштайновского общества "Импорт-Экспорт" и "Нового Зимнего Банка" (в котором Фишенштайн имел большинство акций). Впрочем, на втором этаже здесь размещались конторы байкальского отделения Страхового Общества Ллойда. Фишенштайн был заядлым конкурентом пана Велицкого, и Войлав часто о нем вспоминал (в особенности же, когда вбил себе в голову, что из бедного математика ни с того, ни с сего родится, словно бабочка из куколки, великий предприниматель):

- Фишенштайн – еврей, но еврей странный. Первое, что он не держится с евреями – держится с христианами, все его сообщники и совладельцы люди крещеные. Второе, необыкновенно он щедрый: это в скольких же бесприбыльных проектах топил он деньги! И это же я не говорю о какой-то богоугодной филантропии. Третье, ученый в Писании, значит, обладает огромным уважением среди раввинов, главный основатель иркутского бет-хамидраша<sup>41</sup>. И чем больше он от них отодвигается, тем сильнее они его ценят. Вот и рассудите такой парадокс.

Видимо, нужна большая тонкость в расчетах и прокурорский, разбесовский глаз, чтобы решить уравнение Фишенштайна. Любопытство, какую такую идею видит набожный еврей в идее Федорова. А может он сознательно живет во лжи? Чисто ради каприза он не финансировал бы Братство Борьбы с Апокалипсисом столь щедро. Другое дело, что он мог себе это позволить: по Иркутску ходили слухи о фальшивой скромности Фишенштайна, якобы, он сумел накопить пять состояний, которые затем разместил за пределами Сибири, в швейцарских да итальянских банках, в германских шахтах, в недвижимости (якобы, он был хозяином целого квартала доходных домов в Нью-Йорке). Что же, каждый богач ходит среди людей в ореоле лжи о богатстве раз в десять большем, особенно те, что из моисеевого племени.

На Главной стоял лют, пришлось заехать и зайти с тылу. Сразу же подумало, что здание вообще никак не используется; на крыше тоже расположился ледовик. Лишь потом, со второго раза, в затыкете вечерних теней, отметило единоправду формы: это вовсе и не был ледовик, а только его архитектурное изображение, то есть, маскарадная скульптура, закрепленная на вершине крыши.

Двери редакции "Воскрешения" я-оно застало закрытой. Из комнаты рядом как раз выходил человек с охапкой ржавых железок; остановился, глянул, загрохотал и спросил:

- Господа в Братство?

Слово за слово, стало ясным, что он тоже федоровец, Арский Яков Юстинович, к вашим услугам. В редакции никого уже не будет, но вот Эдмунта Геронтиевича наверняка можно застать в фирме, где он занимает ответственную должность заместителя директора – вооон туда, налево от лестницы. Если дело, конечно, достаточно важное.

Как и можно было предвидеть, заместитель директора Хавров и не думал встречаться в столь позднее время с заранее не договоренным посетителем. Тогда быстро начеркало пару предложений на листочке и переслало ему через клерка. Хавров – лютовчик, лысеющий очкарик, не очень-то импонирующего роста, зато в двубортном костюме из наилучшей английской шерсти – появился буквально через минуту.

- Так это правда? – тихо спросил он, подняв записку в руке. – Что вы можете привести нам сюда доктора Теслы?

- Могу вас с ним познакомить и гарантировать, что он выслушает вас с величайшим вниманием, это так. – Сняв мираже-очки, протянуло руку. – Бенедикт Филиппович Герославский.

Тот тут же пожал ее. Никаких ассоциаций у него не возникло; я-оно это четко видело, мысли и взгляд собеседника блуждали где-то в иных местах.

- Вы говорите, будто бы можете. И что бы вы за это хотели – что? Нашу благодарность, пересчитанную в рубли?

- Знаете что, я вас оставлю с этим предложением, вы послите, разузнаете что и чего, а потом поговорим.

Я-оно направилось к выходу.

Через мгновение господин Хавров выскочил в коридор.

- Погодите! Минуточку! Как вы – извиняюсь – сказали? Герославский?

Помня методику доктора Мышилнского из Клуба Сломанной Копейки, отрицать ничего не стало, стало лишь молча, целясь в него резким, гневным взглядом и повторяя про себя, словно заклинание: мороз, мороз, мороз, мороз. Что, видимо, подействовало, либо сам Эдмунд Геронтиевич уже принял решение самостоятельно, поскольку, больше уже не колеблясь, что-то крикнул на прощание клеркам и повел в ту комнату, из которой Арский выносил ломаное железо. Только там вовсе не был какой-то ремесленный склад, но клубное помещение, замечательно меблированный и устроенный зал, с живописными картинками и электрическими лампами, с печью Дауэрбрандта в углу и высокими окнами, застекленными обычными стеклами. Те дрожали в ритм барабанов глашатаев. Я-оно повесило шубу и опустилось в удобное кресло. Господин Хавров позвал прислугу. На столе стояла посуда после обильного полдника, пепельницы и чашки. Паркет у печи мокро блестел.

<sup>41</sup> "Дом обучения" (евр.)

- Говоря по правде, мы давно уже думали постучаться к вам, - просопел Хавров. – А тут, вижу, Магомет, гора, гвы, гвы. – Он смеялся так, словно лаяла комнатная собачонка. – Вы знаете, гасладин Ярославский, я послал доктору приглашение, судя, что он слышал о нас; не знаю только...

- Не слышал. А из подобного приглашения самые разные вещи можно вычитать, страшные и ужасные.
- Ну да. Мы тут советовались по данному вопросу. Стоит ли против интересов наших выдающихся членов...
- Господин Фишенштайн из тех, что станут защищать лютов собственной грудью, так?

- Было решено, что уж если доктор Тесла сам по себе знает, то придет. Не пришел. – Прислужник, убрав балаган со стола, поставил самовар; Хавров пересел поближе к чайной машине, начал переставлять чашки, засыпать сущеный чай, перебирать кусочки сахара. Сибирские церемонии заварки чая частенько заполняли коммерческие встречи, пан Велицкий утверждал, что больше сделок заключил за чайным столом, чем с водкой. Эдмунд Геронтиевич налил по первой чашке. – Прошу. Вы, конечно же, понимаете, насколько важно для нас сотрудничество с доктором, раз уж так удачно сложилось, что он приехал в наш город. Его показ на реке, расплавившийся лют – и то черное электричество, которым он лята обработал – никто ни о чем ином и не говорит. Николай Федоров, если вы знаете его работы, он предвидел, что...

- Вы хотели бы использовать теслэлектричество для опытов по воскрешению людей.

Хавров опустил глаза, хлебнул горячего чаю; слегка покраснел, то ли от чая, а может – может и чуточку стыдясь Сына Мороза.

- Вы же можете нам и не верить, – произнес он. – Я лишь прошу дать возможность проверки гипотезы. Это так немного, если приравнять просьбу к окончательной цели: вернуть к жизни каждого человека. Год, столетие, тысяча лет бслужданий, поражений и насмешек – какое значение это имеет? В сравнении. – Он отхлебнул еще чаю. – Когда на другой чашке весов. В качестве альтернативы. Если. Фффф. Еще?

Действуя в соответствии с принципами сибирского вежливого поведения, перевернуло опустевшую китайскую чашку вверх дном, сверху положило кусочек сахара.

- Прошу прощения, если я дал повод для подобного впечатления. Я вовсе не смеюсь над вами. Кто знает, возможно, вы и правы, выслушивая решение в теслэлектричестве. Поговорите с доктором, вы сами увидите, что его ум открыт.

Уборщик вытирая лужу под печкой, я-оно подождало, пока он не выйдет с тряпкой..

Ум Николы, наверняка, открыт, он ведь и сам считает, что был возвращен к жизни, благодаря откаче Тьмечи; если в подходящий момент заразить его идеей Федорова, то, как минимум, неделю он будет размышлять только лишь об этом. Неделю, возможно, месяц, а то и два, если удача улыбнется, и Хавров *et consortes* окажутся достаточно проворными. А это должно будет в значительной степени задержать строительство байкальского Молота Тьмечи и те опасные эксперименты с резонансом волн на Дорогах Мамонтов.

Хавров снова предложить подлить; я-оно вновь отказалось.

- Мне хотелось бы попросить услугу за услугу.
- Слушаю.
- Быть может, это господин Фишенштайн, скорее, захочет помочь мне.
- Если речь идет о финансовых...
- Нет, нет. Речь идет о некоторых опытах, которые, как мне кажется, вы уже проводили. Не знаю, кто конкретно, но мне известно, что господин Фишенштайн заплатил за врачебную опеку над людьми, которые в этом эксперименте принимали участие.

- Ага.

Эдмунд Геронтиевич выпрямился, поправил очки, отвел забулькал вокруг его шеи, охваченной жестким воротничком.

- Я вполне понимаю, что это не были, да и не могли быть, предприятия вполне законные; вы до их пор обязаны сохранять определенную тайну, господин Фишенштайн мог бы быть впутан в весьма неприятную аферу; человек с его положением не позволяет подобных компрометаций. Вы же читателей "Воскрешения" информируете не обо всем. Труп из мерзлоты вытащить, смертельно больных по их просьбе в лед уложить, собак гальванизировать – это еще как-то пройдет. Но вот увенчанное смертями массовое отравление тунгтитом?

- Еще?

- Спасибо.

Тот налил.

- Вы подождите минутку, пойду спрошу.

- Вы там распорядитесь дать чего-нибудь горячего моему человеку.

- Канешна.

Он пошел спросить, только продолжалось это дольше минутки, и когда вновь появился, то появился не сам, и даже порог салона Братства переступил не первым, но Авраам Фишенштайн собственной монументальной особой, подпирающийся тяжелой дубиной, под бурной седой гривой и с гипнотическим мираже-стекольно-тунгтитовым глазом, отbrasывающим радужные отблески из под насыпленной брови. Я-оно уважительно поднялось с места. Вошедший слегка кивнул. Слуга подвинул ему кресло. Еврей подвернул полы атласного халата, сгорбился, левой рукой прижал бороду, правой зажарился толстенной тростью о стол, и после того уселся; я-оно присел напротив.

Глянуло вопросительно на Хаврова. Тот никакого знака не подал.

- Господин Фишенштайн...

- Погоди, – низким голосом прогудел миллионер, – погоди.

Что же это он, так устал, что теперь несколько минут должен молча отдохнуть? Он же не был таким уже и старым. Не залыхался. Сидел и глядел здоровым глазом, мертвый глаз отбрасывал в салон калейдоскопические огоньки. Подумало, что, когда на небе Черные Зори, эта его тунгетитовая зеница светится словно серебряный фонарик из-под поднятой веки, а если глаз веком прикрыт, тогда розовым пятном. А может и нет, быть может, достаточно плотью ее от тьвыта прикрыть, как на сеансе княгини Блуцкой в вагоне Трассиба прикрыло Гроссмейстера. И на что же это еврейглядит своим судейским, жреческим взором, потягивая себя за пейсы? На Сына Мороза, ясное дело, на салонное развлечение.

- Гаспалин Фишенштайн, тут дело такое, как вам господин Хавров уже наверняка рассказал: для вашего Братства имеется оказия получить доктора Теспу, для меня же – научную информацию про ваши эксперименты. И вот вопрос к вам – про тот случай, в ходе которого несколько мужиков от тунгетитового отравления умерло в больнице Святой Троицы.

Авраам Фишенштайн стукнул дублем.

- Погоди, погоди. – Он кивнул Хаврову; тот склонился, шепча что-то на ухо. Фишенштайн слушал, пережевывая невысказанные слова. Заскочил обеспокоенный конторщик с бумагой в руке, с карандашом за ухом; Хавров злобно рявкнул. Господин Фишенштайн поднял пальц. Эдмунд Геронтиевич вышел; конторщик вышел, уборщик вышел. Брлуммм, брлуммм – били бурятские бубны. Еврей откашлялся, вздохнул.

- Как-то пришел молодой человек к мудрецу, – завел он басом. – Ребе, спрашивает тот, двух девушек люблю, какую из них взять мне в жены? А которая из них тебя любит, спрашивает ребе. Эта говорит, что любит, и другая говорит, что любит, отвечает молодой человек, но откуда же мне знать, любит ли на самом деле. А которая из них лучше куховарница, спрашивает ребе. Одна – ужасно, отвечает молодой человек, а вторая – паршиво, но обе выучится клянутся, но откуда же мне знать, выучатся ли. А которая из них верная и послушная, спрашивает ребе. Вай, ребе, сейчас-то каждая в огонь прыгнет и света белого кроме меня не видит, а вот через десять, двадцать лет – откуда мне знать! Ребе покачал головой и сказал: Бери в жены наиболее некрасивую. Но почему же некрасивую, дивится молодой человек. А на основании справедливо-го счастья, поясняет мудрец: одну ты и так оттолкнуть обязан, а та, что красивее, легче найдет себе другого мужа. Тот не понял.

- И я не понимаю.

- А вот подумайте,уважаемый, каким прекрасным был бы мир, если бы все люди действовали по этому принципу! – вздохнул Фишенштайн. – Как замечательно велись бы дела! Как все мы к богатству прямым путем доходили бы!

- Ах! Честное слово даю, господин Велицкий с моим тут посещением ничего общего не имеет, и вообще он не посвящает меня в свои коммерческие планы; я ему ни кум, ни сообщник.

- Вы так говорите.

- Говорю.

Еврей захлопал ресницами. Замерзали радуги.

- А несчастный Фишенштайн обязан поверить вам, что Велицкому и в голову не придет неудобного ему еврея в следствие впутать, о чем тут же раз голосят газеты всей империи в таком вот тоне: чудовищное убийство христиан; евреи, что Христа распяли, православный народ убивают, потравили мужиков наших добрых на Байкале, и скоро уже в городе травить и поджигать начнут, упаси Боже.

- Господи-Иисусе, да нет же; Велицкий – не такой человек, да и я сам словечка никому не пискну, крестом святым могу поклясться!

- Поклянется? – Фишенштайн поднял руку над головой. – Уже поклялись. Замерзло! – Он опустил руку, стукнул своей тростью. – Это правда, сын Батюшки Мороза к Аврааму Фишенштайну пришел. – Он улыбнулся. – Ну, и на что вам знать те вещи, про которые спрашиваете?

- Я разыскиваю отца, господин Фишенштайн, я должен открыть, как он спустился на Дороги Мамонтов. Эти ваши добровольцы – ведь вы же взяли только добровольцев, полагаю – в какой форме они принимали тунгетит? Какими порциями? С пищевой принимали? Им в жилы вводили? При какой температуре? Были ли это зимовники? Выжил ли кто? Как проходила болезнь?

- К сожалению, все кончилось полным поражением. Таак. – Он начал качаться в кресле вперед и назад. – Эдмунд Геронтиевич покажет вам заметки. Тут вам следует знать, что подобные попытки я запретил – пока я здесь деньги зарабатываю, все вначале будет испытываться на животных.

- А Федоров вообще пишет про животных? Что-то я не вспоминаю про них на Страшном Суде у святого Иоанна.

Тут Авраам Фишенштайн опять замолчал. Отвернулся радужный взгляд. Брлуммм, брлуммм, просчитало с дюжину ударов глашатаевских, прежде чем еврей снова заговорил; но и тогда он говорил не для того, чтобы ответить и привлечь внимание другого человека – сучковатые пальцы были стиснуты на трости, глаза прикрыты веками, неглубокое дыхание терялось в бороде – говорил он в сторону.

- Был раньше один такой сумасшедший в Иркутске, Пегнар, Алексей Пегнар, родом из Европы не от нашего и не от русского отца. Что он делал? Он людей четвертовал. Не очень скоро это стало явным, но как только стало, собрался народ под тюрьмой, и ничего власти поделать не смогли, разорвали Пегнара прямо на улице. Вот как Пегнар кончился, что нет и могилы, и прах его скоро не сойдется под землей.

...Пегнар хаживал на север, к самому белому океану, в земли низкого Солнца. Дело известное, как пойдешь один в те земли, умом пострадаешь всяющую ночь бессонную – кто ж там с ума не сходил, вай, старые капитаны с ума сходили, что по Кругу до Архангельска на торговых судах идут, и купцы серьезные, что там говорить про заблудившихся охотников. Пегнара метель остановила, дурак, бросил он животных, бросил запас. Но не умер – ага, потом, уже в Иркутске одной женщине признался: нашел там во льду, под снегом других несчастных, какую-то палатку или юрту засыпанную, замороженную, с людьми внутри. Так и пропитался, то есть, ледовые трупы харчую, вон оно как.

...Потом, когда спасли его, вернулся он на Байкал, где безумие уже сильнее в голову ему постукивать начало. В сарае над озером держал он замороженные людские конечности, и тела четвертованные, и головы на льду. Иногда он их съедал с аппетитом, любуясь закатом чудным, а иногда использовал по-другому: изготавливая ледовых големов, то есть, складывая новых людей, франкенштейновских. Бродягу одинокого, каторжника беглого, беднягу безымянного, а то и инородцев бесчисленных и кто там ему еще подвернулся в безлюдье, в Приморских горах – четвертовал, раскладывал, а потом складывал до кучи; но уже по-другому. Вай, Боже, чего там судейские потом у него не обнаружили: замороженные жертвы с четырьмя, с шестью руками, или там два людских туловища вместе, с головой на конце и тремя парами ног на плечах да на тазовых костях прикрепленными; или цельные цепи из конечностей на суставах, или ожерелья из шейных позвонков, а то и детские трупики на ногах здоровенных мужиков, или там женские прелести меж лап бурятских, отвратных сунутые. Вона какие создания богохульные делал для себя Алексей Пегнар.

...Когда же его на следствии спросили, ответил он, что жизнь им новую таким вот образом давал, ибо сам он – Художник Силы, Инженер Тела, Открыватель Белых Гармоний. И тут же ему что-то в голове стукнуло, и он тут же обратное говорит: будто бы это не он, будто и сам он вовсе не Алексей Пегнар. Это ничего, что все его распознали – он не Пегнар. Кто же, затем? Он – создание пегнаровское, новое, с головой самого Пегнара другими мастерами тел замороженных на шею насаженной, но не урожденный Пегнар, не Пегнар! И когда толпа вот так порвала на части, вскоре легенда по Иркутску пошла: распался, потому что недостаточно сильно замороженным был; вот какая байка.

...А те добровольцы-зимовники, что к нам пришли, когда господин Хавров объявление выставил – то были и самые неподдельные мартыновцы, были сонные рабы, которым во сне уже приснилось, будто в ходе христианского причастия они ели и пили тунгетит, но была парочка из Детей Пегнара, зимовники, бело-сине-багровые от давних и свежих обморожений, отупевшие от Черных Зорь, клянущиеся всеми христовыми святыми, что они не люди, от женщин рожденные, но старые пегнаровы склеенные куклы, только нынче трупными докторам заново оживленные и с тайными императорскими приказами в ночь высланные – и в доказательство показывающие шрамы от обморожений на соединениях конечностей представляющие, во весь голос молящие, чтобы им дали тунгетит, чтобы спасти таким образом от смерти, то есть – от распада, ибо лишь одна только более сильная заморозка обеспечит им выживание в их новой форме, форме големов. И вот приняли они тунгетит и замерзли во веки веков. Мы ждали сорок дней, а потом еще сорок по моему настоянию – но ни один из них к жизни не вернулся, нет.

...А сегодня я так вот рассуждаю: а что мы лучшего по сравнению с Алексеем Пегнаром сделали, а? Господин Хавров страшно злился, только и заупрямился, чтобы везти их к врачам. Раз все будут воскрешены, означает ли это, будто они вообще не умерли? Тогда, как могут они быть воскрешены, раз вообще не умирали? Врачи говорят о людях, которых возвратили к жизни после получасовой ледовой смерти, когда даже сердце останавливалось. О скольких подобных утопленниках, вытащенных из проруби, которые поначалу ни пульса, ни дыхания, ни тепла человеческого не проявляли, о скольких подобных воскрешениях мы слышали? Полчаса – или половину дня – или даже половину месяца? Смерть это – или нет?

...Животные – животным уже Яхве дал подобное бессмертие. Видел я жучков и мушек гнуса сибирского, извлеченных из льда, что был старше мамонтов, которым тысячи и тысячи лет, как они из влаги отрясаются, от обморожения, крыльшки чистят – и взлетают к Солнцу нашего времени. Где-то между червяком и человеком, тут прячется тайна смерти и воскрешения. Со стороны человека или со стороны животного, так или иначе, но мы доберемся до нее, должны добраться.

Он вздохнул, вновь покачался вперед-назад, поднялся.

Я-оно провело его к двери.

- Так вы ничего не имеете против доктора Теслы.
- А почему бы я должен был что-то иметь?
- То, что он работает на Оттепель, и вам это может стоить всего состояния.
- Лишь бы Проекту Воскрешения помог, нам помог; впрочем, пускай работает над чем желает, какое до того дело одураченному еврею?

Я-оно никак не могло разрешить этого уравнения, единоправда Авраама Фишенштайна оставалась закрытой; "Б" не следовало из "А", и два плюс два не равнялось четырем.

Господин Хавров, должно быть, отметил подобную сконфуженность; он заверил, что все записи по проведению фатального эксперимента будут доставлены как можно скорее. Задумчиво покачало головой.

- А его глаз, - спросило, уже надевая шубу, вы мне простите, если...
- Глаз? Он потерял его в Зиму Лютов, ему его выжгло в иркутском пожаре.
- А!

Не на следующий день, и даже не через день, а только в пятницу, вечером, а точнее – ночью с пятницы на субботу, в канун губернаторского бала, тогда только наконец все так организовалось, чтобы можно было безопасно добраться до могил зимовников, отравленных федоровским тунгетитом. Господин Щекельников созвал еще трех громил, пригодных к лопате и лому; мартыновский могильщик Ерофей пообещал, что на кладбище никого не будет. А мороз вообще молочный стоял; плотный туман блокировал улицы и площади Иркутска; стены воздушной влаги со всех сторон замыкали туннель, пробиваемый санями, что мчались во мраке через Город Льда; на этих стенах размазывались цвета фонарей, те же, в свою очередь, перетекали в очках на землю, на небо, на спину возницы и на силуэты плечистых мужиков, закутанных в шкуры под шкурами поддетье, под шубами и тулупами, делая их похожими, скорее, на каких-то чудищ из бурятских сказок. Бррумм, бррумм, бой барабанов несся далеко; извозчик управляет упряжкой на слух. На Иерусалимском Холме были похоронены семеро из девятнадцати добровольцев, принявших участие в эксперименте; часть умерла еще до того, как их

довезли до больницы. Въезжая на кладбище, выбилось над поверхностью туманного моря – в мираже-стекла ударили наземные созвездия холодных огней; керосиновое пламя, разожженное на могилах федоровцев. Вышло на снег; твердый фирн скрипел под сапогами; господин Щекельников подгонял работников; это был единственный голос, выделявшийся над треском мерзлоты. Снег не падал, ветер можно было выдержать. Несмотря на толстый шарф, холодное дыхание вонзалось в горло ледяным стилетом; потому дышало краем рта, завернув язык на зубы. Яков Юстинович Арский махал от первой могилы, где Ерофея уже гасил костер, разрывая растопленную почву ударами лома. Арский должен был проследить, чтобы федоровцев вновь захоронили без ущерба их посмертному достоинству. Только я-оно подозревало, что он здесь очутился, в основном, по причине возбужденного в Эдмунде Геронтиевиче Хаврове любопытства; не выдало ему, чего такого надеялось здесь открыть, так что он подозревал все, что угодно. Арский разок попробовал отозваться, заговорить над могилой – подавился на морозе и несколько минут боролся с конвульсивным кашлем. Господин Щекельников забрал одного из рабочих и отправился раскапывать следующую могилу. *Luna crescents<sup>42</sup>*, гораздо светлее, чем в Европе, висел над самым западным горизонтом, за Триумфальной Аркой, за городом и Ангарой, золотая обледенелые крыши и спины лютов, торчащие над ванильным желе тумана. Ломы ударили в дерево; здесь гробы укладывали совсем неглубоко. Амбалы вонзили лопаты между досками, поддели крышку, господин Арский склонился над ямой с лампой в вытянутой руке, из могилы плеснули чернильные тени. Труп лежал в гробу словно живой, то есть, замерзший сразу же после смерти, без малейших признаков гниения, в костюме, покрытом инеем и с большим латинским крестом в белых пальцах; ну, этого как раз ожидать и следовало, здесь доисторических воинов выкапывают еще с мамонтовым мясом в зубах. Показало жестом: закопать обратно. Прошло ко второй могиле. Вонь керосина лезла в ноздри. Господин Щекельников, опираясь о вырванный из земли крест, курил папиросу, с каждым дымком открывая и закрывая рожу щетинистой шкурой. Семеро приняло тунгетит в порошке, в черноаптечной тинктуре, отмеренном по половине фунта, что является весьма дорогостоящей порцией (и это на несколько порядков больше того, что кладут в сажаевку или вдыхают из тьвичек). Запили водкой и отправились спать. Семеро приняло тунгетит, испеченный с хлебом, нарезая себе ломти, чтобы набить брюхо; их этих семи двое больше всего мучилось, наверняка, те, что в неравном разделе меньше всего тунгетита получили. Пятеро приняли ингаляцию тунгетита, что горел в кадильницах целую ночь; это были те, что умерли первыми, задохнувшись, выплевывая черную кровь. Ерофея отбил крышку второго гроба. Федоровец – труп – спит, словно живой. Засыпать обратно! Переходило так от одного костра к другому. Федоровцы не пробовали принявших тунгетит бедняг обрабатывать теслектическим, накачивать тьмечью – но ведь при том ни Аэростатный Немой, и Алистер Кроули, ни отец не знали принципов черного электричества доктора Теслы, не имели доступа к его машинам. Лопата – гроб – труп – засыпать. И снова поворачивая монету другой поверхностью – ведь белое электричество тоже проявляло себя в природе, прежде чем мистер Фарадей первым построил динамо-машины и электродвигатели. И есть немногочисленные люди – как тот Август Фонделя из-под Житомира – рожденные с бело- или черно физическими свойствами, сдвинутые на самые концы шкалы, как и во всей природе нормальным является то, что в любом распределении посреди шкалы накапливается большинство: достаточно мало имеется карликов и великанов, намного больше людей ни слишком высоких, ни слишком низких; крайне мало абсолютных кретинов и несомненных гениев, гораздо больше серых людышек, предназначенных для того, чтобы прожить банальной жизнью. Не так, как Кроули. Не так, как отец. Лопата – гроб – труп – засыпать. Но здорово было бы, чтобы монетка еще раз блеснула Луне: как это должно было бы отразиться в мелочах? Люд – это перемороженный гелий, самовольно перетекающий сквозь наименьшие щелки, по линиям стока и вверх. Но человек? Человек – человек представляет собой мясо, кости, постоянное тело, он не перетечет сквозь глину и песок на Дороги Мамонтов – здесь мы имеем конкретный организм, животный, и рядом – геологические формации. Не может такого быть! Какая физика, какая биология позволяет такое? Логики, логики в этом нет! Лопата – гроб – труп... Нет трупа. Яков Устинович чуть не свалился в могилу, склонившись за фонарем. Господин Щекельников подцепил крышку и вскрыл гроб, и тот оказался пустым. Арский подал фонарь Чингизу, тот подсветил ниже. Остался только перемороженный мусор: земля, щепки, лохмотья черной ткани. Крышка крова без повреждений, а вот дна просто нет. Господин Щекельников закурил папиросу, амбалы выдыхали затвертью, лунный свет разливался по кладбищу, снегу, туману и всему Городу Льда. Я-оно подняло крест, прочитало имя федоровца: Иван Тихонович Копыткин. Умер и недавно сошел на Дороги Мамонтов.

## О Дочке Зимы и девочках прекрасных, о войне духа с материей и тяжкой любви к телу

- Шестой день.
- Что это вы там бормочете?
- Замерзну.
- В танце быстро разогреешься.
- Вот тут уж извиняюсь перед панной: танцор из меня никакой.
- *Sans blague<sup>43</sup>*, вы же танцевали с Еленой в Экспрессе.
- А, тогда у меня была больная нога.

*Mademoiselle* Филипов надула губки, неодобрительно глядя из под снежно-светлых ресниц.

- Господин Бенедикт ведь пообещал, что больше не станет валять дурака!
- Я и не валяю, - поклялось я-оно, прижав руку в белой перчатке к белой же манишке фрака. – Я никогда и не валаю.

<sup>42</sup> Здесь: полумесяц (лат.)

<sup>43</sup> Здесь: не говорите глупости (фр.)

Девушка пырнула в грудь сложенным веером, словно стилетом.

- Ну зачем вы со мной так поступаете? Не можете, хотя бы сегодня – как нормальный человек? Сами меня попросили, а теперь...

Галантно поцеловало ее ручку в кружевах.

- Да что меня молнией ударило и в уголь спалило, если незамедлительно дюжина кавалеров к вам не подойдет!

Кристина огляделась по хрустальной галерее.

- Так ведь я же никого не знаю... - неуверенно пролепетала она.

Но и вправду, Кристина Филипов смотрелась великолепно – с золотистыми, высоко поднятыми волосами, охваченными легкой, серебряной диадемой, с высоко поднятым бюстом под открытыми плечами, с сильно затянутым лифом, как это замерзло в моде девятнадцатого века здесь, подо льдом, плотно стянутая в талии бальным платьем из шелка самого благородного шелеста. Зарозовевшаяся, под *rouge*<sup>44</sup> бального *taquillage*<sup>45</sup>, более всего она походила на пухленького подростка, не до конца еще расцветшего в женщину – дебютантка на первом своем балу.

Из-за галереи на паркет холла, бального зала и открытых комнат выплывали очередные пары; *mademoiselle* Филипов выглядывала, чтобы присмотреться к ним с высоты; фоном была заснеженная тайга в лунном сиянии. Дворец генерал-губернатора располагался в тридцати верстах от Иркутска, в губернском имении, на сотнях паутинных зимизовых перекладинах – подвешенный в небе между тучами и звездами, где никакие люты не могли достать графа и его гостей. Сюда въезжали по серпантину пандуса длиной в половину версты, с таким незаметным уклоном, чтобы олени без труда могли затянуть сани по льду. По большей части дворец был выстроен из чистого мираже-стекла – стеклянными были пол и стены, по крайней мере, первого этажа. Когда внутри зажигали все лампы и свечи, как сейчас, могло показаться, что ночная тайга до самого горизонта мерцает радужными и калейдоскопическими отблесками.

- А вон то – там не княжна Татьяна? А граф Шульц – вы узнаете графа Шульца, господин Бенедикт? – шептала *mademoiselle* Кристина, незаметно показывая из-за веера на ту или иную особу. – А господин Победоносцев, похоже, и не появится? Но вчера в гостинице я слышала, будто бы в Иркутск специально прибыл генерал Мерзов со свитой. *Il'y a du monde ici!*<sup>46</sup>

- По крайней мере, Сибирь.

Возможно, по причине шестидневного поста – очередная уверенность единоправды блеснула в голове: резкая, ослепляющая.

- Вы никогда еще не были на балу. В нью-йоркском обществе вы вращались... в качестве кого?

Девушка вновь вспыхнула.

- Ах, так вы тоже шли на пари, или я не права? В поезде, как все. "Его дочка, внучка или любовница?" – Кристина вздохнула так глубоко, что грудь чуть не выскочила из декольте. – Хорошо, я скажу вам, где тут правда...

Я-оно как можно скорее охватило ее вокруг талии, под которой девушка была защищена китовым усом кринолина, повернуло, кладя белый палец ей на губах, тем самым закрывая ей ротик, Та сделала большие глаза.

- Тсс! – зашипело. – Ничего вы мне не расскажете! Ничего подобного! Не хочу знать. Неужто я не мог расспросить самого Николу? Но нет! Буду защищаться до последней капли тьмечи! О женщине – ничего конкретного, вы понимаете?

- Н-но, но... – заикнулась Кристина, – почему же, нет?

- Доктор Конешин был прав, это мужской недуг.

- Что вы говорите?

- Правду. – Я-оно отступило от балюстрады. – Пошли, пора представить вас обществу.

- И вы станете меня представлять? – она вновь выдула губки, инстинктивно поправляя бальные перчатки и складки платья, сзади сходящиеся под скромный турнюр.

Подало ей руку.

- Для этого события я даже напечатал для себя визитки. Ну нет, не я сам. Панна считает, что я не изучил предварительно их обычаем?

- Жаль только, что по академическим учебникам нельзя научиться танцевать, – вздохнула девушка, спускаясь по спирали лестницы на мираже-стекольный пол, то есть, на небо над тайгой.

- Если бы подобным вещам можно было выучиться по книгам, мы были бы только тем, что прочитали, панна Кристина, и осталась бы небольшая разница между письменной инструкцией к человеку и человеком живым. Разрешите представить: господин адвокат Модест Павлович Кужменьев, приятель двора; мадемузель Кристина Филипов.

Девушка искусно присела в книксене. Старик во фраке, поддерживаемый лакеем в ливрее дома Шульцев, оставил поцелуй на ручке.

- Прелестная, прелестная, – забормотал он из глубин бороды. – Воистину, Бенедикт Филиппович, вы несправедливы, дайте-ка поглядеть на эту улыбку, дитя мое, ах, еще немножко тепла на старые кости...!

Девушка зарумянилась словно розочка, что лишь прибавило ей очарования.

Адвокат махнул тростью смуглому офицерику в парадном гвардейском мундире, который как раз кланялся у двери двум салонным злюкам, выступающим в сверхтяжелом весе, и которые совершенно заблокировали дорогу остальным гостям.

<sup>44</sup> Здесь: румяна (фр.)

<sup>45</sup> Макияж, грим (фр.)

<sup>46</sup> Тут собрался весь свет (фр.)

- Мне тут показалось, что никто лучше, как наш Аника-воин после английских школ – ну, иди же сюда, наказание божье, снова его увели – поручик Андрей Авивович Ростоцкий из Преображенского полка – *mademoiselle* Филипов, прямиком из Америки через Европу к нам прибывшая, по приглашению Его Императорского величества, так? – но это все уже, дитя мое, ты сам ему расскажешь – позаботься о девушке, Андрюша – потому что я попрошу гаспадина Ерославского в сторонку, уфф, погоди, погоди...

Он достойно отбыл в комнату рядом, ассирируемый уже двумя лакеями. Я-оно бросило многозначительный взгляд – заметила ли? Девушка уже кокетливо поглядывала на поручика Ростоцкого, при этом чудно краснея, а тот, пристойное животное, бородка-испанка и беленькие зубы, очаровывал ее английскими комплиментами, скорее всего, совершенно откровенными.

Модест Павлович устроился на оттоманке, обложенной подушками, под коллекцией волчьих голов, подвешенной здесь на мираже-стекольной стенке; сразу же за ней проплыval новый поток гостей, черные фраки, белые манишки, двухцветные мундиры, все это пестрит орденскими звездами и лентами, дамские туалеты тоже цветастые – золото, бриллианты, золото, бриллианты: наивысшая аристократия и буржуазия царской Сибири.

Адвокат застучал тростью по полу – далеко под его ногами, над зимне цветным лесом, ветер взбивал из снежной пыли гоголь-моголь; один оборот спиральной метели на пару верст.

- На галерее были?

- Там его нет.

- Тогда ожидайте у лестницы. Это ведь именно такой человек...

- Хмм?

- Встанет в тени, будет присматриваться сверху. На галерее или за колоннадой, опять же, сможете увидеть его, когда он пойдет через холл.

- А Ангел?

- Ангел еще не пришел, мне должны шепнуть, когда появится. А может и вообще не появится; Победоносцев прислал свои поздравления вместе с извинениями.

- Тогда зачем им я?

- Пфффх, тысячи поводов, в большинстве для вас трагичные. Ежели что, не дай Боже, - стариk перекрестился, раз, два, три, под конец целуя перстень, - у вас есть кто-нибудь, кто бы вам прикрыл спину?

- Здесь? На балу у губернатора?

- А знаете, сколько здесь оттепельников, приехавших специально по приглашению графа Шульца? Не вспоминая тех же придворных, которым досадил Распутин.

- Здесь меня никто не знает.

- Это вам так кажется, а? – проворчал стариk и сунул в нос понюшку табаку. – Ладно, фрак на вас еще как-то лежит, но ведь можно было и постричься по-человечески!

Прошлось перчаткой по гладкому черепу.

- Как раз постригся.

- Так и бороду нужно было сбрить! А то выглядите, как... как...

- Как?

- Отшельник какой-то из скита во дворец силой приведенный! – Модест Павлович чихнул, засопел, его гневный запал куда-то испарился. – А может оно и лучше, ведь люди чего-то ожидают от крови Батюшки Мороза, ведь так? Об одном лишь не забывайте: господина Велицкого во всем этом и на крошку нет.

Я-оно стукнуло себя кулаком в грудь.

- А если что, - сказало по-немецки, - имеется мощный револьвер.

Кужменьев прикрыл глаза рукой.

- Господи, кого же это я в салоны впустил...

Вместо того, чтобы стоять на страже у лестницы, я-оно вновь поднялось на галерею и там присело в самом дальнем, укрытом в тени углу – который получился в стеклянном дворце губернатора только лишь на этаже, где полы и часть стен были выложены уже обычным кирпичом, ведь слишком неприлично было бы делать дом прозрачным на всех его уровнях и во всех сечениях.

Как оно обычно бывает на подобных приемах – во всяком случае, я-оно считало, будто бы это является нормой – гораздо больше интересных вещей происходило вокруг главной притягательной точки вечера, чем в центре всеобщего внимания, то есть, в громадном мираже-стекольном танцевальном зале, образцом для которого, похоже, была Зеркальная Галерея Людовика XVI, под тунгитовыми люстрами, которые от тьвета прикрытых колпачками тьвечек бросали огненные отблески. Там, в пятидесяти аршинах дальше, на другой стороне галереи, готовились музыканты, побрякивающие и позванивающие настраиваемыми инструментами; здесь же, со стороны входа, сходились и расходились под галереей – в шесть коридоров и в дюжине стеклянных свалончиков – родственники, знакомые, друзья и враги, любовники и *hommes d'affaires*<sup>47</sup>, русские и поляки, русские и немцы, русские и французы, русские и подданные императора Австро-Венгрии, русские и те высоко рожденные, которые до конца уже не приписывались к какой-либо национальности или подданству: говорящие на языках салонов и лояльные в отношении домов, которым плевать было на границы, политики и религии. Князь Василий Орлов с княжнами, великий князь Дмитрий Павлович, *Prinz* Григорий из ольденбургского дома с княжной; великий князь Ни-

<sup>47</sup> Предприниматели, деловые люди (фр.)

колай, дядя царя, изгнанный Распутиным из Европы; генерал Мерзов с супругой... Дамы отдавали пелерины *sortie de bal*<sup>48</sup>, получали разукрашенные бальныне блокнотики, чтобы записывать в них очередьность приглашенных на танец; господа ласкали белые галстуки под горлом... Граф Шульц-Зимний в парадном мундире – должно быть, именно он – приветствовал важных гостей, стоя в сужении холла, на дне громадного снежного водоворота.

Присматриваясь к ним, к их отражениям и призматическим воплощениям, переливающимся из роскоши в роскошь в мираже-стекольных стенах и колоннах, внезапно ощутило странное чувство оторванности: Бог стиснул кулак и отодвинул дворец Шульца на половину способности разобраться подальше. Я-оно глядело вовнутрь террариума. Или же изнутри замкнутого террариума – на них, живущих на свободе. Ведь это же два совершенно разъединенных, в самом буквальном, библейском смысле, мира; между ними поверхность небьющегося стекла. Что бедный математик-репетитор, сын польского ссыльного делает на балу у генерал-губернатора Шульца-Зимнего? Вывезти якута из тайги к петербургскому двору, и пускай попытается найти себя в столь чуждой для него стихии! И что же – смеяться над всем этим? или, скорее, пугливо дрожать? Самое паршивое, кожа на руках уже совершенно не горела.

По галерее прошли две пары, пробежал обеспокоенный камердинер; девушка, развевающая карминовыми лентами; побежала собачка и служанка, догоняющая собачку своей хозяйки; кто-то вошел и спустился; кто-то вошел и, смеясь, замахал над перилами; кто-то вошел и закурил сигару.

Под тунгитовыми люстрами объявляли выступление Евгения Виттинга и Фрица Фогельстрема, весьма знаменитых теноров.

- *Quel dommage*<sup>49</sup>.

- *Pardon?* – тот оглянулся, отняв сигару ото рта.

- *La Pere du Gel n'a pa pu venire*<sup>50</sup>. – Поднялось и подошло. – Представляете себе, - одним жестом охватило весь стеклянный дворец, - такая вот *tableau*<sup>51</sup>, замороженная навечно в чистейшем льду: все ваши богатства, все ваши надутые мины, спесивые ордена, перевесшиеся сладостями дамы. Капля Истории, История в замерзшей капле.

- Господин Герославский глотнул вина политики, - произнес Франц Маркович Урьяш и угостили сигарой, извлеченной жестом фокусника из-под фрака. – И теперь у него язык заплетается от пьяных аллюзий.

- Зачем вы дали мне те секретные карты и отчеты Министерства Зимы?

- Ну, как же? Чтобы вы могли обнаружить отца.

- Ага. – Закурило. – Обнаружить отца. И тогда – что?

Тот поправил светловолосую прядку на лбу, по бледному лицу проплыла светень.

- Капля Истории, говорите. – Он провел сигарой над радужной картиной, словно художник, снимающий мерку. – Видите вон там князя Фольша? Как раз присосался к Его Превосходительству. Когда-то у князя было имение в пятнадцать тысяч душ и миллион доходу ежегодно. А теперь нищенствует при дворах и домах родичей.

- В немилость попал?

- Немилость? – фыркнул Урьяш. – Лед пришел, вот что. Князь вложил громаднейшие средства в предприятия, которые сразу же после введения зимазовых технологий оказались никому не нужными и совершенно обанкротились.

- Ага. Так он оттепельник.

Урьяш надел очки на нос, глянул с близкого расстояния с клиническим изумлением.

- Вы лучше присядьте, Венедикт Филиппович, а то сказанное будет для вас слишком большим шоком. Эти люди; большинство из них – ладно, буду откровенным: почти все эти люди, за исключением, возможно, некоторых чиновников, вознесенных на свои посты собственными амбициями, как Тимофей Макарович, у всех этих людей нет достойных внимания политических взглядов, потому что они обычные глупцы. Знаю, что эта болезнь совершенно чужда вашему опыту, и вам сложно проникнуться эмпатией, но попытайтесь: они глупы, один от другого ничем не отличаясь, словно сибирский валенок. "Ледяни!" "Оттепельники!" Это означало бы, что в своих пустых головах они что-то скомбинировали ради собственной пользы: что для них будет выгодна та или иная политика, История, текущая в ту или иную сторону. Но послушайте хотя бы минутку их банальные разговоры, идиотские дискуссии, ведущиеся с громадной серьезностью. Да ребенок, играющийся куклой, больше понимает в человеческой анатомии, чем они в делах мира, располагающегося за пределами их салонов. Скучающие дамы встречаются, чтобы пережить нечто возбуждающее на спиритических вечеринках и теософских лекциях, и так они, чисто из моды, господин Герославский, чисто из моды, попадают в распутинские круги, и вот я слышу, что у нас в России имеются некие "придворные мартыновцы". Ха! Или, один помещик с другим, упившиеся вдробадан, танцуя с медведем, подбивая друг друга на еще большие безумия: ага, а не пойти ли нам в политику – а какая сейчас мода политическая? Демократы? Народники? Социалисты? Либералы? Ледяни? Оттепельники? Ну, за что хвататься! *Et voilà!* Так в России было всегда, и так и будет, раз уж так замерзло. Ибо, тем сильнее, когда приезжают сюда, под Лед – какая правда о них, - тут он начал тыкать сигарой в одну или другую фигуры, - глупец! дурак! идиот!

Спустило по языку длинную дымную струю.

- Что случилось? – спросило вполголоса.

Тот открыл было рот, но в последнее мгновение сдержался. Только усмехнулся и спрятал пенсне.

- Идите, пожалуйста, за мной. Шагах в десяти, чтобы не возбуждать сплетен. Что ж, Венедикт Филиппович, попробуем помочь вашему несчастью.

<sup>48</sup> Здесь: распорядителям (фр.)

<sup>49</sup> Здесь: Как жаль.

<sup>50</sup> Что еще не пришел Отец Мороз (фр.)

<sup>51</sup> Здесь: витрина (фр.)

Он спокойно сошел с галереи и свернулся в левый коридор. Пошло за ним ровным шагом, сигара помогала сохранить внешний вид безразличия. Что же произошло, размышляло Я-оно, не спуская глаз со спины худого мужчины, ну так, случилось то, что вновь какой-то глупый приказ, совершенно нелогичный пал на Шульца и его людей и перевернули их политические планы, спутал их ряды, уничтожил уже наготовленные стратегии. Погруженный во фрустацию Франц Маркович теперь плюется горечью на Санкт-Петербург и все петербургское. Д следует из С, которое, в свою очередь, следует из В. И где теперь в этой мозаике крупной имперской политики очутится Отец Мороз...?

Урьяш указал на вход в угловое помещение, непрозрачное, то есть, со стенами, отделявшими его от остальной части дворца, возведенными из кирпича или дерева. Вошло в средину; Урьяш попросил ждать его терпеливо, отступил с порога и закрыл за собой дверь. Внешние стены и пол, не прикрытый каким-либо ковром, открывали панораму ночной тайги, освещенной месяцем в первой четверти, громадные пространства разноцветного льда и снега. Открыло часы. Без семи минут девять. В глубине дворца раздались первые такты музыки. Поисками пепельницы. В витринах и на внутренних стенах этого личного кабинета была представлена богатая коллекция мамонтовой кости и чернородков. *Mijnheer* Иерхейм как-то показывал один: конгломерат тунгестита, собранный сороками с поверхности земли, ранний отприск от основной массы, упавшей над Подкаменной Тунгуской. Это была наиболее ценная форма тунгестита, поскольку его ценность не определялась исключительно по весу, но прежде всего – по форме и составу. Чернородки, походящие на фигурки людей и животных бурятские шаманы считали самыми сильными талисманами. Существовали полиминеральные *холодовники*: тунгестита, прошедшего жилами в кварц, в гранит, кривые холодовники песчаника и тому подобные. Стоимость коллекции графа Шульца должна была превосходить сотню тысяч рублей. Я-оно любовалось экспонатами, медленно прохаживаясь вдоль шкафов и застекленных стеллажей. Некоторые из чернородков производили огромное впечатление; трудно было устоять перед мыслью, что они не были каким-то чудом отлиты каким-то инородческим художником из тунгестита – то в виде беременной женщины, то мамонта, то стоящего на коленях человека или вот, человека с олеными рогами... Вспомнились слепленные-замороженные "франкенштейны" безумного Легнара. Вздрогнуло.

Затем уселось в кресле, стоящем в углу, то есть, в воздухе над пропастью. Невольно скрестило руки на груди, инстинктивно защищая тело от мороза. Ну хорошо, допустим, что план удастся, и губернатор предоставит свою защиту, даст благословение и бумагу на путешествие к сердцу Зимы с проводниками и шаманами, и что даже удастся контрабандно пронести и на месте применить насос Котарбинского, который тем временем Тесла настроит на людей, и что отец, отмороженный подобным образом, не умрет, и, скажем, все сложится удачно – но как потом смыться с фатером от внимания всей честной компании, как не столкнуться на ледяных просторах Сибири с государственными следопытами, как безопасно прорваться затем в Харбин или же на корабль во Владивостоке? Даже если бы и удалось договориться с японцами, все это приведет лишь к тому, что вместе с отцом попаду я в руки к Пилсудскому, а не в руки генерал-губернатора. Один Господь знает, что хуже.

Так или иначе, пускай даже это и должно было означать явную неволю, следовало быстро решать, пока Никола не перешел к испытаниям Большого Молота Тьмечи на Байкале – ибо тогда все уже будет одной громадной лотереей: выплюнутый где-нибудь в пустыне, словно тот же Аэростатный Немой, даже если отец и переживет саму Оттепель, если тот резонанс тьмечи не разорвет его на части, как предсказывает всему Льду со свойственной ему самоуверенностью Никола...

Схватилось с места, побежало к двери, рвануло за ручку. Закрыто. Взвыло по-звериному.

И как можно быть таким идиотом! То, что хотелось сдержать слово, данное панне Филиппов – и вот, пожалуйста, ум замерз в ледышку, хоть молотком его бей, даже половину мыслишки свежей не отскочит!

Закрыто, закрыто, а ведь это единственная дверь, хорошенко Урьяш комнату выбрал, сквозь стены никто ничего не увидит, а окон, ясное дело, губернаторский дворец не имеет, впрочем, какая тут от окон польза, под ними же пропасть. Пнуло плевательницу, та звякнула, ударившись в мираже-стекло; пнуло ножку дивана – взвыло от боли.

Закрыл, побежал сообщить Шульцу, подождут, пока бал закончится, тогда пришлют костоломов своих, а то и жандармов, вызванных под любым предлогом; на том все дело и завершится. Ругаясь про себя без складу и ладу, вырвало из-за пояса Гроссмейстера, развернуло тряпки. Черный револьвер играл холодными радугами в белой ладони.

Закусило зубы на сигаре. Итак, с самого начала это было ошибкой, не следовало сюда приходить. И случилось – ну да, случилось то, что теперь уже Шульцу Отец Мороз не нужен, по-видимому, такие пришли приказы, что ему теперь не помогут никакие переговоры с лютами; ба, само присутствие Сына Мороза для губернатора является компрометацией, адвокат Кужменцев что-то предчувствовал, ведь приглашение поступило в результате махинаций Победоносцева, что-то здесь с самого начала не сходилось, только ведь как человек поспеет за оборотами шестерен Державы, как сможет предугадать мысли царя-Бога – никогда их не предугадает. Проверило тунгеститовый патрон в барабане, оттянуло курок-скорпиона. Выстрелить в мираже-стекло пола? (Далеко внизу, над чащей вращалась спираль снежного тумана.) В самом лучшем случае, Я-оно не выпадет, сразу же ломая себе шею – за то, с полной уверенностью, через пару минут замерзнет. Выстрелить в двери? А вдруг Урьяш поставил кого-то за ними? Тогда, может, в стенку. Глянуло на шкафы с экспонатами, и вот тут некакая идея начала выкlevываться под черепом.

Рамы, проволочные стойки и подсвечники были из зимназа, холода с высоким содержанием углерода. Я-оно уложило их вдоль внутренней стенки, в самом дальнем от двери месте, сдвинув другую мебель в сторону. Всовывало проволоку под настенные панели, забивало свечные канделябры в стену, стучало по холодному металлу рукояткой Гроссмейстера. Ведь если заморозить стену, это никак не поможет; стену необходимо взорвать, а это может сделать лишь мороз, на вещество напирающий, то есть, в форме льда. Чернородки послужат основной контр-тепловой массой. С другой стороны, если тепло удара превращается в контр-тепловом материале в мороз, то как поведет себя такой материал под ударом мороза? Отдаст тепло? Ведь тунгестит светится под воздействием тьвыта. Только как все это пересчитать, в каком масштабе – такую вот анти-тепловую волну? Проходя через тунгестит, волна изменяла бы атомы попеременно: холоднее – теплее – холоднее

– теплее – холоднее... Не это ли взорвало ляту? Но ведь тунгестит никогда не нагревается, тем более – на морозе. Быть может, существуют такие особые зимназовые холода, например, вот этот, никелевый, примененный в конструкции Гроссмейстера – он обязан подавить тунгеститовый холод в конструкции бойка и ствола... Попыталось воспроизвести из памяти непамяти подробности событий на станции Зима, модель всего того морозного взрыва. Куда ударила пуля, как мороз вошел в зимназовые рельсы... И что писал доктор Вольфке в своих заключениях по опытам, проведенным в холадницевой мастерской. Воздух сжимается и превращается в твердое тело... Тунгеститовый молоточек инженера Иерхайма, стучащий по термометрическим наковаленкам... Тепловая сверхпроводимость... Собрало чернородки в одну черную пирамиду, зимназовые опоры отходили от нее по стенке запутанными лабиринтами, словно электрическая схема, смонтированная из деталей, выкованных в стиле барокко. Отойдя в противоположный угол, за оттоманку, прицелилось из Гроссмейстера. Вся установка, если глядеть одним глазом вдоль ящера-ствола и рога-мушки, припоминала небольшой алтарь какого-то языческого культа – а, может, местные дикии и устраивали себе подобные...

Дверь открылась, и вошла самая красивая девушка, которую видело в своей жизни.

Я-оно замерло, инстинктивно направив оружие на нее. Ее беленькое платье, окруженное у корсета облаками голубого тюля, обхоложенное пух-золотом, висело над снежной пропастью словно ангельское облачко с религиозной картинки. Девушка сделала шажок, и все банты, кружева и нижние юбки зашелестели, словно подул ветерок. Затем второй и третий шажок – я-оно стояло, как вкопанное – она же, вместо того, чтобы удирать, подошла и коснулась ствола Гроссмейстера вытянутым пальчиком. Серебристо-жемчужное колье мерцало на ее алебастровой груди с каждым ускоренным дыханием.

Вынуло из рта закусанную сигару, выдохнуло табачное облако.

Красавица засмеялась, словно покатились жемчужинки.

- Que c'est beau!<sup>52</sup>

В каштановые волосы, распущенные по-крестьянски, был вставлен цветок неизвестного вида, фиолетово-пурпурный. Захоложенные в мираже-стекольных сережках бриллиантовые звездочки поблескивали попеременно с колье. Я-оно подавило защитный инстинкт: поднять руку, закрыть глаза.

А на пороге новый ералаш: Урьяш с покрытым орденами господином, с двумя лакеями и еще какими-то людьми сзади. Девушка встрепенулась, словно встревоженная птичка, развернулась на месте, помчалась к двери, добежала до важного лица, которое только теперь узнало. – Oh, papa..! – и, обняв того за шею, начала что-то нашептывать ему на ухо.

Как можно скорее спрятало Гроссмейстера под фрак и белую, пикейную жилетку.

В конце концов, Франц Маркович вытолкал лишнюю компанию в коридор, остался один только генерал-губернатор Шульц-Зимний и его лакеи, как можно скорее пододвигающие ему кресло, устраивающие возле него курильницы, подставляющие под вытянутую руку столик с хрустальной и мираже-стекольной посудой, наливающие напитки быстрее, чем хозяин пошевелит пальцем. Тяжело вздохнув, граф устроился в готическом кресле, скрестил в щиколотках вытянутые ноги, лакей тут же подставил под них ампирную скамеечку.

После этого Шульц разрешающе кивнул, и я-оно уселось на стуле, уже подготовленном лакеем на приличествующем расстоянии. Другой лакей вырвал из руки сигару. Сидело прямо, словно аршин проглотив, со сложенными коленями и руками на них. Плохо спрятанный Гроссмейстер давил в почку.

В соответствии с математикой характера Края Правды (Велицкий, а значит, и Кужменьев, а значит – и Шульц), генерал-губернатор иркутского губернаторства был человеком успешным, то есть, некто, по сути своей выделяющийся в высших сферах Российской Империи, ибо не на высотах рожденный (с которых, самое большое, можно было лишь упасть), но самостоятельно карабкающийся вверх; не привыкший к успехам в обществе, но успехи претворяющий; не жаждущий этих успехов, но желающий чего-то такого, на что может претендовать только лишь благодаря успехам. Родом он был из обедневшего помещичьего рода, кресло губернатора получил на вершине военной и министерской карьеры. Только иркутское генерал-губернаторство после Зимы Лютов не выглядело приятной наградой для придворного фаворита, скорее – опасным вызовом и полем тяжкого труда, в противном случае, лицо покрова Тимофея Макаровича Шульца его бы и не получило.

Граф поднял ладонь, в которую ему тут же вложили платок; он откашлялся в него, повернув голову в сторону благовоний. Седеющая борода была подстрижена по шведской моде, разве что только с буйными, такими же седеющими ба-кенбардами. Он сильно лысел, огни керосиновых ламп отражались на высоком лбу. На его груди сиял орден Святого Андрея Первозванного, подвешенный на тяжелой трехчленной цепи, с ало-синими, серебристо-голубыми, багряно-золотыми медальонами, с фигурой апостола, распятого на кресте святого Андрея, что была наложена на золотом двуглавом орле в тунгеститовой оправе. Орла на восьмиконечной звезде ордена окружала надпись: "За веру и верность".

Граф помигал, глянул на Луну, глянул на обледеневшую тайну под ногами, глянул на "выставку" из тунгестита и чернородков и вновь опустил веки.

- А вы, слушаем, не какой-то там мартыновский фанатик?

- Нет, Ваше Сиятельство.

- И слава Богу. – Он еще раз откашлялся и отбросил платок лакею. – Вы уж простите мою дочку, услышала про Сына Мороза и, что поделать, женского любопытства не сдержать. Что ни говори, еще ребенок. Но вы, - тут он глянул умными глазами, - как вас там, Венедикт Филиппович, так?

- Так, Ваше Сиятельство.

- Вы производите впечатление конкретного человека. Франц Маркович говорит, будто бы вы математик. Что, признаю, еще не является гарантией большой практичности в жизненных делах. Читал я вашу, хммм, "Аполитею"...

<sup>52</sup> Как красиво! (фр.)

- Ваше Сиятельство читает подобные газетенки?

- А где еще можно прочесть что-нибудь интересное? Ведь не в прессе же, благословенной нашими правоверными чиновниками. Там никогда не пройдет ничего, что могло бы возмутить умы добрых россиян. Если желаешь знать, что там ворочается в глубинах русской души, читай нелегальщину на папиронской бумажке. Ее для меня собирают каждую неделю, весьма поучительное чтение.

...Выходит, так, - втянул он дым кадильниц в легкие, - выходит, вы считаете, будто бы наш Наимилостивейший Император и премьер, и все министры, и все учреждения, и я, к этому же примеру – будто бы Лед всех нас сделает излишними?

- Да.

Тот хитро усмехнулся.

- Ваше Сиятельство само видит, - наступало Я-оно, - что и Государь Император уверен в том, пускай из снов и предчувствий, а не из знания; и потому так защищается, потому желает войны с лютами.

- Александр Александрович считает, что вы ледняк.

- Победоносцев?

- Но при втором прочтении я все же заметил, что вы написали тот текст таким образом, чтобы никак нельзя было утверждать: действительно ли хотели бы вы такого Царства Небытия?

- Прошу прощения, но что, собственно...

Тот вздрогнул, в глазу блеснула первая искра раздражения.

- Возможно, я и отдам вас охранке, - ответил граф, - а может, отошлю к родителю с амнистией, но, с какой бы пользой не решил вас употребить, вначале нужно ведь узнать инструмент, который держу в руках, правда?

Я-оно скривилось.

- Узнать человека...

- Сказали чего-то? – рявкнул тот.

- Я не ледняк, - произнесло резко, глядя ему прямо в глаза. – Но я и не оттепельник.

- Но верите в Историю подо Льдом. Так кто же вы тогда?

Кто? Закрыло на мгновение глаза от люстр и хрусталей, от чужого взгляда. Шестой день Мороза. Кто?

- Я... математик. Математик Истории, *le Mathématicien de l'Histoire*.

Граф Шульц-Зимний соединил ладони кончиками пальцев, оперев подбородок на больших пальцах. Сейчас он глядел из-под бровей, из-под высокого лба.

Слуги удалились из поля зрения. Если не считать дымов из кадильниц, ничто не заслоняло сибирского горизонта, чистого, покрытого звездами неба и снежных вихрей под ним, крутящихся в неспешных, радужно-цветных протуберанцах. Готическое кресло, скамеечка под ногами, твердый стул, кадильницы – Я-оно висело здесь, над Краем Лютов, словно слова, произнесенные в абсолютной тишине.

- Три месяца, - сказал губернатор, - Успеете ли вы договориться с ним за три месяца?

- Если его найду.

- Господин Урьяш дал вам все карты и указания.

- Это уже не актуально, Ваше Сиятельство, так Дорог Мамонтов Батюшки Мороза вычислить нельзя.

- Почему же так?

- Их больше, чем он один. Самое малое, их трое, возможно – четверо.

- Отцов Морозов? – отшатнулся граф.

- Людей, которые во плоти сошли на Дороги Мамонтов. – Я-оно выпрямляло пальцы при отсчете<sup>53</sup>. – Аэростатный Немой. Некий Иван Тихонович Копыткин, бедный зимовник из секты мартыновцев-католиков. Филипп Филиппович Геро-славский. Возможно, Алистер Кроули. Это черно физический процесс, а не божественное чудо.

- Так, говорите, вам не удастся.

- Этого я не сказал. Ваше Сиятельство, что случилось с Каролем Богдановичем и Александром Черским?

Тот наморщил брови.

- С кем?

- Геологами, первыми описавшими Дороги Мамонтов.

- Это дело мне не известно. Спрашивайте у Франца Марковича.

- У меня такое подозрение... Ваше Сиятельство, простите, я буду говорить откровенно.

- Ты будешь говорить откровенно, даже если будешь говорить ложь.

Я-оно облегченно рассмеялось.

- Это правда! Даже, когда говорю ложь; в особенности – ложь. Но тут... Ваше Сиятельство не посвящает мне своего ценнего времени на балу по случаю обручения дочки ради каприза господина Урьяша – но поскольку вас к тому принудила политическая необходимость. Ваше Сиятельство видит, что мне не нужны грязные деньги от Раппакцкого; мне важен только отец. Вашему Сиятельству нужно время, и мне важно то же самое время. Три месяца, так. Догадываюсь, что имеется какой-то ультиматум из Петербурга, возможно, это работа агентов Моргана. Причины в данный момент значения не имеют. Ведь надо мной тоже висит меч. Ваше Сиятельство ведь знает про императорский контракт доктора Теслы.

Тот кивнул.

<sup>53</sup> В западных странах (так что, возможно, и в Польше начала века, не следует забывать, что большая часть страны находилась под Пруссией и Австро-Венгрией), при отсчете пальцы не загибают, как у нас, а выпрямляют – Прим перевод.

- Доктор Тесла – мой друг, - продолжало я-оно, не меняя тональности и не отводя глаз, что было сейчас крайне трудно, - но доктор Тесла предсказывает тотальную Оттепель и смерть Льда, и я верю, что ему это может удастся, потому что он такой человек, который сделал карьеру, достигая умом вещей, которые до него все признали невозможными. Ничто и никто его не удержит, я же не думаю, будто бы Ваше Сиятельство...

- Можете больше не говорить, приказ Его Императорского Величества. Здесь у доктора волос не упадет с головы.

- В тот-то и оно. Так вот, здесь очень четкая, математическая зависимость. Я ведь тоже не позволю сделать ему ничего плохого – и, вместе с тем...

- Вы должны спасать отца, так.

- И какой здесь для меня единственный способ? Императорское слово. Он отзовет Теслу, он запретит Оттепель и всяческую подобную направленную против Льда инженерию, и тогда же он оставит Вашему Сиятельству край в покое. Но, перед тем, как люты должны будут отступить в соответствии с политическим договором, нужно будет разделить Историю на куски. У вас осталось три месяца; у меня – время до Оттепели. Видите, мы имеем в виду то же самое, мы оба выгадываем на достижении одной и той же цели.

Губернатор медленно дышал сладким благовонием, склонившись в кресле набок; ордена на мундире поехали в сторону.

- Что я вижу – вижу, что вы чистосердечно лжете, – сказал он и резко поднял руку, как только я-оно открыло рот, чтобы запретствовать. – Имел я дело с урожденными поляками: жулики величайшие – но открытость, до мозга костей, потому что всегда остается эта ваша гордость, эта глупая дерзость, от которой не можете избавиться даже перед лицом смертельной угрозы, так что в Лете любой мужик, что способен перед клиентом работать, легко вас вокруг пальца обводит. За то в Зиме – если бы мог, то все должности в Цитадели отдал бы полякам. "Аполитея", как же! – Он выпрямился в кресле. – Такой вот уговор у нас, под мое слово, будет: до конца января месяца тысяча девятьсот двадцать пятого года вы доставите доказательство договоренности с лютами; на это сейчас вы получите все официальные разрешения, людей из благовещенского полка, деньги на необходимые расходы, понятное дело – в разумных пределах, и временное приостановление всех приговоров по вашему отцу. Если в результате Государь Император позволит себя убедить, буду вам благодарен. Если нет... что же, тогда дело и так очутится за пределами моей власти.

- Доказательство, доказательство, – повторяло под носом. – Какое доказательство удовлетворит Его Императорское Величество? Так быстро Лед не отступит.

- Вы уверены?

- Я работаю у криофизиков Круппа, и знаю, какие скорости возможны в Морозе. Ваше Сиятельство, представьте Историю в виде горного ледника, сходящего по склону в долину.

Граф отпихнул табуреточку.

- Выходит – все напрасно, *c'est la fin*<sup>54</sup>.

- Погодите! – В бессмысленном рефлексе, ведь кожа уже не свербела, начало расчесывать ладони через перчатки. – Какие доказательства сильнее всего держатся в Зиме? Что здесь действует, скорее логикой, чем свидетельством чувств?

- Говорите яснее!

- Ваше Сиятельство ведь почтывает Цицерона? В Древнем Риме приговор в процессе часто предрешался так называемым "доказательством по характеру", то есть, свидетельством честности обвиняемого, которое давалось другими благородными римлянами – пускай даже сотнями материальных, вещественных доказательств свидетельствовала против него. Ведь что важнее, что ближе к Правде? Нож и тело, или же дух и идея?

- Ах! – Граф Шульц-Зимний протянул руку, откашлялся в поданный ему платочек, после чего отбросил его за спину; юркий слуга схватил его в воздухе. – Понимаю. Правильно, правильно, именно так и следует сделать. Некто, кого Милостивый Государь уже одарил доверием... – Он снова задумчиво сложил ладони под подбородком. – Оно так хорошо складывается, что сейчас, на балу – вы останетесь, потом я еще пошлю за вами – наверняка найду кого-нибудь такого. Здесь есть два великих князя, но они... Хммм.

- Тем временем, еще один вопрос требует договоренности. – Смочило губы языком. – Содержание той договоренности с лютами. Ваше Сиятельство, обладаю ли я здесь свободой?...

- Вы же знаете, хотя бы от доктора Теслы, что удовлетворит Императора: освобождение из под Льда европейской России, в особенности, городов. Санкт-Петербург без лютов – одно это даст нам год, два.

- Мне известен, кхм, этот комплекс Его Императорского Величества, слышал, слышал. – Взглядом убежало к лунноцветным снежным вихрям. – Только ведь это вопрос не только температуры...

- Вы хотите спросить, верю ли я в теорию Николая Бердяева? Так вот – не верю. Можете себе заниматься математикой Истории, но Лед необходимо выставить так, чтобы и Императора успокоить, но и иркутской промышленности не повредить.

Я-оно закусило язык. Хотя это и сложно понять подо Льдом, но, чем больше здесь недосказано, тем лучше. Зачем вообще будировать эту проблему? Не спросишь ведь у генерал-губернатора Российской Империи: в не продаст ли он, например, Сыну Мороза свободную Польшу взамен гарантий зимназовых богатств?

- Мы еще не выяснили, – сказал граф, поднявшись из кресла над тайгой, с трона Сибири, – как вы собираетесь найти отца, раз не по вычислениям Дорог Мамонтов?

<sup>54</sup> Это конец (фр.)

Я-оно тоже поднялось.

- Кароль Богданович и Ян Черский, они наверняка знали эту тайну. Цензурой закрыты геологические карты, научные труды и описание верований инородцев. На всем этом печать Министерства Зимы, но еще и Сибирхожето.

Граф разложил руки.

- Я не властен над Раппаким и Победоносцевым. С Александром Александровичем вы должны это дело решить сами. Думаете нанять их шаманов? Чтобы те прослеживали Батюшку Мороза по Дорогам?

- Возможен и другой метод: как только соображу в черно физических подробностях, как сходят на эти Дороги, пошлю туда следопыта... - постепенно замолкло, заметив, что граф Шульц какое-то время внимательно приглядывается к алтарю из чернородков в углу кабинета.

- Это ведь вы сделали.

Смешалось.

- Господин Урьяш приказал ожидать и...

Граф прищурил левый глаз.

- Красиво.

Он спросил у лакея время, подставил ухо, улавливая звуки музыки, доходящие из глубин дворца, поправил манжеты и ордена.

- Попрошу у вас об одной услуге, - произнес он, уже поворачивая к двери. – Моя Аннушка пожелала один танец, понимаете, на глазах у всего общества, уже вписала Сына Мороза в свой бальный блокнот.

- А-а, н-но... Я же не умею...!

- Ну-ну, - засмеялся генерал-губернатор, выходя, ему предшествовали слуги, другие слуги, с кадильницами находились в арьергарде, - не бойтесь, молодой человек, Анна, конечно, бывает энергичной, более, чем это девушке приличествует, но ничего плохого вам не сделает, хе-хе.

Последний лакей сунул мне в руку погасшую сигару.

Все вышли.

На сей раз двери остались открытыми настежь. За порогом на страже никто не стоял. Людские голоса и музыка плыли по хрустальным коридорам дворца, словно звук, выпираемый органными трубами.

Поправляя сунутый за пояс неудобный сверток с Гроссмейстером, обдумывало такую морозящую кровь в жилах мысль: если бы не сердитое желание *mademoiselle* Филиппов, если бы не этот шестидневный пост, кто знает, в какой ка-вардак страшных фантазий удалось бы себя завести – растопленный, трясущийся, словно тот Бенедикт Герославский из Трассибирского Экспресса, не выстрелило бы в панике в первого же человека, кто стал бы в двери.

Как можно скорее вышло из комнаты.

*Herr* Биттан фон Азенхоф стоял в кучке спорящих у кресла адвоката Кужменьцева, ежесекундно склоняясь к старику с ироническим выражением на лице и теле. Пьер Иванович Шоча над спинкой кресла дружески перегибался с попом и дамой в китайском парике, что, возможно, и было известной и принятой модой в Новом Свете и Европе за пределами Льда, но здесь подобная *coiffure*<sup>55</sup> вызывала впечатление несоответствующей, если не вульгарной. Поняв, что не удастся просто-напросто подойти и переговорить с Модестом Павловичем, привстало в небрежной позе под стеклянной стеной, на расстоянии тихого голоса (здесь сигара снова помогала).

- Так вот же – нет, так вот же – наоборот, совершенно не так! – парировал поп, дергая высокого служаку за пуговицу на гусарском мундире. – Не мог тебе такого Мерзов сделать, с каких это пор кавалерия самостоятельно идет на штурм укреплений? Неделю шли из Шантуна под обстрелом японцев, так еще и заставить их кровью истечь, идя вслепую в горы Зибо? Где карта, кто забрал карту?

- Супруга забрала господина полковника танцевать, - зевнул *monsieur* Шоча.

- Так вот, все делается так, как сделал господин генерал! – убеждал гусара священник, его собеседник лишь на кручил за ухо длинный, напомаженный ус и закусывал губы, а поп, сгорбившись, елозил пальцем по широкой груди военного, вычерчивая таким образом тактические планы Похайской Кампании Мерзова. – Сначала гонишь кавалерией, потом подтягиваешь пехоту и инженеров, формируя фронт, выталкивая неприятеля на все более худшие и худшие позиции, пока ему не приходится отступить, и вот ты завоевал земли; в этом военное искусство и заключается!

- Это как же батюшка разбирается в военных тонкостях...! – защебетала дама.

- Тезис господина капитана, - заявил фон Азенхоф, угощая Кужменьцева чертовым нюхательным табаком, - насколько я понял, совершенно иной. Он совершенно не отрицает тактической нацеленности начинаний генерала. Но вот стратегия, сильно связанная с политикой – это уже дело совершенно другое. *N'est ce pas?*<sup>56</sup>

- Даже если бы Мерзов истек кровью в два раза сильнее, пускай даже всю армию в своем триумфе перебил, - зарычал капитан, - но при том уничтожая сухопутные силы Хирохито, но не позволяя им отступить в порядках, так то снова нет четкой победы, одни только договоры, перемирия, мирные и всякие другие договоры, что чернилами за столом достигнутые – следовательно, не правду на бумаге отражающие, а только пытаясь навязать всему миру эту бумажную фальшивь.

- Они же сражались не под Льдом, - буркнул Модест Павлович и чихнул.

- Будьте здоровы, - поспешила сказать дама.

Фон Азенхоф лишь покачал головой, жалея старого юриста.

<sup>55</sup> Прическа (фр.)

<sup>56</sup> Не так ли? (фр.)

- А вы снова свое начинаете. Сколько же можно! Не могу себе представить, чтобы подобными мистическими глупостями позволили дурачить головы немцы или англичане *Hochgeboren*<sup>57</sup>. Или даже французы. Кто-нибудь, когда-нибудь видел Историю? Кто ее измерил, общупал, взвесил?

- *Monsieur* Биттан не станет же отрицать, что люты помешали мировому порядку, - включился бледный вынош, с уцепившейся за его плечо скучающей девушкой.

- А если и стану отрицать, - взвился Азенхофф, - то как вы знаете, что я ошибаюсь, а?

- По Дорогам Мамонтов...

- А разве кто-нибудь Дороги Мамонтов видел?

- Никто ведь не видел и правды, справедливости, народа и любви, - погрозил пальцем священник.

- *Bien entendu!*<sup>58</sup>

- Никто не видел скорости, времени и цвета. Никто не видел мысли.

- Ну почему же, - удивилась дама. - Я вижу цвет. - Вот, *par exemple*<sup>59</sup>, платье у меня лавандовое.

- Вы не видите лавандового цвета, - авторитетно заявил батюшка. - Вы видите, будто бы ваше платье – лавандовое.

Дама не поняла. Она скривила кислую мину, потом заигрывающее усмехнулась, но когда и это никакого впечатления не произвело, подняла глаза горе.

- Поставщица чая моей сестры, - начала она, словно только что перебили именно этот сюжет, - по матери китаянка, они ходят в эти свои кумирни и повторяют услышанные там старинные верования, взятые от разных монгольских и индийских волшебников и лам. Что вы скажете, *messieurs*, что у них издавна говорят о таких "энергетических жилах", опутавших земной шар от одного святого места до другого, и вот по этим-то жилам перетекают людские души; и вообще, по такой вот географии они мир делят и делили, еще до того, как кто-нибудь хотя бы словечко про Дороги Мамонтов произнес – ха, что вы на это скажете?

Я-оно подумало об одном из бесчисленных проектов доктора Теслы, идее промышленного использования энергии тьмечи, текущей по Дорогам Мамонтов. Быть может, следует подсунуть ему эту мифологическую тему? Он ведь и сам признавался, что ему не чужды спиритические или эзотерические опыты. Несколько дней его заняли бы поиски карт, связанных со здешними религиями, и обдумывание строительства теслектрической силовой станции в священном месте ламаизма или индуизма.

- Что бы там не говорить, - вмешался Пьер Шока, - но есть какая-то притягательная сила в Дорогах Мамонтов. Хотя, никто их и не видел, - тут иронично поклонился фон Азенхоффи. . - Мои знакомые, предпочитающие более рафинированные удовольствия...

- Опiumисты, - театральным шепотом сообщила дама гусару.

- Мои знакомые, - продолжил Шока, - попробовали печально знаменитый черный наркотик, и раз, и другой...

- Вы рассказывали, что такие пропадают бесследно, - напомнил ему фон Азенхоффи.

- Так вот, говорят, что одного такого, что попробовал недавно черный маковый сок, слуги обнаружили только после целого дня поисков, в неглиже, обессиленного, на земле, в нескольких кварталах от дома. А ведь он предупредил их, чтобы глаз с него не спускали. Наверняка блуждал там, словно сонный раб, бедняжка.

- Так разве мало чего удивительного люди в состоянии одурения вытворяют? – вздохнул священник. – Вместо того, чтобы Богу, католической химии душу отдать предпочитают.

- Так что я хотел сказать: где его нашли – как раз на Дороге Мамонтов. Лежал, примороженный, кожа с ног и рук содрана, совершенно в бессознательном состоянии.

- Та, может, он, вдобавок, там еще и с лютом столкнулся.

- Ну, такого бы он не пережил.

- Господин полковник, - капитан подкрутил ус, взял даму под руку, - как-то раз имел такое вот столкновение с лютами...

Он продолжил рассказ, петушиным шагом и с выпяченной грудью ведя расфуфыренную даму; компания отправилась за ними, по направлению к главному вестибюлю и бальной зале, один только Азенхоффи пристроился на софе под портретом мрачного предка Шульцев, чтобы задумчиво нюхать кружевной дамский платочек.

Подошло к креслу Кужменьцева, лакей подал огонь, пыхнуло табачным дымом. Адвокат вопросительно поднял бровь. Склонившись к его уху, передало ему содержание беседы с генерал-губернатором.

- Значит, вы достигли, чего намеревались, разве не так?

- Я не понимаю, что происходит, Модест Павлович. Тут вы должны меня поддержать своими знаниями и интуиций.

- Хммм? - глянул тот из под седой гривы.

- Не такими ведь были их планы. Кода меня господин Урьяш в Министерстве Зимы по следу Отца Мороза пускал, они совершенно иначе все это планировали, к иным целям, иными тропами стремясь. А теперь – Урьяш яdom горючим плюющийся, и граф, повторяющий: "три месяца". Три месяца!

- Выходит – поменялось. Что в этом странного? Вам следует отделить политику от математики. Ведь мир не вокруг вас вращается, ни ради вашего добра, ни ради зла. Разумом не всегда проникнешь причины всех событий, что тебя касают-

<sup>57</sup> Здесь: голубых кровей (нем.)

<sup>58</sup> Разумеется! (фр.)

<sup>59</sup> К примеру (фр.)

ся. Даже большинства из них. От этого только замешательство в мыслях можно получить: весь мир себе в голову запихнуть, чтобы там его самостоятельно на части разобрать, словно швейцарский хронометр, и, назад сложив, глядеть, почему его шестеренки крутятся именно так, как крутятся, почему он тикает. Вы разве не того хотели, нет?

- Я думал, что, по крайней мере, здесь, в Краю Льда...
- Что? Все познаете? – издевательски фыркнул старик.

Я-оно отрицательно покачало головой.

- Тесла с успехом провел демонстрацию Боевого Насоса. К Императору отправилась делегация Пирпонта Моргана, настраивающая его против Российско-Американской Компании Кругосветной Железной Дороги и против Шульца. Шульц давит теперь репрессиями. Подписан мир с Японией. Он не желал этого показать, но – три месяца! Модест Павлович, может ли император снять графа Шульца с иркутского генерал-губернаторства?

Адвокат неспокойно заерзal в своем кресле. К нему подскочил лакей. Кужменьев оттолкнул его тростью.

- Император может все, – раздраженно буркнул он. Император – это император. Так?
- Да. Так.

– Не считаете же вы, будто подобный ультиматум, даже если Его Величество Николай Александрович и вправду его выставил, будет открыт публике. Когда придет письмо, отзывающее Тимофея Макаровича с поста, оно придет в последний момент, и граф уйдет с почетом, с похвалами, наверняка, с каким-то новым орденом. – Старик открыл табакерку, подсунул, чтобы угостить, отрицательно покачало головой. – Слишком много вы себе воображаете. Остыньте, Венедикт Филиппович.

- Но разве не в этом заключается дар познания? – рассеянно произнесло я-оно. – В уверенности одной единственной правды среди всех возможных правд?

- Да бросьте вы наконец свою проклятую математику!
- Гаспрадин Ерославский?

Я-оно обернулось.

- Анна Тимофеевна просит ваше благородие в бальную залу, – произнес камердинер, не отрывая взгляда от ледяной, окрашенной Луной тайги.

- Ну, ну, ну, – засопел Кужменьев и мощно чихнул.

Биттан фон Азенхофф глядел над прижатым к губам батистом, не слишком элегантно вытянувшись под мрачным портретом. Я-оно только хлопало глазами. Камердинер ожидал в четверть-поклоне. Выхода не было, отправилось станцевать с дочкой генерал-губернатора.

Сотни людей в гигантской зале, огни, играющие радугами на телах, тканях, драгоценностях, вместо стен – звездный горизонт ночной Сибири; вместо пола – заснеженная земля Сибири, воздух, мерцающий тысячекратными отблесками красоты; а она, посреди всего этого – самая красивая, красавица в лилейно-золотистой белой кипени среди других красавиц *en grandes toilettes*<sup>60</sup>, глядящие огромными глазами, не дыша, в неожиданной тишине – когда подошло, поклонилось и попросило *mademoiselle* Шульц на танец.

Все громко вздохнули. Она же присела в кинексене, принимая поданную руку, перчатка к перчатке. Захлопали веера. Музыканты издали первые такты мелодии, только я-оно понятия не имело, что это за танец, как под него двигаться. Вызвало графинюшку на средину неба. Шелест платья с его нижними юбками, кружевами, взбитыми в весеннее облачко – кружила голову. Все глядели. Пот тек ручейком по голому черепу, посреди лба и вдоль носа. Девушка одарила жадной, капризной улыбкой. Сглотнуло слюну. Все смотрели.

- *La Fils du Gel*<sup>61</sup>, – шепнула она.
- *La Fille de l'Hiver*<sup>62</sup>.

Начался танец – танцевало.

- А вы вовсе даже и не холодный.
- Вам, мадемуазель, так лишь кажется. Я уже вас заморозил.
- Что?
- Сказки, *mademoiselle*, сказки; не надо в них верить.
- Похищаете людей в Лед, направляете их на Дороги Мамонтов, на лягушках ездите.
- Когда пробьет полночь, вы проснетесь, вмерзшая в байкальскую льдину.
- Вы шутите!
- Вот, станцевали с Сыном Мороза, и все пропало.

Танцевало.

- Вы же ничего не сделаете плохого папе?
- Я? Господину графу?
- Не делайте ему ничего плохого, я вас прошу.
- Да что вы! Револьвер был не для него. У меня есть враги.
- Ах! Но ведь не папа!
- Ваш папа ко мне весьма даже милостив.

Танцевало.

<sup>60</sup> Здесь: в замечательных нарядах (фр.)

<sup>61</sup> Сын Мороза (фр.)

<sup>62</sup> Дочка зимы (фр.)

- Почему вы закрываете глаза?
  - Оказывается, я боюсь высоты.
  - Тогда, зачем глядеть вниз?
  - Чтобы не оттоптать ваши ножки.
  - Так с закрытыми глазами – оно ведь даже труднее.
  - Что я могу сказать, у меня все в голове кружится, когда с вами танцую.
  - Какой вы забавный!
- Танцевало.
- Ведь вы уже обручились, правда?
  - Это так, папа наговорился, обцеловали нас тетушки, кузины, вы бы видели...! Вы не видели?
  - И ваш жених не будет на меня злиться?
  - Будет!
  - Ой! Мне нужно бежать?
  - Вы не убежите.
  - Нет?
  - Нет.
  - Откуда вы знаете подобные вещи?
  - Вы злитесь на Аннушку?
  - А вы любите играть в бильярд людскими характерами, так? Воистину, Дочка Зимы!
  - Вы сердитесь...
  - Ведь вы же не знаете другого мира, других людей! Магнит к магниту, вода на огонь, холерик на сангвиника, страх на страх, гордыня на зависть...
  - А Павел Несторович на Сына Мороза...
  - Да, погляжу, вы развлекаетесь жестоко!
  - Но вы же ничего плохого Павлику не сделаете, я вас прошу.
  - Все на нас глядят. Это вы заранее всем раззвонили!
  - *Comme vous l'avez dit vous-même, monseur: le Fils du Gel et la Fille de l'Hiver...*
  - *Excusez-moi.<sup>63</sup>*

Я-оно вырвалось. Пролавировав между танцовщиками, прошло за колоннаду и в боковую комнату, где плюхнулось на табурет. Мыщицы ног все еще дрожали. Услужливый лакей пододвинул поднос. Заглотнуло целый стакан какого-то жгучего напитка, даже не отмечая его вкуса. Музыка все так же плыла, похоже – камаринская, танец длился, ведь видело танцовщиков сквозь мираже-стекольные стены, растекающихся по ним ручьями цветов, казалось, лишь по случайности заключенных в очертания дам и господ; точно так же прекрасно видело приближавшийся вдоль стены в каскаде калейдоскопических реконфигураций абрис разгневанной девушки – панны Анны – очертание приблизилось – нет, не панна Анна – вошла, щелкнула веером, прикусила губу. Она, похоже, желала подойти поближе, но что-то в последний момент ее удержало, словно ударила в очередную стеклянную стену.

- *It just eludes me how could you possibly<sup>64</sup>...* – только и вскрикнула она еле слышно, но с отчаянием. Под ней вздымался ледовый вихрь, фронтом в несколько верст поднимающий радужно-цветные туманы из замороженного леса. – Великий Сын Мороза, – презрительно фыркнула она.

- На меня показывали пальцами, так?

*Mademoiselle* Филиппов весьма грубо выругалась по-английски, закружилась в шелесте шелка и вернулась в приглядывающемуся ко всему через стену смуглому Андрюше, покрытому аксельбантами поручику. Она тут же подала ему ладонь в приглашающем жесте, и они смешались с танцовщиками.

Ледяной ветер ломал промерзшие деревья. Луна играла рефлексами на сталагмитовых спинах лютов. Ночь губернаторского бала только начиналась.

Когда танцевало с Еленой... Уже теперь воспоминание о танцах в Транссибирском Экспрессе казалось более близким, живым и каким-то более... правдивым. Я-оно не было в состоянии пробудить какого-либо ясного образа от танца, прерванного только что – как будто бы на самом деле танцевал кто-то другой, словно танцевало не это тело; нет, это прошлое никак не желало замерзнуть.

На табурет рядом свалился толстяк во фраке, обтягивающем его словно рыбий пузырь. Мужицкое лицо с тысячью морщин и дюжины пятен после отморожений постоянно дергалось между одной миной и другой, как будто бы физиономией этого человека заведовало несколько ссорящихся между собой обитателей раздутой туши, только ни один из них не мог одержать постоянного перевеса в мимической войне.

- Петрухов Иван, – представился он с явной уверенностью, что сама фамилия уже все объясняет; при том сразу же протянул лапу в знак приветствия. – Ну и крутнули вы куколку шульцеву, хе-хе! И так ее прочь бросили – румянцем горит, прямо гарью пахнет, хе-хе-хе!

Он выгнулся резиновое лицо в выражении издевки-радости-перепуга-изумления.

- Чего вы хотите, Петрухов?

<sup>63</sup> - Смотрите, как встретились: Сын Мороза и дочка Зимы...

- Простите (фр.)

<sup>64</sup> Почему вы меня избегаете, как так можно (англ.)

- Чего хочу? А ничего не хочу. Пришел другана поддержать. – Тут он хлопнул себя по бедру, фарширующему гладкую штанину. – Мы, люди льда, Петрухов и Ерославский, мы должны стеречься их, не лететь в их сладкий мед, как мухи на липучку, на тех девашек-блестяшек, на красоток конфетных...

- "Мы"?

Петрухов снова стукнул себя по бедру.

- Я и вы, ну, сами гляньте, два чужака, а как на насглядят, когда считают, будто мы не видим...

- Вы ошибаетесь, Петрухов, нас ничего не объединяет, мы ни в чем с вами не похожи.

- Разве нет? – Физиономия его затрепетала, выбирая между умильной, печальной, рассерженной и безразличной минами. – Думаете, что допустили бы вас в салоны свои хрустальные, если бы случай не принудил, и вот теперь затыкают носы, глаза отводят и притворяются, будто бы не видят, как хамы, хе-хе, говорю, их доченек сахарных облизывают? Этими руками, – стиснул он мохнатые лапища, покрытые шрамами, – этими руками – все! То, что потащилось на версту подальше в убийственный мороз, и тунгетяту величиной с сарай насорочило –случай! Только таким способом, только так войти: по случайности. Но сорока при миллионах для них та же самая сорока. – Он стукнул кулакицем по груди, на которой не было ни единого орденка. – Замерзло! Хам в салонах! Хе-хе-хе!

Не говоря ни слова, поднялось, воспользовавшись причиной, когда за стеной появилось семейство Велицких. Музыка утихла, раздались аплодисменты, усилился шум бесед, парочки калейдоскопом перекатились между мираже-стекольных колоннад.

Пан Войслав оттирал свой широкий лоб от обильно катящегося пота.

- Уфф, убьюсь, точно смерть пришла, я ведь не выношу какой, как пан Бенедикт, мое сердце, смилуйтесь...

- А я не знала, что из вас такой танцор залихватский! – от всего сердца восхищалась тем временем пани Галина. – А пан так отказывался!

Чмокнуло ее в ручку.

- Так, может, это вы мне поясните: как такое возможно, ведь я совсем танцевать и не умею?

- Да что вы все время упираетесь, что не умеете, раз умеете?

Правда или ложь? Покачало головой, закусывая ус и, наверняка, изображая наиболее тупое выражение на лице. Прошлое не существует, все воспоминания, что не kleятся к настоящему, по определению должны быть фальшивыми, так что, если сейчас танцует...

Но, разве, по сути своей, не касается это почти всех людей? Ибо, раз это невозможно выразить в языке второго рода – навечно остается замкнутым в частной тайне сердца. Наружу же протекают тонкие дистилляты испытаний, неверные описания предчувствий, неясных впечатлений.

И что-то здесь не сходится. Что не до конца мы являемся теми, кем себя помним. Что живет в нас некто иной, чужой, с чужим опытом и памятью. И в те короткие мгновения, когда именно он берет верх и перехватывает власть над телом, открывается более глубинная правда. Нам известно, что мы увидим за следующим холмом, хотя никогда в этом kraю не были. После целой жизни, проведенной за столом мелкого чиновника, в момент резкой неожиданности хватаемся за ружье – а ведь никогда в руках ружья и не держали – и делаем из него выстрел в десятку. Нас садят в высшем обществе, пропитанном чужеземными манерами, о которых понятия не имеем да и иметь не можем, и все же – вилочка в одной руке, нож в другой, милая беседа за столом, и слово, и жесты, и *savoir vivre*<sup>65</sup>, и оказывается, что врашаемся в этом обществе лучше, чем его звездогатаи. Учил нас кто-то? Кто-то подсказал? Мы сами знаем это – откуда? Добродушные отцы, кроткие мужья – но мы поднимаем руку на ребенка, на женщину в жесте, естественном для закоренелого разбойника. Танцуем, хотя танцевать не умеем.

Что-то здесь не сходится. Жизнь не соответствует жизни, прошлое – настоящему.

Но как передать это впечатление в межчеловеческом языке?

Прошлое не существует.

- Может, у него врожденный талант. – Пан Войслав спрятал платок, погасил усмешку, подмигнул заговорщически. – Позволь-ка, сердце мое, на моментик, уфф, на словечко с паном Бенедиктом.

Отошло за колонну.

- Собирайся, пан, и прыгай в сани! – с места начал командовать Велицкий. – Да что это пану в голову стукнуло, так публично устыжать ее! Все знают, что-то готовится, какие-то офицерики уже жениха Шульцевны подстрекают. Словно еще и подстрекать нужно! Не стой же дураком, пан, не проси несчастий на глупую башку.

- Не могу. Не могу, пан Войслав, я уже договорился с Шульцем, он даст мне бумаги на отца, на меня, все договорено, как раз ожидаю...

- Да как-нибудь еще договоритесь потом! Потом, не сейчас! Сами подумайте, что вы там договоритесь с Шульцем, если его будущий зять сейчас вам кости пересчитает или, что еще хуже, вы хоть пальцем пошевелите против его зятка дорогого! Так что, ноги в руки и пошел...

Стиснуло зубы.

- Я не сбегу.

- Господи Иисусе, кровью плачущий! И что с того, что вас Сыном Мороза тут назвали – сегодня такая, а через неделю иная салонная игрушка – пан же и сам в эти басни сибирские не верит...

Он замолк, переведя взгляд на перетекающие по мираже-стеклам отражения.

- Поздно.

<sup>65</sup> Умение держать себя, воспитанность (фр.)

Я-оно оглянулось. Небольшая группа элегантных кавалеров, наполовину гражданские и наполовину военные, приближалась быстрым шагом, впереди багровый, словно свекла, молодой человек, несколько долговязый, во фраке, перечеркнутом лентой ордена невысокого класса, с моноклем, бешено зажимаемым в глазнице, что придавало ему вид недоделанного денди.

- Это он? – спросило под носом.

- Павел Несторович Герушин.

- Отойдите.

Велицкий отшатнулся, гневно замахал руками, блеснул бриллиантом – тем не менее, после недолгих сомнений отступил за колонну, к нервно обмахивающейся веером жене. Из комнаты рядом вышел Петрухов, встал под стеной со стаканом в руке, с набожно-родостно-почтенно-злобной миной, ожидающий пикантного зрелища. На противоположной стене краем глаза уловило лилейно-цветный виражный контур *mademoiselle* Шульц: она издали приглядывалась к запущенному ею в ход карамболю, с той же самой жадной улыбкой, столь же ангельски прекрасная. А из-за других стен, сквозь весь губернаторский дворец наверняка глядит вся элита Сибири: дамы, господа, графы, князья, генералы, миллионеры и миллиардеры.

Господин Герушин остановился, сложил руки за спиной, закачался на пятках, громко откашлялся.

- Я требую... – голос его заверещал, и Павел Несторович еще сильнее покраснел; затем еще раз откашлялся. – Требую! Требую, чтобы вы немедленно извинились перед Анной Тимофеевной и... И покинули... Чтобы... – Он откашлялся в третий раз. – И вон отсюда!

Я-оно ничего в ответ не произнесло.

Товарищи Павла Несторовича гневно нашептывали ему что-то у него за спиной. Юноша поправил монокль, зашаркал ногами.

- Да по морде его, сволочь! – крикнул какой-то офицер.

Герушин стиснул кулаки, сделал шаг вперед...

Я-оно усмехнулось.

Тот отскочил.

Петрухов загоготал, словно в кабаке находился, стакан вылетел у него из руки; сорока схватился за брюхо и, наполовину сплюзя по стене, зашелся в хохоте.

- Ну просто шик! – запищал он. – Ой, не могу! Нашла себе дева рыцаря! Держите меня! Моська сейчас станет хватать за ноги Сына Мороза! Гав-гав!

Герушин налился кровью, его монокль выпал из глазницы, бедняга затрясся, словно в приступе страшной лихорадки. Дюжина его радужных отражений также запунцовела, только еще ярче. Дворец горел всеми оттенками стыда.

Холоднее, холоднее, совсем холодно, Мороз. Подскочило к Петрухову, схватило его за лацканы фрака, затрясло, так что мужик совсем уже потерял равновесие и, мотая руками, словно лопатами, упал на пол, то есть – на лунноцветный Фронт ледовых вихрей.

- Хамье в высшее общество пускать! – рычало я-оно. – Что хам видит, что хам думает, тем и плюет!

Подскочил и Павел Несторович, потянул пытающегося подняться Петрухова за воротник. Сорока вновь потерял равновесие и упал на все четыре точки, мотая башкой в ту и иную сторону, мотая фалдами фрака, вывалив, словно собака, язык; гримасы на роже менялись ежесекундно, он расклеился окончательно.

Герушин вставил окуляр в выпущенный глаз, наклонился, прицелился и пнул Ивана в выпяченный зад – при чем, приложил солидно, толстяк поехал по мираже-стеклу, словно по льду, пузом и манишкой вытирая пол до блеска, не перевставая при том, словно мельница, размахивать руками, и чем дальше он скользил по направлению к бальной зале, тем громче выл и пищал; вдруг он зацепился обо что-то коленкой и начал кружиться; потерял туфлю, потерял платок, наконец, бухнулся головой о цветочный вазон и застыл.

Отражения громкого смеха перекатывались по дворцу, все глядели и все смеялись – а Павел Несторович Герушин громче всех, с прекрасно слышимым облегчением, даже руки сложив, словно собрался молиться. Его товарищи сгрудились вокруг него, хлопая его по спине и обмениваясь вульгарными смешками на различных языках; я-оно тоже почувствовало на лопатках несколько похлопываний. Удерживая безразличное, сухое выражение на лице, не спеша отступило за стену, в комнаты. Развеселившиеся кавалеры расходились в группах. Лилейная фигура Анны Тимофеевны исчезла из светящихся витражей.

Велицкие глядели озабоченно, но и со странной робостью.

- Уфф, пан Бенедикт, ну и нервы у вас, уж я-то думал, что у меня сердце выскочит, нужно чего-нибудь выпить. Но как оно все удачно сложилось, чудо, чудо, что вы так вывернулись...

- Не чудо, – возразило на это я-оно, – и не удача, а всего лишь математика, пан Войслав, холодная математика. – Немного кружилась голова, мягкий трепет расходился по мышцам, оперлось о дверную коробку. Отовсюду толпились цветастые, радужные изображения сына Мороза. Воистину, велика и непонятна сила зеркал. – Но в одном вы правы: выпить просто необходимо.

Огляделось за лакеем с напитками. Но вместо лакея в поле зрения появился Франц Маркович Урьяш. Представило его пану Войславу; Урьяш что-то буркнул под нос и указал на коридор, ведущий к непрозрачным комнатам. Извинилось перед Велицкими.

- Его Сиятельство сами просили меня, – начало примирительным тоном, поравнявшись с блондином, который и не оглянулся, чтобы проверить, успевают ли за ним.

- Их салонные забавы, – буркнул тот, – еще одна глупость!

Остановившись перед приоткрытой дверью, он, все же, дал последний совет:

- Но сейчас – входите и проявляете себя самым благородным человеком во всем мире.
- Что же, как замерзло, так и замерзло.
- Тогда бы так и торчали у Шамбуха в приемной!

Вошло. Подвешенные на небе над Сибирью, генерал-губернатор Шульц-Зимний и князь Блуцкий-Осей отвернулись при отзвуке шагов.

- Позвольте, Ваше Высочество, вот этот человек...
- Мы знакомы, - процедил князь, жабьим движением губ поправив положение искусственной челюсти.

Поклонилось – князю, но вместе с тем и княгине, которую заметило подремывающей в кресле.

- Поздравляю Ваше Высочество с подписанием мирного трактата.

Граф быстро почувствовал, как замерзает ситуация.

- Господин Ерославский служит нам исключительно посредником, - заверил он. – Похоже, Ваше Высочество ни в каких обстоятельствах не был знаком с его отцом?

- Нет.

- Я имел удовольствие удовольствие ехать с Его Высочеством в Транссибирском Экспрессе, - сообщило я-ono.

- Да из-за вас поезд чуть на воздух не взлетел, - буркнул князь Блуцкий.

- Что вы говорите! Ведь все же было совершенно не так!

Если бы взгляд обладал физической энергией, под взглядом графа половина дворца наверняка бы была в развалинах.

- Как я говорил, - рявкнул он, - поскольку, что не подлежит никаким сомнениям, свидетельства Венедикта Филипповича никак нельзя считать удовлетворительным для Вашего Высочества, очевидным является и то, что его Княжеское Высочество, не станет бегать за Батюшкой Морозом по таежным тропам, свидетельство представит особа, которую Его Высочество найдет совершенно достойной доверия. Князь согласился оставаться у меня в гостях до вашего возвращения; он услышит отчет из уст собственного человека и сообщит все лично Государю. Ибо князь пользуется полнейшим доверием Его Императорского Величества Николая Александровича. Понимаете, Венедикт Филиппович?

- Замечательно, Ваше Сиятельство.

- *Sacre nom de Dieu!*<sup>66</sup> – гневно вспыхнул князь Блуцкий, раздраженно махнул рукой, после чего, не сказав ни слова, вышел, живо перебирая короткими своими ножками.

Граф превратил в развалины вторую часть дворца, засопел и поспешил за князем. Лакеи сгрудились за ним в двери. В комнате остался лишь сладкий запах благовоний.

Выпустило воздух. Похоже, все пошло неплохо. Учитывая все обстоятельства... Хммм... Похоже, для графа это тоже важно. Получил ли он от царя ультиматум, грозящий отставкой, или нет? Мираже-стекло было на ощупь очень холодным, рука в перчатке не протопила никакого следа. Дохнуло на стенку. Полумесяц зашелся туманом тьветистого дыхания. Пан Войслав наверняка прав, что нужно было здесь сыграть, уже сыграло, нечего больше их здесь дразнить, тем более, после этого фатального танца с дочкой Шульца. Танец... Оперлось лбом о мороз-стекло.

Правда или фальшь? Прошлое не существует, все воспоминания, что не клеятся к настоящему, должны быть фальшивыми по определению, так что, если сейчас танцует... С другой стороны: ведь замерзло же. (Замерзает).

Ритмичный, настырный стук вонзился в мысли. Это княгиня Блуцкая била палкой по полу.

Может, лакея зовет или призывает призрак Дусина; все слуги помчались за графом. Осторожно подошло. Она подняла руку, извлекая ее из-под черных кружев; полвека назад наверняка они стоили несколько деревень. Поцеловало сморщенную кожу. От княгини несло травами и старостью даже сильнее, чем помнило (или же помнило слабее, чем она воняла на самом деле).

- Гаспадин Герославский, - заскрежетала она, как будто бы чем-то развеселившись.

- Да, я, Ваше Высочество, я, я, тот самый.

- Иди-ка сюда, бродяга.

Склонилось еще ниже, как тогда, в поезде, в вечернем вагоне.

Княгиня дышала теплой телесной гнилью.

- Что с тобой стало?

- Этот шрам...

- А, шрам... - Княгиня выпрямила указательный палец и уколола ногтем в манишку фрака. – С тобой что стало?

Я же еще не слепая, кххрр.

- А что должно было статься? Выжил здесь как-то, хотя меня мартыновцы, ваши или распутинские, живым в мерзлоте хотели закопать.

Старуха цапнула за подбородок, зашипело от боли; вырвалось, отступило на шаг.

- Ведьма! – ругнулось негромко.

- Дурак!

- Леднячка проклятая!

- Солляк наглый!

Рассмеялось вместе с княгиней.

Та сунула руку в древний ридикюль, выкопала оттуда платок, вытерла обвислые губы, на которых собиралась липкая слюна. Присматривалось с трудом скрываемым отвращением.

<sup>66</sup> Проклятие (фр.)

- Но вот Пелки я Вашему Высочеству не прощу!  
 - Какого-такого еще Пелки?  
 - Ну, эти ваши мартыновские розыгрыши...  
 Старуха взмахнула платком.  
 - Фи! Замерзло.  
 - Выходит, Ваше Высочество в эти игры уже не играет? И как там сны в Краю Лютов? Под Черным Сиянием? А?  
 Князь хороший договор подписал, Ваше Высочество его уже не поломает.  
 - А ты этому и рад, а?  
 Пожало плечами.  
 Она захихикала в платок.  
 - И вот скажи, сынок, разве я не была в отношении тебя права? Плохо ты мне приснился? А?  
 Я-оно не могло скрыть недоумения.  
 - Так ведь я же не исполнил ни одного из замыслов Вашего Высочества!  
 - Разве нет?  
 - Ба, даже жизнь спас доктору Тесле – или забыли? – который теперь Лед станет ломать.  
 Старуха покачивала головой, явно довольная собой.  
 - А оно ничего, кхрх, ничего. – Быстро глянула над платком. – А, может, дорогуша, ты уже встречался здесь с уважаемым Александром Александровичем Победоносцевым? Или с его людьми?  
 - Нет?  
 - Кхрхм, хррмм.

Пятнистая ладонь дрожала на рукояти трости, вторую она прижимала к губам, над которыми тоже до конца не было у нее власти, тело предавало ее на всех фронтах, ото всюду из него было во все органы чувств старческим отвратительным естеством. Отступило еще на один шаг, чтобы убраться из этого смрада. Но сама княгиня Блуцкая-Осей, а точнее, существо, проживающее в этом вонючем мешке из кожи и костей – ей ничто уже не мешало злобно радоваться, она замерзла с гримасой злобного удовлетворения, искажающего душу.

Сбежало от нее, прочь, прочь из этой комнаты. Неясный страх бился в ритме спешных шагов возвращающимися волнами. Чему это она так обрадовалась? Что, кого увидела? Ледняка, готового защищать Лёд и лютов? Так ведь это же неправда! Неправда!

Пани Галина сидела под папоротниками в компании молоденькой госпожи Юше, туалет из шифона с *paillettes*<sup>67</sup> и туалет из тафты с жемчугом. Отдыхая, попивая фруктовое вино из серебряных стаканчиков, они сплетничали о знакомых, что танцевали за прозрачной стеной.

Извинилось, чмокнуло на прощание обрамленную кружевами ручку пани Велицкой.

- Прошу прощения, будет разумнее, если остаток вечера я пропущу... Пан Войслав...

Пани Галина не выпустила руку.

- А панна, с которой вы пришли? – шепнула она, тактично отвернувшись от госпожи Юше.

- Вы знакомы с *mademoiselle* Филипов, правда? Если вы ее встретите, то попрошу...

- Не верю. Вы этого не сделаете, не такой вы человек...

- Какой? В чем снова дело? *Mademoiselle* Филипов, наверняка, танцует и веселится больше всех нас, Модест Павлович нашел ей дамского угодника в мундире, она протанцует целую ночь...

- Забрать девушку на большой бал, быть может, самый большой, из тех, на которых она когда-либо в жизни своей была...

- Это правда. Она не...

- Забрать, - пани Галина возвысила голос, впервые видело тихую, как правило, супругу пана Войслава в состоянии подобного возмущения, - чтобы при первой же оказии сунуть ее в объятия незнакомца – да кто же так делает? Только человек, полностью лишенный чувства или совершенно не обращающий внимания на чужие чувства, толстокожее чудище.

- Да что вы! Ведь я здесь не забавы ради, другие дела необходимо устроить, и *mademoiselle* Филипов о том заранее знала.

- Да о чем вы вообще говорите? Все это не имеет значения! Нельзя так относиться к женщинам, тем более, в этом возрасте незрелой деликатности....

- Нет, нет, нет, пани все это неверно представляет. Между мной и панной Кристиной нет каких-либо романтических тонов, подобная мысль вообще...

- Пан Бенедикт! О, Господи! Да какое все это имеет значение? Вы привезли юную девушку на бал! Если вы этого не понимаете, тогда бы, вычислите. Ну?!

Глянуло искоса на госпожу Юше, которая подслушивала, уже совершенно с этим не скрываясь. Отвел глаза.

- Возможно... и правда... некая неуместность...

- Идите к ней!

Ба, но как найти одну-единственную девушку на громадном губернаторском балу? Среди танцующих ее не выспелило. На призматических мираже-стеклах мерцали сотни текуче-цветных фигур, каждая вторая из них могла быть Кристиной Филипов. Необходимо внимательно приглядываться, высматривать лица, различать просвеченный образ от двойного, тройного, учетверенного отражения. Вошло на галерею, надеясь в душе, что с высоты, при замечательном виде на всю

<sup>67</sup> Здесь: золотыми блестками (фр.)

залу, скорее найдет девушку. Черта с два! Заметило зато, как то одна, то другая парочка ускользает за колоннады и, вроде бы, случайным шагом, полностью исчезает с мираже-стекольных панелей, прячась в частных, непрозрачных комнатах. Вон оно как! Ну, ладно!

Но не станешь же совать нос в каждую комнату во дворце, сколько тут этажей открыто для гостей, два, три? Как пить дать, снова влезу в очередную неприятность, обладая к этому несомненным талантом. Закурило папиросу в тени галереи. Перехватив слугу – узнав его разве что по черному галстуку-бабочке и по золотым пуговицам – попросило его принести бокал сухого вина; может, удастся смыть из горла запах-вкус отвратительной телесной дряхлости. Внизу случился перерыв в музыке: парящий тьмечью расходившийся, покрытый плотной чешуйей орденов адмирал хлопал в ладони и притопывал, призывая гостей к полонезу – на это поднялись из-под зеркал и более достойные возрастом дамы – молодые мужчины в ливреях стали разбрасывать с высоких балконов дождь золотого конфетти – ряды пар вступили на заледеневшую тайгу, в соответствии с потоком лунно-цветного вихря. Лакей принес вино. Махнув у него перед глазами банкнотой, полицейскими словами описало мадемузель Филипов и гвардейского поручика. Не успел полонез закончиться, как служащий вернулся; жестом головы попросил идти за собой.

Это была одна из курительных, так называемая Китайская Комната, как шепнул служащий, когда вручило ему деньги перед закрытой дверью. Стены, хотя и из мираже-стекла, изнутри были плотно завешены шелками, заставлены ширмами, что обеспечивало помещению приватность. Постучать? Недолго думая, затянувшись табачным дымом, нажало на дверную ручку и заглянуло вовнутрь. Гвардейский поручик и госпожа Филипов, спутавшись взаимно в объятиях, даже не обратили внимание на нашествие непрошенного гостя. На секунду замерло на пороге. Полу-лежа на шезлонге, обитом бархатом, под бумажным лампионом, отбрасывающим зеленые тени, на фоне сибирского пейзажа, пара любовников предается греческим наслаждениям – ни единого звука из их уст, поскольку уста соединены – ни единого движения их тел, ибо тела сплетены – замерзли. Ее ножка во французской туфельке с золотым бантиком, ее икра в жемчужно-светлом чулочеке, икра и коленка, и даже небольшой фрагментик бедра, поскольку девушка непристойно подняла ножку, выпростав ее из-под нижних юбок, оборок, кружев, чтобы зацепить и поближе притянуть кавалера в белом мундире. Его рука грубо засунутая в *decolte* девушки, всю ее грудь под корсетом охватывающая, сжимающая, мнущая, комкающая – словно шмат мяса – а ведь это мясо и есть – тело на теле. Ее *maquillage* размазанный, и влажный, алый на щеке от губ идущий – влага под губами, влага на шее – слюна – ее – его – смешанные выделения тела. Мышцы его ног и ягодицы, напряженные под мундирными брюками. Ее пальцы, стиснутые на его плече. Его жила – жирная, толстая, набежавшая кровью – пульсирующая у него под ухом. Багровая шея. Покрытое волосами запястье. Обнаженные плечи, втиснутые в спинку шезлонга. Слюна. Язык. Рука. Икра. Шея. Ягодица. Грудь. Мясо. Прогнившее, бледно-зеленое мясо.

Сбежало, теряя по дороге папиросу. Вновь выскочило на галерею. С противоположной стороны шел господин Герушин в компании мертвенно напудренной матроны, по-видимому, госпожи губернаторши; отошло к балкону с музыкантами. С обеих сторон по его флангам стояли натуральной величины статуи из какого-то редкого, сильно охлажденного минерала, который в комнатной температуре тьветисто парил и потел черной влагой. Скрылось за этими статуями, присел на холодном постаменте. Статуи представляли собой необычно верные копии греческих или римских изображений – российский, экспрессивный *art nouveau*, застывший подо Льдом и обращенный к полюсу классицизма. Всякая мышца и сухожилие в этих статуях были переданы с анатомической точностью: обнаженный пастух заслонял глаза перед обнаженной лучницей; жирная тень от них коптела под самый потолок. Одного лишь Приапа не хватает. Отвернуло взгляд. Вот Афродиту, как раз, приодели: на ее плечах свисал мундир. Над звуками музыки, здесь крайне громкой, услышало еще более громкие разговорчики собравшихся на балюстраде мужчин, в основном, молодых кавалеров. Они обменивались впечатлениями на тему девушек, высматриваемых с высоты на стеклянном паркете сибирской ночи.

- ...в пять лошадей.
- Погодите, погодите, а вон та кобыла в розах?
- Фекла Петровна? Даже врагу не пожелаю.
- А вот Милушин, пропустив пол-литра, заявил, что приударит за дочками Рептова.
- За обеими сразу? Ну-ну.
- За той, которая его с места не погонит.
- Амбициозный человек. Я бы и сам... А, коровушки гладкие!
- С этими сливочными сисечками...
- Ой, а попочек как крутит!
- ...на отчаянных вокруг княжны! Затопчут, затолкнут твари.
- А для Его Сиятельства опять же неприятности: как красавица его глазками светит, как улыбочки ловит, бюст выpires.
- Было бы еще чего выпирать!
- Не то что наша Аграфена после двух мужей, а?
- Э, про Агафью ни единого плохого слова!
- Ага, как вдох делает, все свечи кланяются.
- Тогда еще скажи про другие ветры, исходящих из нее через другой конец.
- В прошлом году, в салоне у Хейссов...
- А! А старшая Курогина?
- Господин Петр требует огромную потребность каяться. Господин Петр много нагрел с женщинами.
- Покаяние, хмм. Двести тысяч рублей плюс доля с заводов Курогина, когда старик копыта откинет.
- Ага, зенки кривые, да и зубы кривые – зато прямая дорога к состоянию.

- И к тому же, паскуда, обладает тем достоинством, что дура страшнейшая, посмотри на ее мать; Курогин ни единой девочки не пропустил, из курогинских незаконнорожденных целый эскадрон можно выставить, а у той кобылы хотя бы тень подозрения возникла.

- Эх, чувствуя, дорогие мои, что я влюбился, это вы мне женский идеал нашли!

- А полковнича Мерушкина? Похоже, еще свеженькая...

- Ба, так уже дважды заложенная! Вы только на ее платье гляньте.

- Вот это замечательная рецептура: считать ее по весу пух-золота на...

- Прочь отсюда!

- Чего?

В первого в бешенстве бросило мундирным верхом, стянутым с Афродиты.

- Вон с глаз моих! – рявкнуло, чувствуя, как внутри вздымается злобная горячка, багряный огонь, жгущий точно так же, как и Стыд, хотя и полная противоположность Стыду. – Животные! В деръме вам валяться, а не среди людей жить!

- Да что это вы...

Музыканты ударили в смычки; пришлось еще сильнее поднять голос, скимая кулаки.

- К живодерам! – орало я-оно, уже совершенно себя не сдерживая. – Мясо! Мясо! Мясо!

Те глядели, как на сумасшедшего. То один, то другой что-то бормотал под нос, опускал глаза. Пристойный юноша в кадетском мундире пихнул соседей локтем, те начали отступать к боковой галерее, кто-то налетел на статую кольбеносца, образовалось замешательство; после этого все повернулись и поспешно ретировались, последний через плечо бросил вульгарное слово.

Сила стекла столь же быстро, как и налилась в жилы; я-оно беспомощно оперлось о перила. Ниже, в зале, танцевали трепака, зрители хлопали в ладости. Под ухом гремели трубы и барабан. Нужно бежать отсюда, бежать! Закрыло глаза, только это не помогло; еще ярче на веках вырисовывались участники бала, а в первую очередь – *mademoiselle* Филипов. Ведь там все так же продолжается мясной базар, выставка отвращения, волны повторяемых под музыку движений: рука, нога, рука, нога, и так – до могилы, а после того – черви.

- Именно потому и не бываю.

Он встал рядом, выйдя из-за греческих голышей. Грудь его украшал всего один орден, впрочем, я-оно не узнало вида и класса знака отличия. Мужчина был худощавым, держащимся он официально, чуть ли не отклоняясь назад, высоко подняв голову; я-оно тоже выпрямилось, тот был выше на несколько вершков. Очень бледное лицо, гладко выбритое, практически свободное от светеней, на губах – мягкая улыбка. Православный тунгетитовый крест, подвешенный на шее, буквально резал глаза на белоснежной манишке.

- Зель Аркадий Иполлитович, – поклонился он.

- Бенедикт Герославский. – Тут же вспомнило про визитные карточки, нашло визитницу, вручило карточку Зелю. Тот даже не глянул.

- Знаю. – Плавным, балетным движением руки с визиткой он обвел зал внизу. – Его сын.

- Ну да. – Теперь пламя сменило направление, теперь оно палило вовнутрь; возвращался Стыд. Укусило себя в щеку, лишь бы не улыбнуться, не состроить собачью, умиленную, извиняющуюся мину. – Боюсь, снова сцену устроил. Вообще-то... Не такой я человек, не так замерз. Надеюсь на это.

- Не такой человек, чтобы грех вслух грехом назвать, а добродетель – добродетелью? – Мужчина спрятал визитку, указал налево; пошло вперед, Аркадий Иполлитович отодвинулся, чтобы не сталкиваться между статуями. – Что-то у меня в ушах звенит. – Вернулось в тень галереи; Зель остановил лакея, попросил стакан воды. – Именно потому и не бываю; отираешься о людей, и это на тебя садится, словно иней, загрязненный заводскими дымами, будто уличная пыль, словно жирная грязь. – Отпивая мелкими глотками воду, он заглянул в комнату рядом. Упившиеся мужчины метали рюмки в камин на противоположной стене. – Я говорю не о телесной грязи, вы же понимаете меня, Бенедикт Филиппович.

- Да.

- Чистота, труднее всего сохранить чистоту. Если бы мы жили в мире, в котором было бы возможно общение только душ... - Он вздохнул. Голос у него тоже был мягкий, текущий неспешными волнами, вверх и вниз; была в нем мелодия, ритм. – Какой идеал выше? Человек минус тело.

- Федорова читали?

- Чистота, брат мой, чистота. Вижу, вы то же самое отвращение испытываете, то же самое стеснение, бремя.

- Я...

- Так уж Бог устроил, что в этот мир мы приходим в мешке деръма, деръмом окрещенные, деръмо потребляющие; в деръме ходим, деръмом нам чувства затыкают; деръмо отдаем другим в знак любви; деръмо – наше счастье, деръмо – наслаждение. – Он склонился с озабоченным выражением на лице. – Но нам необходимо хотя бы пытаться очиститься! Невозможно из тела выйти – но можно...

От рывка я-оно чуть не упало, оперлось о призму-стенку. Кто это? *Herr* Биттан фон Азенхофф нагло пер к лестнице, издавательским взглядом прокалывая Аркадия Иполлитовича, который только приглядывался к этой сцене с печальным, ласковым выражением лица.

- Я забираю вас! – решительным тоном заявил фон Азенхофф.

- Да чего вы хотите, скажите на милость...

- Александр Александрович приветствует вас с надеждой, – говорил господин Зель. – Могу вам признаться, что Александр Александрович читал вашу *Аполитею* с большим вниманием, большие слова высказывал.

- Кто это такой? – спросило на выдохе, вырываясь наконец из железных рук пруссака.

- Ангел Победоносцева. Так что, есть тут у вас еще какие дела? Потому что, думается мне, для одного вечера вы тут и так уже достаточно навытворяли.

- Да что вы вообще себе позволяете?

Тот оскалил зубы.

- Спасаю вас, молодой человек. – Он щелкнул пальцами слугам, чтобы те принесли верхнюю одежду. – Еще немного, и он усадил бы вас на белого коня.

- Что?!

Фейерверки выстреливали на небе над хрустальным дворцом, когда двигалось по серпантину-склону в лунную тайгу, гремящую метелью: первые сани, вторые сани, третьи сани, компания веселая, перекрикивающаяся; четвертые сани – в четвертых санях сидело под медвежьей шкурой, с Биттаном фон Азенхоффом и тем могучим капитаном гусар. После первой серии фейерверков, из-под дворца пальнули искусственными огнями, только теперь уже напакованые криоугольными зарядами, так что те взорвались громадными цветами тьвета; и вот они уже, пройдя сквозь зимнахово-мражестекольную конструкцию дворца, разделились на тысячу и одну реку цвета и светеней. Я-оно находилось на нижней петле пандуса, губернаторский дворец маячил на звездном небе слева, так что не нужно было выкручиваться назад, что было, говоря по правде, практически невозможным, раз тебя закутали плотно в меха, шкуры, пледы, шали и одеяла из десятков беличьих, заячьих, соболиных шкурок. В зависимости от угла зрения и расстояния, с которого прокалывали дворец фритверками<sup>68</sup>, на небе по-своему рисовались коллажи света и тьвета, морские звезды, пожирающие свет, и морские звезды – свет сеющие, и одни переливались в иные, а вторые зарастали собой первые, и все они, в конце концов, спадали на обледеневшую тайгу дождиком искр и не-искр. Совершенно одуревшие олени крутили головами, громко звенели их богато украшенные колокольцы. Сибирь попеременно то гасла, то высвечивалась из глубокой ночи, словно пейзаж из Божьего сна, на который Он то глядит сквозь пальцы, то заслоняет перед Собственным взглядом и существованием.

- Ловит вас, я же видел, - хрепел существующий-несуществующий фон Азенхофф сквозь кашне и мороз. – Кто только готов обрезать якорь тела, хрррр, отречься телесных грехов.

- Так что же, к самоубийству склоняет?

- Нет! Самоубийство – грех! Это человек от Селиванова, от хлыстов и скопцов прошлого века. Хрррр. Подо Льдом к нему вернулась уверенность веры, снова режут.

- Победоносцев...

- Его... а кто его знает. Но вот Зель, хрррр, хрррр – вроде бы, почему его Ангелом зовут? – Пруссак ладонью в руке рубанул туда-сюда сквозь облако тьветистого пара, рраз-ддва, как ножом. – Аскапление сделало из него ангела!

- Вы хотите сказать, хрррр, что он евнух?

- Отбеленный! Обрезанный под царской печатью. – Рраз-ддва, снова рубанул он рукой. – Яйца и хрен, всё. Женщинам груди тоже выжигают, до кости.

- Так вы думали, - я-оно захлебнулось морозом, - что я согласился бы, чтобы мне...

- Ба! Ты сам бы это себе сделал.

- Кххрр!

- В том-то и оно – нужно мне вам противоядие дать, пока так не замерзните. – Фон Азенхофф выплыл из очередного облака мрака, на лице ироничная, ехидная гримаса. – В этом месяце будет мой добрый поступок.

Гусар загоготал басом.

Въехало на лед реки, Ангары или какого-то иного ее ответвления. После пары поворотов дворец и весь его светтывет, фейерверки-фритверки, радуги и затмения – скрылись за ледовыми обрывами, за рядами замороженных деревьев, прикрытых тулупами искристого снега. По руслу реки – по зимнику – можно было ехать быстрее, это был основной тракт, по дороге на бал я-оно тоже воспользовалось скованной льдом Ангарой. Возница стрельнул кнутом, пьяный буржуй из первых саней метнул в луну бутылку, кто-то из вторых саней, в свою очередь, хотел бросить бутылку в первого, но тут вмешался ветер, бутылка попала в оленя, упряжка рванула в один бок, затем – в другой, начался дикий слалом на белой глади; мужчины выли на луну, словно волки, быстро охрипнув, единственная девица, похищенная компанией с бала, пищала сопрано, первый буржуй поднялся из-под шкур и выгнулся за спинку саней, достав заднюю лампу и заменив ее на большой прожектор с криоугольным фитилем; и тут же первая и вторая упряжки въехали в смесь теней и светеней, из-за чего у животных спутались направления, и санный поезд раздробился на пять частей; вместо оленей по черно-белизне бежали искалеченные негативы оленей; вместо деревьев в тайге поднялись уродливые железные сорняки; лед превратился в раскаленную тьму, в поток угольной лавы; люди-тени, продырявленные светенями словно прожженные плоские фигурки, вырезанные из бумаги, гнулись на ветру, разбиваясь в порыве на конфетти снега-сажи; небо посветлело, Луна потемнела, ночь вывернулась наизнанку. Гей-гуляй, гууууляй, гуляяай!!! Адский санный поезд мчался сквозь Край Тьмы.

Так я-оно попало в Кошачий Двор.

Дом стоял под возвышенностью, то есть, он был хорошо защищен от ангарских ветров, а поскольку и от Дорог Мамонтов было далековато, то возможными опасностями, исходящими от земли, здесь тоже особо не беспокоились. Как сама возвышенность расширялась на сто-сто двадцать аршин вогнутым серпом, так и ряд застроек под нею, с трехэтажным домом посередине. Саны сразу же заезжали в настежь раскрытую, по-праздничному освещенную каретную. На подъезде, на последнем повороте от реки, стояли закутавшиеся в тулупы мужики, словно какие-то обезьянноподобные создания, направляя гостей к дому факелами. Очень многие сани прибыли сюда перед нами, возможно – с бала у генерал-губернатора, но,

<sup>68</sup> Искусственное слово. "Фейерверк" = работа огня, а "fritwerke", по-видимому, "работа льда" (хотя в немецком языке слова "fritz" я не нашел, но вот во французском слово "frire" означает "жареный") – Прим. перевод.

скорее, прямиком из Иркутска. Медведь на цепи ходил кругами за каретной, поднимаясь на задние лапы, как только новая упряжка со звоном колокольчиков выпадала из чащобы; его морда кривилась в неодобрительном выражении.

Сани не могли заехать все одновременно; образовалась очередь. Гусар поднялся с сидения, звал кого-то на ве-ранде. Я-оно слышало музыку, доносящуюся из подворья. Лаяла разбуженная псарня. Из пристройки на задах в клубах пара вывалились визжащие и пищащие фигуры, они начали гоняться друг за другом и кататься в снегу, мужчины и женщины, голенькие, как их Господь Бог сотворил; я-оно отвело глаза. На поляне за поленницей двое господ в дорогих шубах, скимающие в левых руках пузатые бутылки, правыми целились в тайгу, грохотали выстрелы из длинноствольных револьверов – во что они палили? По-видимому, в сосульку.

Вышло из саней, господин фон Азенхоф повел через веранду к главным дверям, освещенным лампами и факелами. В узких окнах перемещались силуэты веселых, танцующих гостей; дикая музыка, ни в чем не похожая на степенные мелодии из хрустального дворца, рвалась в лес сквозь стены из толстенных бревен.

Танцуют... Не думает ли *Herr* Битан вновь уговаривать танцевать? Развязало шарф, сбило снег с шапки, сбросило рукавицы. Правда или фальшь? Прошлого не существует, все воспоминания, не соответствующие настоящему... С третьей стороны: после стольких откачек, после стольких бросков монетой...

- Марушка! – загудел под ухом глубокий бас капитана, и сам он раскрыл объятия. Прямо в них влетела лучащаяся весельем девушка в платье с непристойным декольте, размахивающая бутылкой шампанского. Парни в расшитых рубашках помогали гостям раздеваться, им подавали чашки горячего чая, стаканы рома и водки. Лишь только высморкалось, почувствовало сладкий, цветочный запах, вписанный в окружающий воздух.

О штанину потерлась рыжая кошка; отдовинуло ее сапогом.

- Что это за место? – спросило у фон АзенхоФфа, который как раз отдавал приказы старшему мужику.

- Ооо, Кашачий Двор, мое убежище от городских забот. Чувствуйте себя приглашенным в качестве моего особенного, специального гостя.

Гусар залпом выпил бокал шампанского, под крутил покрытый инеем ус, схватил красавицу, одарил жарким поцелуем, облапал за попку, за грудь, после чего громко рассмеялся.

- Дом утех, дорогой мой господин Мороз, самый лучший *bordello* к востоку от Урала!

По-видимому, фон Азенхоф заметил ничего не понимающую мину, потому что без дальнейших церемоний схватил за фрак и потащил в глубину сеней, к людям. С его второго бока тут же появилась женщина в красном платье, с губами и ресницами, покрытыми пух-золотом, образчик чисто российской красоты, с длинной, пшенично-золотой косой, переброшенней через плечо. Она чмокнула Биттана в щеку.

- Вам следует выучить одно, – говорил прусский аристократ, крича над окружающим шумом. – Раз человек – это животное, то и женщина – тоже животное, действующее исключительно по животным потребностям, зато прекраснейшее животное. Катя, зайдись-ка Сынuleй Мороза.

- *Ce serait un grand plaisir pour moi*<sup>69</sup>.

Вспомнились варшавские проститутки, их кислые поцелуи, скрываемые зажиманцы-обниманцы, в тенях сырых съемных квартир или кабаков, эти бледные девицы, вечно недомытые, от которых даже в ходе грязного дела руки сами убегали, в инстинкте эстетического отвращения и вполне разумной нелюбви к бациллам, мандавошкам, вшам, наверняка сожительствующим на девице; то были даже если и не уличные проститутки, то знакомые по району или большому дому, дочери прачек, дочки модисток, дочки скупщиков краденого или мелких воров, редко-редко когда доченька пана адвоката или доктора, с которыми познакомился благодаря репетиторству или через дружка-студента – правда, с которыми, если не считать поцелуя или там объятия в уголке, дальше никогда не заходило. Тело имело доступ только лишь к грязным удовольствиям, чем сильнее грязняющих, тем более доступным. И тогда закрывало глаза, отворачивало голову, пыталось отогнать из ноздрей отвратительные запахи – лишь бы животное успело сделать свое: овладев телом, воспользоваться им и затем освободиться от животного желания. Чтобы сразу же после того забыть, забыть, забыть.

А тут вспомнило. Стыд ударил между глаз шестифунтовым молотом.

Я-оно отступило к дверям, подняв руки в знак того, чтобы никто не приближался.

- Мне все это прекрасно известно! Животное, так! Не следует меня убеждать в посещении гнезда разврата. От всей души благодарю за ваше гостеприимство, фон Азенхоф.

- Утром поблагодаришь. – Кивнув Кате, он что-то прошептал ей на ухо. – Не думаешь же, что я так легко позволю сдать тебя господину Безхуеву. Или пешком домой добираться желаешь? Потому что саней не дам. Ладно, ладно, без трагедий.

Катя, явно старшая среди всех девиц Кошачьего Двора, присматривалась с понимающей улыбкой, немного печальной, немного ироничной, немного нетерпеливой. Схватив за ухо какую-то служанку, она прошипела той какое-то указание. После этого откинула косу и указала на узкий коридор, идущий куда-то в бок под лестницей.

Выругав про себя фон Азенхоф и собственную рассеянность, ошеломление, благодаря которым позволило вывезти себя безвольно, словно дитя, хочешь – не хочешь, пошло за красавицей.

- Биттан говорит, будто бы вы желаете очищения, – говорила та, открывая очередные двери, а голос у нее был низкий, приятный, ближе к мелодичному шепоту, так что невольно человек подставлял ухо и наклонялся к карминово-золотистой Кате. – Он говорит, будто бы это все юношеский *Weltschmerz*<sup>70</sup>. Трав против этого у нас нет, но и банька тоже хороша. Прошу.

<sup>69</sup> Для меня – с громадным удовольствием (иск.фр.)

<sup>70</sup> Мировая боль, Мировое страдание (нем.)

Большой дом соединялся с небольшим зданием, в котором размещалась баня. Уже в предбаннике царили сырость и жара; Катя остановилась у порога, подгоняя идти быстрее. Шлепая босыми ногами по залитому водой полу, подскочила банщица: крепкая, румяная крестьянка, в совершенно промокшей рубашонке и юбке. Катя прищелкнула язычком и, отступив, закрыла двери. Сделалось еще жарче. Фрак, жилетка, сорочка, вся дорогая одежда – сейчас же все промокнет до нитки. Банщица ухватилась за пуговки, за запонки. Оттолкнуло ее, более грубо, чем намеревалось. – Сам! – Повернувшись к женщине спиной, поспешил разделось, заматывая Гроссмейстера в брюки, после чего перешло в помещение с тазиками, ведрами, текучей горячей и холодной водой, чтобы обмыться перед тем, как войти в парную. Здесь застало забывшуюся в амурных играх парочку: девицу, без какого-либо смысла закутавшуюся в промокшую и ставшую совершенно прозрачной ткань, и розового словно поросенок толстячка, гонявшегося за девицей с пучком березовых веток в руке. Толстяк был совершенно голым, девица – полуголой, их не закрывал пар, да они и сами не скрывали собственной наготы; с веселым смехом они помчались в белые клубы: шлеп, шлеп, шлеп. Стиснув зубы, обмылось, как можно скорее. Что за варварские обычаи, что за бесстыдство, воистину, приличествующие только дому с блядями!

А в той парной, громадной, выстроенной на камнях и больше целого этажа в высоту, человек мог и заблудиться, настолько воздух был пропитан здесь паром, а кроме того – температура и влага, и та липкая банная духота сразу же творили что-то странное с головой, что уже после пары шагов шло сквозь синие клубы словно сквозь бесконечные туманы внеzemной страны: в глазах все крутится, мир, наблюдаемый зрением, все время обманывает. Нужно сесть, опустить веки, ровно и спокойно подышать. В этом и заключается величайшее достоинство этой бани: тысячи вещей можно увидеть в этом пару, но никто не увидит тебя, скрытого, смазанного.

Уже через минуту-две я-оно почувствовало, как грязный и тяжелый пот выходит из тела всеми порами. Это чувство было столь выразительным, столь физически ощущимся, то есть, не возбуждавшим каких-либо сомнений в организме, не порожденным умственными миражами, что тут же появился образ жирных червей, похожих на дождевых или угрей, сложенных из всяческих внутренних нечистот, как они выталкиваются сквозь мельчайшие отверстия кожи, как вытекают из них длинными каплями-соплями, оставляя мясной сосуд более легким, мягким, белым, чистым. Пускай даже и не полностью очищенный, но после посещения бани человек себя чистым чувствует. Я-оно слышало ритмичное бичевание других парящихся. А это бьет в голову. Поискать рукой наощупь, хлестнуло в лицо водой из ведерка. Выходит – выходит – выходит, Ангел Победоносцева, это скопец обрезанный. Только фон Азенхофф ошибается, считая, будто бы видит в этом очередном сибирском безумии, в этом, вроде бы, обязательном и безошибочном пути к российскому спасению – будто бы видит в этом нечто от Правды. Но ведь это же чистое безумие! Как он вообще мог предполагать подобное?

Вытерло воду и пот со лба, с глаз. В тумане мелькали неясные формы. Неужто здесь зажигали миражестекольные лампы? Тени голых людей – красивых и уродливых – перемещались в пару; пар приделывал им слоновьи хоботы, бычьи рога, конские члены, лягушачьи лапы, ангельские крылья. Вновь стиснуло веки. А все из-за шестидневного поста. Я-оно замерзает. Бросало монетой и так, и сяк, но, под конец, Бенедикт Герославский, видимо, возвращается к Бенедику Герославскому. Ведь с чего же начался граф Гиеро-Саксонский и все очередные, сопутствующие фальшивки? С дорогих костюмов, с чистой сорочки, пахучего одеколона, с драгоценного перстня и бриллиантина на волосах, из миазмов шикарной жизни. Варшава, доходный дом Бернатовой, обосранный сортир, вся та вонючая, вшивая, достойная лишь рвоты жизнь – шарах, лезвие гильотины отрубило ту правду. Прошлого не существует. Имеется лишь нынешний миг. И, пожалуйста! Я-оно танцевало!

Но, тем не менее – все это ложь. Я-оно замерзает в самом центре Зимы, ведь это уже не транссибирская поездка, это Город Льда, тьмечь напирает; уже нельзя жить любыми противоречиями. Шарах! Гильотина рубит до конца, всякая вещь принадлежит либо левой стороне, либо стороне правой. Тело либо дух! Преходящая жизнь или надвременное бытие. Господин Блютфельд или доктор Конешин. Лето или Зима. Человек либо Бог. Гнилой, вонючий труп, разлагающийся на жаре, под миллионом мух – либо математика. Тирания людской случайности – либо аполитея. Животное – либо...

Вылило на себя остатки воды. Вот только какой здесь интерес у Биттана фон АзенхоФфа, чтобы Сын Мороза не позволил себя сделать подобным ангелам? Нет Щекельникова, чтобы тот брал на себя бремя подозрений, необходимо травиться самому. А вот это с каждым разом все сложнее; все чаще, поначалу действуешь, прежде чем представишь с дюжину возможностей измены и лжи, и стыда. Подозрительный вы человек, господин Бенедикт. По сравнению, именно такое впечатление и создавалось – потому что они ведь не подозревают. Подозрительность – это состояние неуверенности – а они уже прикоснулись к единоправде, тьмечь течет у них в жилах, замораживает мозги. Парадоксально, потому-то Чингиз Щекельников и представляет собой идеальный щит: он заранее знает, что всякий человек ему враг, и что этот всякий желает ему наихудшего. Вот с кем бы сейчас поговорить: с одноглазым Ефремом, последователем святого Мартына.

Последний червяк выполз из тела, вышло из парной, пошатываясь и ведя по стенке легкой, бумажной рукой; снова обмылось, на сей раз ледяной водой; банщица принесла водку и кимоно; оделось в мягкий, удивительно гладкий шелк, одним глотком принял стакан водки; вошло в прохладный, прозрачный, пропитанный благовониями воздух Кошачьего Двора. Ангел ступал по персидским коврам.

Вокруг животные предавались животным похотям. Не все попрятались по отдельным комнатам, за закрытые двери. За длинным столом, заваленным пирогами и мясом, мужчины, размалеванные жиром и вином, запихивались очередными лакомствами, перебрасывая еду через стол кусками и горстями, дорогие фрукты, привезенные из теплых краев, раздавливая в декольте девиц, выливая им прямо в горло напитки различного цвета, что покрывали пятнами их изысканные платья. Коты прохаживались между серебряной посудой. Банкир и советник, один в очках, другой в парике, а помимо того – совершенно голые, вылизывали икру из закоулков обильного тела уже спящей девки – багровые и сопящие, словно катили сизифов камень; девица похрипывала, они же высверливали носами и языками в ее складках, щелях и владинах, темной волосней заросших, залитых потом, зажерненных драгоценной икрой. Коты приглядывались к ним из-под портрета царицы

Екатерины. В комнате, устроенной по-турецки, на полу, заваленном сотней подушек, гусарский капитан облезжал выпяченный зад Марушки; ее голова и плечи были полностью втиснуты, затоплены во все эти подушки, так что все, что выставало на мерцающий свечной свет – это спина в веснушках, худые, дрожащие бедра и задница, от ударов ухарского вояки уже красная, в которую вояка-ухарь совал Марушке в ритме, замечательно натренированном к галопу и рыси; при том выпирая торс вперед, хлопая обвислыми, сморщенными ягодицами и идиотски при этом подфукивая, так что мотались усы. Коты бродили среди подушек. Гладкошерстый вынош, едва-едва гимназического возраста, лишенный где-то по дороге портока, улегся с красавицей, в свою очередь, обнаженной от пояса вверх – его ноги на этажерке, голова на шезлонге, рука в ночном горшке с блевотиной, вторая – под юбкой у девицы, ее голова втиснута ему под пазуху, и спят оба в этой невозможной позиции, обмазанные телесными выделениями, блестящими словно слизь. А коты их слизывали.

*Herr* Биттана фон Азенхоффа и его Катю я-оно обнаружило в угловом салончике первого этажа. Из патефона неслышь звуки "*Vesti la Giubba*"<sup>71</sup>. Катя, подвернув ножки на плюшевой оттоманке рядом с элегантным пруссаком, что-то щебетала тому на ухо. Фон Азенхофф курил длинную, цветную трубку, с чубуком из кирпично-красного коралла, глядя из-под опущенных век через окно напротив на обледеневшую тайгу, на белоцветную метель, бушующую над нею, на половинку Луны, подобную луже синих чернил, и на выступающий из-за дерева хребет лята лунного цвета. Пахло араком<sup>72</sup>.

Я-оно остановилось у порога, крепко вбивая голые стопы в ковер – ибо, как еще ангел жаркий, изошедший потом, должен закрепиться на земле, сопротивляясь внутренней дрожи, отвращению и священному гневу?

Господин Биттан прижал палец к губам. Трубкой он выполнил приглашающий жест, уже сонный, неспешный. Помявшись немного, уселось в кресле между окнами, тщательно подворачивая длинные полы кимоно под ноги, руки сложив на груди. Катя даже не глянула; макая пальчик в рюмке с араком, она затем проводила им по губам фон Азенхоффа, когда тот вынимал мундштук изо рта.

Под оттоманкой зевал кот.

Пластиинка закончилась, Биттан выгнулся назад, протянул чубук и остановил им устройство.

- Катя, - промяукал он, - наш гость одинок.

Та протянула руку к звонку.

- Нет! – воскликнуло я-оно. – Подожду до утра и уеду вместе с первым же, возвращающимся в Иркутск.

- Нехорошо, нехорошо, - урчал пожилой дворянин. – Такая неблагодарность, такое презрение.

- Презрение! – фыркнуло я-оно.

- Ну конечно же. Когда вы едите – прикрываете рот, отворачиваете голову. Когда пьянеете – то в одиночестве, правда?

- Приличия, они требуют...

- Приличия! – отшатнулся немец. – Вот оно как вы себе лжете? Или это вас научили, выдрессировали?

- Нет, - ответилотише. – Иначе просто не могу.

- Могу поспорить, что это вы сами выбрали, и наверняка, даже вопреки собственному семейству – эту вашу математику, логику. Так?

- Другого себя и не помню. – Я-оно выпрямилось в кресле. – А память, что память? Это вовсе не означает, будто...

- А из любви – что вы когда-нибудь публично сотоварили низкое, животное, под воздействием любовного желания?

- Сейчас он чистый, - мягко сказала Катя и покрепче прижалась к фон Азенхоффу.

- Такая у вас любовь...! – с издевкой засмеялось я-оно. – Уж лучше скажите, чего вы от меня хотели, что затащили в этот лупанар<sup>73</sup>.

Тот пожал плечами, пыхнул дымом.

- Ничего.

И сразу же отметило эту правду его характера. Он, возможно, единственный среди них всех, ничего от Сына Мороза не желает, нет у него каких-либо планов, опасений и надежд, с ним связанных – дело в том, что ему глубоко плевать на Историю, плевать на государства, религии, национальности; Биттана фон Азенхоффа ни в малейшей степени не волнуют ни прошлое, ни будущее: настолько он сконцентрирован на себе самом и на удовольствии, переживаемом в данный момент. Его абсолютный эгоцентризм гарантирует сатанинскую незаинтересованность. Ведь и святой не творит добро потому, что для него это выгодно, ни дьявол не творит зло в соответствии с какой-то хладнокровной стратегией – они делают то, что делают, поскольку в данный момент для них это наиболее приятно.

- *Mauvais sang ne saurait mentir*<sup>74</sup> – буркнуло я-оно и вздрогнуло, когда от окна повеяло холодом. – Вас это развлекает, вы неволите людей, давая им роскошь, тем самым надевая ошейник на животных, что существуют в людях.

Катя подлила араку. Фон Азенхофф медленно слизывал спиртное с кончиков ее пальцев.

- Что меня развлекает... - вздохнул он, устраиваясь поудобнее на оттоманке. – По крайней мере, вы не плюете в меня латинской моралью. Но у русских имеется более предметное отношение к телу. С одной стороны – Селиванов, с другой стороны – Данило Филиппович; а вера одна и та же. Вот только с тем, что сразу же все это идет в ужасные экстремумы:

<sup>71</sup> "Пора выступать, пора надевать костюм" – ария Канио из оперы Р. Леонковалло "Паяцы".

<sup>72</sup> Азиатский крепкий алкогольный напиток золотисто-желтого цвета. Спирт получают в результате перегонки перебродившего ржаного сусла и патоки из сахарного тростника (на Яве) или с добавлением сока сахарной пальмы (в Шри-Ланка, Бангладеш, Сиаме и Индии). Также приготавливается из сока пальм, фиников, проса, риса и других растений, содержащих сахар. Выдерживается в дубовых бочках. Крепость – от 32% до 58%. – Википедия.

Лучший арак производится на острове Ява, в Сиаме и Западной Индии.

<sup>73</sup> Публичный дом в Древнем Риме.

<sup>74</sup> Дурная кровь не может лгать (фр.)

либо абсолютная правда, либо ложь конца света, и ничего посредине; режут и выжигают из себя пол и телесные желания, либо же устраивают постоянные оргии целых общин. Сложнее всего, - он провел ладонью перед лицом, - удержаться где-то посредине. А вы – вы быстро соскальзываете. Впрочем – вы математик.

Я-оно выпустило иголки.

- И что с того, что математик? От чисел никто еще яиц с хером сам себе не отрезал!

Немец снова скривился, выдул клуб дыма.

- Скууучно, - протянул он, - он начинает быть нууудным. Катя, что мы сделаем с *monsieur* Морозиком, мmm?

- Вы желали поиграться со мной, бросить среди животных и глядеть, как из Сына Мороза вылезает чудовище!

- Он теперь чистый, - повторила Катя, почему-то на ее лице поселилась печаль, обрамленная золотом и светенью.

Господин фон Азенхофф, переложив трубку в левую руку, правой рукой обнял красавицу сзади и впустил ладонь в декольте розово-красного платья, чтобы сразу же затем, мягким, сонным движением извлечь оттуда на керосиново-лунный свет белую грудь, охватить ее колыбелью старческих пальцев и перебрать ими сосок, такой же розово-красный, как и плаТЬе.

- Забава, забава, забава, - напевал он, - но какое тут удовольствие для кого-нибудь, кто все удовольствия давно уже купил? Съешь на тысячу пирожных больше? Выпьешь ведром шампанского больше? Накопишь в закромах больше золота и бриллиантов? Выстроишь хрустальные дворцы, чтобы другие завидовали явно – и из этого поимеешь удовлетворение? В первый, второй раз – возможно. Но когда уже обогатишься так, что никто с этим богатством тебе не сможет угрожать, когда уже все завидуют – что тогда? Конкуренты, которых следует победить – уже побеждены. Враги, которых нужно унизить – унижены. А последующий миллион или два миллиона – какая тут разница? Все удовольствия, которые ты способен купить – поскольку можешь их купить, уже не радуют.

...В ту галантейную лавочку я зашел, расставшись с продажной дамой на пороге "Аркадии"; дрожек брат не стал, а тут дождь, я побыстрее под маркизу, зазвенел звонок, какой-то покупатель как раз выходил – и я вошел. Лавочка маленькая, уютная, а за стойкой миленькая девочка, еще цыпленочек, только-только с детством попрощавшаяся – заметила пальто, сюртук, перстни, глазки у нее расширились, дыхание затаила. Я улыбнулся, поклонился. Она в ответ присела в книксене, возвращая улыбку, беленые зубки показывая. Дождь хлестал как из ведра, что мне еще было делать, заговорил с девицей, пошутил, подмигнул. Фа-фа-ля-ля, а девушка, оказывается, не только улыбаться может, весьма приятная неожиданность: решительная, с задором, рассказывает про слепую бабку, что всех сожителей способна поцарапать; про дядюшку с тяжкой подагрой, который как-то от боли настолько взбесился, что пытался ногу себе отрубить; а это их семейная лавочка, она после обеда здесь продавщицей. Не успел я и оглянуться, а дождь уже и перестал, полчаса, а то и больше прошло в приятной беседе.

...Через неделю или две, в такой день, когда я уж слишком устал после долгих банковских переговоров, проезжая в тех сторонах, заметил вывеску галантереи, и тут же появилась идея, как можно поправить себе настроение. Вошел. За стойкой та же девочка. Вы что-то пришли купить? И глазки ее уже смеются. Входили и выходили какие-то покупатели, а мы все продолжали перешучиваться. На выходе бросаю на стойку двадцатипятирублевый билет. Это за что же, морщит бровки девушка. А за время, мне посвященное, отвечаю с порога, и меня уже нет. При последующем визите дамочка желает мне возвратить эти рубли, в карман сует – уворачиваюсь со смехом, добавляю еще столько же. И так между нами игра такая возникает: я даю после беседы, она возражает, а чем больше она возражает, тем сильнее я деньги отталкиваю. В этом игра и заключается – ведь, по правде, у девушки и в голове нет такого, чтобы возвращать мне рубли. Я выхожу и плачу; а все остальное – только шарм и флирт.

...Весна чудная установилась, а может мадемузель пораньше лавочку закроет, все равно покупателей нет, а так славно сейчас по городу прогуляться. Так не могу, гэрр Биттан, дядюшка на меня полагается. Вытаскиваю радужную бумажку<sup>75</sup>. Для дядюшки сплошная выгода; заплачу, заплачу хотя бы за четверть часика. Оба смеемся. А весенний Иркутск и вправду прелестен.

...С тех пор я уже всегда платил заранее – перед беседой, перед прогулкой, перед затраченным временем. Элементом игры здесь является и величина суммы. Если вытащи номинал поменьше, дамочка разыграет разочарованность и лично опечалит: это с чего же снижение такое? Так что дорога лишь одна: вверх, больше, выше. Беседы подольше, прогулки подлиннее, ведущие в более богатые районы, там уже я кланяюсь и приподнимаю шляпу, но и дама, под ручку взятая, тоже бывает представлена. В театр, прошу вас, вечером все идем в театр! На что она отводит меня чем быстрее и шепчет, что не может – но почему же – а не в чем в обществе показаться. В связи с чем покупаю девушке вечернее платье. Она еще спрашивает о цене и кислую рожицу строит; но уже в пятый, седьмой, двенадцатый раз – туфельки, бижутерия, вуали, перчатки, изысканные туалеты целиком – теперь глядит уже только на их красоту. Я же покупаю исключительно красивые вещи, самые красивые!

...За прогулку, за обед, за ужин, за театр – когда девушка меня целует, плачу и за поцелуй; когда идеей какой-нибудь застает меня врасплох, плачу и за подобные изобретения. Плачу, - но вместе с тем и покупаю – и, следовательно, требую, выбираю, оцениваю; не посредством того, что склоняю к тому, но ведь и не бывает покупок без подобных условий, как нет света без цвета, звука без тона. Прически, одежки должны мне нравиться, именно такая, а не другая линия юбки, такой, а не иной корсет. Само поведение девушки – она ведь проиграла бы, если бы с этим не справилась – голову повыше, улыбайся, перед тем присядь в книксене, этого проигнорируй, вон с тем потанцуй, а с тем поговори. А уже потом: получишь полста рублей, если с господином прокурором пофлиртуешь; сотку – если женушку вице-директора до ревнивого бешенства доведешь; сотка, а то и больше, если дряхлому старику на мгновение покажешь, так что у того и речь отнимет.

<sup>75</sup> Банкноту в сто рублей.

Двести – если в течение всего вечера будешь такой-то и такой женщиной. Красивой! Прекрасной! Четыреста, если в течение всей ночи.

...Ибо в том и дело, *monsieur* Герославский, что если бы тогда я вошел и сказал невинной девушке из лавочки с лентами: "Заплачу тебе состояние, если блядью мою на ночь станешь" - она бы только по морде бы мне дала и за городовым побежала. А тут вся забава и удовольствие заключается в том, чтобы купить такую вещь, которую купить невозможно.

- Так вы ее попросту соблазнили.

- Катя, разве я тебя соблазнял?

Катя подала ему на пальчике капельку арака.

- Вы меня купили, *Herr* Биттан.

Проглотив злое слово, заново пригляделось к Кате, уже повнимательнее. Пудра и золотой *taquillage* прикрывали уже не такие уже и мелкие морщины. Это была зрелая женщина, ей следовало бы иметь детей, семью и будущее в этой семье. Эта ее печаль в светлых глазах – нет, это не было мимолетной миной; такова правда о Кате, девочке с ленточками.

- Когда же все это происходило? Весной, вы сказали. Еще перед Зимой Людовик, так?

- За год перед тем. – Азенхофф поцеловал Катю в запястье. – Купил я ее, и так оно и замерзло.

Они образовывали воистину впечатляющую пару – точно так же, как бывает впечатляющим человек со смертельной опухолью или ребенок с двумя головами. Я-оно отряхнулось от мыслей.

- Забава! – простонало хрипло, заслоняя глаза. – Вы и дальше желаете играться мною. Почему вы не взяли себе в кровать какую угодно подфонарную путану, вместо того, чтобы растлевать невинную девочку? Это уже не животная похоть, это банальная подłość!

Фон Азенхофф разочарованно зачмокал. Выплюнув длинную дымовую змею, он ущипнул Катю в бледное мясо груди; та в ответ вонзила ему ноготь в подбородок. Пруссак усмехнулся.

- Именно те, что не знают и не ценят удовольствий тела, наибольший фетиш именно из тела и делают, – сказал он, отложив трубку на стоящий рядом столик. – А ведь тело, хотя и дает возможность удовольствию, само по себе удовольствий не дает. Если бы это были грехи чисто телесные, как вы это в своем юношеском идеализме представляете, грехи, от которых спасут острый нож и раскаленное железо – тогда воистину правы были бы козоебы и последователи Онана, что достаточно всего лишь соответствующий нерв хорошенко возбудить и – вот, все. А ведь это не так! Что составляет различие: не тело, но то осознание в тебе, кто сквозь глаза того тела на тебяглядит. Откуда ведь наивысшее возбуждение и из чего *la puissance d'Éros*<sup>76</sup>; по причине встречи с духом, телом правящим. Поэтому-то и не расплакит во мне огня блядь, пускай даже самая красивая, самая молодая, со скульптурными округлостями и устами словно мед, если за ее глазами явижу всего лишь глупую девку, оторванную от коров, которая не способна осознать собственные поступки, да и высказаться о них не способную. Зато, когда я встречаю женщину сильного духа, с пробужденным интеллектом, разгоняющим в одну секунду тысячи фантазий, равную мне широтой мыслей и желаний... Monsieur Герославский, иногда не обязательно даже сближения тел, будет достаточно, что гляну ей в глаза. Чем больше осознание *présence d'Éros*<sup>77</sup> за женскими глазами, тем больше удовольствия от ее тела.

...Так что, как сами видите, – смеялся он, – я наибольший сторонник эмансипации женщин!

Фон Азенхофф прижал к себе Катю и что-то нашептал ей на ушко. Женщина отставила рюмку с араком и сползла с оттоманки на ковер, показывая босые стопы из под карминового платья. Она не застегнула корсета, не подтянула бретелек. Опустившись на четвереньки, она подняла золотой взгляд из серьеznых, абсолютно не мигающих, раскрытых словно в каком-то гипнозе глаз – так что было совершенно невозможно собственного взгляда, зацепившегося на ней, оторвать и отвернуться самому. Длинная ее коса упала на плечо, волочась по ковру, когда Катя медленным, кошачьим движением переползала через комнату. Платье ее шелестело, кот урчал.

- Вы не найдете в моем Дворе девушки, которая не умела бы читать и писать, вести на различных языках бесед об искусстве и политике, – продолжал говорить Биттан фон Азенхофф. – Не найдете вы здесь и девушку, совершенно лишеннюю собственных сумасбродных настроений, не способную выцарапать тебе глаза в момент гнева, а себе – в отчаянии – порезать вен. Если бы не Катя, я бы никогда не справился с этим домом гетер. За то...

Добравшись до кресла, Катя забралась выше, потянула полы кимоно, золотые губы влажно блестели; она провела холодными пальцами вдоль икры, бедра...

Я-оно схватилось, выбежало в коридор, в сени и к двери, под которыми дремал мужик в бараньем тулупчике; опрокинуло мужика, выбежало на крыльцо, и с крыльца на снег и мороз. Ледяной воздух ударил в кожу и влился в легкие словно жаркая жидкость, едкая кислота. Подавившись кашлем, упало на колени.

Снег, девственный, белый снег, зеркальная, искрящаяся гладь – лед, лед, чистейший – собрало горстями верхнюю мерзлоту, втерло в расплакенное лицо, в грудь. Ветер сотрясал покрытыми сосульками деревьями, на горизонте Луна бросала рефлексы на тушу лягушки, тени и огни из окон высшего этажа Подворья мигали на инее, там люди развлекались, пили, чужеложествовали, танцевали... Ело снег, пило мороз. Правда или фальшивь? Правда или фальшивь? Прошлого не существует, все воспоминания... А с четвертой стороны: палец, палец пана Коржиньского!

Почувствовало шубу на плечах – фон Азенхофф закутывал в меха, тянул назад в теплый дом. Я-оно вздрогнуло, на момент вырвалось – но уже не было в состоянии вырваться из его стальных объятий. Лед таял во рту.

<sup>76</sup> Власть Эроса (фр.)

<sup>77</sup> Присутствие Эроса (фр.)

- Возьмите себе самую чистую, самую белую, самую невинную, - шептал пруссак, и его дыхание благоухало табаком и араком. – Нет у меня для вас девочки, нет у меня для вас ангела. Зато имеются красивые зверьки, жадные до удовольствий – и все то, что имеется у них за глазами.

## О Царствии Тёмноты

Зимназовый лифт, грохоча, едет в адскую темень, что висит в небе над Иркутском.

- Не смотрите на него, – говорит Ангел Победоносцева. – Вы ничего не увидите, но, все равно, не смотрите.
- Так потому он живет в темноте?
- Потому и живет.

Башня Сибиржокето изнутри кажется намного меньшей; не столько низкой, сколько узкой. Этажи, которые мелькают в скрежещущем грохоте – пятьдесят второй, пятьдесят третий, пятьдесят четвертый, где размещаются конторы Товарищества – по площади не превышают и половины Лаборатории Круппа в Часовой Башне. Апартаменты Александра Александровича Победоносцева – это шестьдесят девятый и семидесятый этажи, но над ними еще располагается решетчатая надстройка подъемного крана с вторым венцом мрако-светных прожекторов и мачтами Магнитно-Метеорологической Обсерватории (Сибиржокето спонсирует исследования Черного Сияния). Вблизи же башня Сибиржокето при всем при том вызывает впечатление еще более топорной, банально спроектированной, сварганенной с фантазией кузнеца: заклепки величиной с конскую голову, гигантские решетки, профили, прутья и листы, зимназо на зимназе – нет хотя бы четверти той архитектурной легкости и субтильности, которые мы видим в башнях Холодного Николаевска и более новых конструкциях с применением технологий Льда, спроектированных господином Рубецким.

На высоте пятидесяти этажа проехало мимо телескопических установок, подзорные трубы на зимназовых стрелах и консолях, выступающих за пределы башни. Отсюда полицейские геологи прослеживают наземные перемещения лютов, чтобы консультироваться с бурятскими шаманами по поводу официальных ледовых прогнозов, которые затем размещаются в бюллетенях, публикуемых Сибирским Холод-Железопромышленным Товариществом.

А выше пятидесяти этажа сумерки нарастают уже с каждым аршином подъема к небу.. Я-оно погружается в тени, вступает в ночь. А в это же самое время в Городе Льда утреннее Солнце извлекает из снежной белизны тысячи солнышек-зайчиков, а текущий по улицам туман – по улицам, словно капиллярным линиям большого пальца, сунутого в Ангару – сочно пропитан радугами.

До шестьдесят шестого этажа я-оно молчит. На шестьдесят седьмом не выдерживает и спрашивает вполголоса:

- Он тоже отдался от тела?
- Нет.
- Ага. А мне казалось, что это по той же причине...
- Нет.

Тьвет попеременно со светенями заливает кабину лифта, невозможно прочитать выражение на гладком лице Ангела.

Лифт въезжает на шестьдесят девятый этаж. Кабина останавливается, двери открываются, господин Зель выходит первым.

Передняя и весь этот этаж, поскольку лишены окон, тонут в фарфоровом блеске светени от глубинного мрака за стенами. Я-оно проходит через небольшую прихожую, где монголоидный слуга в темной ливрее берет шубы и шапки, шарфы и рукавицы (вся личная обслуга председателя Сибиржокето состоит из обрусевших бурятов). Зель ведет к лестнице. Пол из зимназовых плит покрывают звериные шкуры, я-оно ступает неуверенно, западая и спотыкаясь на неровностях.

В узкой комнате без какой-либо мебели два сильноруких бурята в гимнастерках с эмблемой Сибиржокето сдвигают от стены бархатный занавес. Эта стена – по сути своей – представляет одно громадное мираже-стекольное окно, похожее на панорамные окна Часовых Башен. Один из мрак-прожекторов был специально направлен вовнутрь помещения; его тут же заливает черная пена тьвета.

- Идите.
- Куда?
- Идите, идите.

Это их очередное средство предосторожности. Когда я-оно проходит через комнату, на противоположной стене танцует светень идущего силуэта: уродливая мазня негатива темноты, перетекающая на краях в ту или иную сторону. Буряты с пристальным вниманием всматриваются в нее.

- Стой!

Один хватает за правую, другой за левую руку, суют лапы в карманы, за воротник, под пиджак, под жилет, вытаскивают неуклюжий пакет. Обнажив Гроссмейстера, они, ослепнув, отпрыгивают. Ангел Победоносцева кричит, на фоне окна мелькают световые пятна, светени нерегулярно скачут по стенам. Револьвер пылает.

Я-оно задвигает занавес. Возвращается монохроматическая освещенность, Гроссмейстер гаснет.

Зель приглядывается с весьма мрачной миной на лице.

- Так вы нас обманули.
- Забыл. Я всегда с ним хожу. – Я-оно раскладывает руки. – У меня тоже имеются враги, уже только лишь потому, что существую, вы же это прекрасно знаете.

Зель отпихивает Гроссмейстера под ноги готовых прыгнуть бурятов.

- Он желает говорить с вами наедине, но и без оружия вы являетесь для него точно такой же угрозой.

- Для Александра Александровича я никакой угрозы не представляю.

Ангел стискивает бескровные губы, сплетает длинные руки за спиной, склоняет голову.

- Я знаю, кого увидел на балу у губернатора, и знаю, кого вижу сейчас. Но этот револьвер...

- О, Господи, ну забыл, я совершенно не думал, что вы меня станете обыскивать!

- Вот именно. И зачем он сделан из тунгестита?

- Не из тунгестита. Это такой никелевый холод с высокой противотермической проводимостью – чтобы стрелка мороз не убил на месте. Потому что пули – пули из тунгестита.

- Пули. – Ангел оглядывается на бурята, который, взяв двумя пальцами Гроссмейстера за ствол-ящерицу, поднял его к глазам. – Да, это оружие Сына Мороза. – Господин Зель болезненно выпрямляется (как это у него не трескается выгнутый назад позвоночник?), откашливается и на мгновение прикрывает глаза. – Прошу подождать, – бросает он и быстро поднимается в темень семидесятого этажа.

Я-оно остается с двумя бурятами, один из них все еще держит в вытянутой руке Гроссмейстера – словно дохлую змею. На щекастых лицах инородцев не выражается каких-либо эмоций, которые способен прочесть белый человек. Заговорить с ними, объясниться, может быть, подойти, сделать дружественный жест? Математика характера, алгоритмика расы не оставляют каких-либо сомнений: все это напрасно, эта система выстроена на других аксиомах, человека посредством нее не просчитаешь. Я-оно стоит в неподвижности, со столь же пустым выражением на лице. Слышен лишь отдаленный грохот подъемного крана и визг трущихся один о другой элементов металлической конструкции башни.

Ангел спускается с высоты, делает приглашающий жест рукой. Я-оно входит в апартаменты Победоносцева.

Все стены выполнены из мираже-стекла, отовсюду льется резкий тьвет. Аркадия Ипполитовича и заполняющую апартаменты мебель я-оно видит лишь по их обрывочным светеням. Но имеются здесь и такие предметы, ни формы, ни предназначения которых пока что не способно вычислить – вешалки с дюжины крючков? проволочные стеллажи? вращающиеся клетки?

Несимметричное скрещение потолочных балок делит этаж на неравные четвертушки; Зель отводит занавес и отодвигает его в сторону. Его светень на потолке вытягивает кустоподобные конечности, вспыхивает коровьей мордой, из которой тут же появляются электрические щупальца.

- Не гляди, – шепчет.

- Этот свет...

- Он.

Александр Александрович Победоносцев, которого собственными глазами не видел никто из жителей Иркутска, председатель совета директоров Сибирхокето и фактический повелитель Города Льда пылает холодным огнем на возвышенной площадке между зеркалами тымы, заливаемый тьветом от окружающих башню криоугольных прожекторов – очертание негатива этой черноты, гештальт<sup>78</sup> ледового жара – только это и видно от Александра Александровича. Я-оно прикрывает глаза предплечьем и так приближается к площадке.

- Можете надеть очки, – слева и справа разносится металлический голос, я-оно вздрагивает, крутя головой во все стороны, делаясь слепым, когда попадает из столба света в темноту – все бесполезно. Нервно вытаскивает мираже-очки, надевает их на нос. Те растворяют сконцентрированную светень в радугу и мягко передивающиеся калейдоскопические образы, в которых совершенно уже невозможно распознать лиц или же форм внутри силуэтов.

"Зашифровался", думает я-оно, остановившись перед площадкой. Здесь пахнет механической смазкой, а еще – озоном. Это металлический призвук – патефонные трубы, усилители, смонтированные по бокам, из них исходят слова Победоносцева. Кто глядит, человека не увидит – только древо светени; кто слушает, человека не услышит, только затертую пластинку. Остается лишь содержание его слов, а этого крайне мало. Зашифровался, он, первый лютовчик, лучше всего знающий принцип Края Лютов; именно так скрывается он перед математикой характера, чтобы никто не смог его решить. Потому-то, несмотря на многие годы подо Льдом, для всех он остается в буквальном смысле нерешаемым. Не отсюда ли его могущество?

- Венедикт Филиппович Герославский, – звучит отовсюду, и на сей раз я-оно удерживается от того, чтобы разглядываться по сторонам.

- Александр Александрович Победоносцев.

Что-то скрежещет в динамиках: кхррр, тртррр, крркк – это смех Победоносцева.

- Вы пришли ко мне с револьвером. Ах, ах. Убить меня хотите.

- Зачем? Зачем мне вас убивать?

Кхррр, тртррр, крркк.

- Повода нет, потому и не убьете.

- У меня нет повода.

- За вашего приятеля, Николая Милютиновича Теслу.

- Выходит, вы и вправду на его жизнь покушаетесь.

- Правда.

- Платите за его голову.

- Правда,

- Желали убить его еще по дороге в Сибирь.

<sup>78</sup> Здесь: Образ, Форма (нем)

- Правда.

Правда, правда, правда; тьмечь вымораживает все сомнения, кристалл правды разрастается, словно ледовая структура под микроскопом.

- Вы проводили про письмо императора генерал-губернатору и послали словечко леднякам-придворным, они же собственного агента за доктором Теслой направили, ради смерти, ради уничтожения его машин. И у вас есть люди и в Третьем Отделении? Откуда вам стало известно, что первый агент спалился?

- Ах, но ведь на самом деле у вас нет повода, вы сами выдали себя в Аполитее, вы ведь тоже не желаете машинной Оттепели Теслы. Если он вам друг...

- На жизнь и на смерть.

- Тогда спасите его, прогоните прочь.

- Мой отец...

- Ваш отец! – гудит из стальных труб, а железяки на возвышенной площадке грохочут, пищат, трещат. – Забудьте о нем! Расскажите мне о Государстве Небытия, о Царствии Льда!

На мгновение я-оно стаскивает очки, растирает основание носа. Глаза режет. Если глянуть в сторону от огня, вытьвеваемого зеркалами из Победоносцева, через широкое окно у него за спиной я-оно видит замечательную панораму Иркутска, метрополию семицветной белизны с ватными хлопьями кисельных туманов, украшенную морскими звездами лютоя, с тысячами лент дымов из труб, с тысячами цехинов мираже-стекольных ламп. Правда, правда – когда он не принимает гостей, а ведь принимает он их крайне редко, отсюда осматривает свой город, днем и ночью, всегда глядящий из мрака, оглядывает город, считает лютоя, рассчитывает прибыли, плетет планы с дальним прицелом.

- А что, собственно, вы поняли из Аполитеи? – говорит я-оно вполголоса и на мгновение само поражается этому наглому выпаду. Момент проходит. – Все те, что верят в Историю, замороженную подо Льдом, то ли ледяки, то ли оттепельники, всегда строят на этом вот какую картину: История шла, как ей идти следует, а тут вдруг трахнуло-бабахнуло, заморозило, и теперь подо Льдом мы видим искривление Истории вместо Истории правильной. Одним это нравится, другим нет, но диагноз одинаковый. Замерзло! Но я здесь уже пару месяцев живу, но, по крайней мере, в том Морозу не поддался, что обладаю храбростью делать из этой реальности оригинальные выводы. Лед все замораживает в единоправде, Лед приводит всякую вещь, всяческое явление к ее конечному виду или же к собственному его отрицанию, но по форме идентичному ему, точно так же, как негатив изображения очертаниями своими совпадает с позитивом. Край Лютоя – это Край Правды. Следовательно, вместе с ударом мороза в тысячу девятьсот восьмом здесь никакой катастрофы не произошло, равно как и деформации Истории – История подо Льдом именно такова, какой должна быть. Бердяев правильно вычитал из материи движение идеи, только исходил он из ложных предпосылок, видя Бога за каждым историческим фактом, слыша глас небес в обращении эпохи. Ибо, это и вправду сложно в голове выставить, трудно оторвать мысль от того, что мы принимали за очевидность – это сложнее всего. Ведь мы с беспамятных времен жили как раз в Истории случая, незавершенности, неуверенности и полуправд. Что бы там себе германские философы не выдумывали, это были всего лишь приближения к правде, грубоватые домыслы и насилие запихивание кривой Истории в геометрические формы. Но только здесь, подо Льдом, можно будет определить ее точными законами, с математической четкостью выводить зависимости эпох и последствия укладов, переводить одну идею из другой. Зима ничего не искривила; Зима лишь проявляет единоправду Истории. Без Льда нет Истории, а без Истории нет Бога и нет человека – ибо за пределами Льда не существует прошлого. Правление Не-Государства, которым вы, Александр Александрович, столь заинтересовались, возможно только подо Льдом. А в Лете – в Лете правит человек, то есть – случайность, полуправда-полуложь, миллиард несвершенных возможностей. Особенно здесь, в России, где всегда было холоднее, и где всегда инстинктивно высматривали земного наместника Истории; здесь управляет ночной каприз самодержца, который сам для себя является меркой всяческой Правды.

Трещит, клекочет, стучит скрытый в жару светеней механизм трона-ложа Победоносцева, когда единонаучальник Сибирякожето выглядывает со своей платформы над зеркалами; хоть и немного, но выходя из тьмечевого фокуса.

- Ах, ах! Выходит, правильно Его Величество делает, высыпая доктора Теслу на эту войну с лютоя.

Наверняка, была в этом ирония, но стальные тубы стирают нюансы тона голоса.

Я-оно складывает руки за спиной, опирает ногу на краю платформы.

- Но вы будете бороться против него, вы будете сражаться за Царствие Льда.

Очень долго лишь стальное молчание исходит из окружающих раструбов. Зимназовая башня дрожит и трещит под ногами, свищет ветер за мираже-стекольными стенами.

- Когда *Черное Сияние* вытьвевивается на небе, - очень медленно начинает Победоносцев, - мне кажется, что уже не от прожекторов меня тьма охватывает, что *Altra Aurora* протекает чернильными волнами через верх башни, я чувствую его на коже, на языке, в жилах; засыпаю и просыпаюсь в них. Во снах, от которых доктора прописывают китайские зелья, во снах и в гипнотических светенях города внизу, словно в раскладе костей, выброшенных рукой шамана – я вижу будущее Сибири, будущее мира, который воплотится, благодаря мне. Так познаются вещи, которых нельзя познать, вот какая у меня гадательная машина для чтения скрытого знания: Город Льда и Тумана.

...А думали ли вы когда-нибудь, как станет выглядеть мир, когда Лед, в конце концов, покроет его от полюса до полюса, все континенты, все страны и все народы? Ледяки и оттепельники, Бердяевы и неверующие, мартиновцы и православные христиане рассказывают друг другу различные сказки-предсказания. А я – знаю, я – вижу. Не будет войны с лютоями. Я вижу, как человек с лютоями сосуществует. Люты под землей и на поверхности, а люди – над ними, в радужных метрополиях, в городах, вознесшихся в небо на зимназовых сваях, в Альгамбрах, висящих над вечными снегами. *Черное Сияние* растывевивает небосклон на всякой географической широте, изо дня в день, из ночи в ночь. Нет никаких дорог в Царствии Темноты кроме Дорог Мамонтов, по которым путешествуют люты. Люди же путешествуют по поднебесным железным доро-

гам, растянутым на хрустальных струнах; либо на аэростатах из еще более легких перемороженных материалов. Новые ледовые технологии открыли для нас небо, провели к звездам. Никто не голодает, никто не страдает понастрасну, исчезли болезни Лета. В мираже-стекольных теплицах мы выращиваем под тьветом виды злаков и плодов, устойчивых ко всяческим болезням. И всегда нам хватает тепла и электрического тока.

...Ах, думаете, мне не известно, что совершает доктор Тесла в своей Обсерватории? Он черпает энергию прямиком из Дорог Мамонтов. Нам станут не нужными гидроэлектростанции – ведь все реки замерзнут; не нужно нам будет сжигать ни нефти, ни угля – весь уголь превратится в криоуголь, а нефть, нефть замерзнет. Мы же станем выкачивать энергию непосредственно из земли, с Дорог Мамонтов. Планета станет нашей электростанцией, и всякий человек извлечет из Льда любую энергию.

...А теперь, ах, ах, я прочитал вашу *Аполитею* и увидел духовные фундаменты этого Царства Темноты. Ибо, воистину, это будет единое Царство, единый межчеловеческий организм: Держава Порядка и Справедливости, под санкцией Правды, столь же твердой и очевидной, как правила арифметики. И нет в нем никаких бунтарей, ибо кто же бунтует против физики и химии, таблицы умножения и гравитации? Нет в нем никаких переворотов во имя религии или же идеологии, поскольку нет споров, какая из вер и идей правдива. Одна правда, единоправда. Правит История.

Я-оно откашлялось.

- Это... импонирует.
- Это неизбежно! – гудит Победоносцев из стальных труб.
- Ну, разве что придет Оттепель...
- Теперь вы понимаете, почему необходимо оторвать Теслу от Льда. Тем или иным образом.
- Я уже говорил вам, - рычит я-оно. – Никола мой друг.

Непонятно когда и как, я-оно подняло на платформу левую ногу и стоит уже на расстоянии трех вытянутых рук от председателя Сибирхокето, спрятанного в коконе светени, за зеркалами тьмы. Резкий свист и скрежет невидимых механизмов опережает реконфигурацию света и тени – вся установка отъезжает к окну, и снопы тьвета, гутой, словно смола мрак бьет прямо в лицо, проникает через уже закрытые веки; я-оно чувствует его липкое касание кожей.

Я-оно отступает, спускается с платформы.

- И будьте уверены, я расскажу ему обо всем!  
Кхррр, тртррр, крккк.  
- Ах, расскажите, расскажите! Вы услышали от меня, он услышит от вас – увидит правду и необходимость – и уедет.

Так вот он как это все себе обдумал. Вот только, свидетельствовало ли я-оно здесь исключительно правду? Мрак слепит, звуковые трубы оглушают.

- Ах, и вы сами будьте осторожны, – продолжает трещать Победоносцев. – Мне хотелось бы видеть вас рядом с собой в день основания Царства, ибо редкое это счастье, встретить брата по идее. Вы же, тем временем, общаетесь с Шульцем, с мартыновцами, в Зиму, на север за отцом идти задумали... как будто бы не понимали, что после Аполитеи оттепельники тем более воплощение Мороза в вас видят: уже не только сына Батюшки Мороза, но и первого идеолога Льда. И они обязательно вынуждают, что вы со мной разговаривали.

- К отцу, - повторяет я-оно, педалируя, опустив глаза, - к отцу я обязан пойти.
- Да что отец? Ледяная фигура. Ни вы ему не поможете, ни он вам.

Я-оно отрицательно качает головой.

- Хотите мне помочь? Пожалуйста. Что случилось с Каролем Богдановичем и Александром Черским? Зачем вы подвергаете цензуре геологические карты и работы о туземцах?

- Ах! Ах! О тайнах Общества расспрашиваете!

- Существует метод, имеется рецепт. Кто ходит с мамонтами? Только ведь вы запретили, стерли, баррикадируете такие знания. И это не случайность. Если открыть простым людям врата к Дорогам Мамонтов – тогда они вырвут у вас геологические секреты, и вы потеряете миллионы, миллионы!

- Да что вы за человек? – скрипит Александр Александрович. – Я вам руку дружбы протягиваю, Царство Темноты пред вами открываю, а вы набычились, да с обвинениями, да с ядом!...

- Вы мне поможете или нет?

Снова длительная нота металлической тишины.

- Что я могу вам сказать, упрямый юноша... В тысяча девятьсот шестнадцатом в министерстве я пробил указ против подделывания сибирской географии. Вам не ведомо, что инородческие шаманы обладают силой искривлять пейзаж, затуманивать расстояния, изгибать на земле и небе прямые линии? Нет правды о Сибири в картографии, осуществляющей с помощью туземцев, на землях туземцев, над Дорогами Мамонтов, по которым кружат души их колдунов. Видели ли вы старинные карты Сибири, времен Ермака? А уж с тех пор, как между ними война пошла – фальшивь на фальшивь! Чем дальше к Лету, тем хуже. Неоднократно возвращались геологи Общества из дальних походов, в которых ни одна гора не стояла на своем месте, ни единая река не текла так, как следует.

...Проект премьера Струве по изменению горнодобывающего права должен хоть отчасти предотвратить подобные обманы. Сибирь обязана быть обсчитана! До версты, до пуда богатств подземных! И тогда закончится геологическое пиратство! Ведь я же прекрасно вижу, что хаос этот на руку мелким зимназовым фирмам, бесчестным конкурентам, берущим фальшивые патенты первенства в Губернском Управлении Государственного Имущества. Карта Гроховского – ах, вы же слышали о ней – как только за водкой делаются более откровенными, тут же Гроховский им на ум приходит: мифическая картография единоправды. Власть над миром лежит в руках геологического землемера!

- А вы не пробовали своих людей послать на Дороги?
- Ах! Не делайте этого!
- Ага! Значит, пробовали! – воскликает я-оно. – Алистер Кроули! Его с вами разговоры – могила-сопликово – или это вообще не сопликово?
- Не делайте этого! Не удастся...
- Чего? Чего не удастся? – Чуть ли не заново я-оно вступает на возвышенность, нащупывая водя ногой вперед. – Он жив? Не жив?
- Идите уже. Буду вас ждать, вы не подвели Аполитею, буду ждать вас в Царствии – но теперь уже идите.
- Неужто в его голосе слышна усталость? Не слышна, по трубам идет волна звука, обитого грубым листовым металлом.
- Если бы вы могли, то забили бы Дороги Мамонтов собственными агентами, – шепчет я-оно под нос. – Чего же такого нужно, чтобы спуститься на Дороги, чего не в состоянии купить все Сибирхожето?
- Идите! Идите! Идите!

Я-оно отступает, сняв очки, растирая глаза в темноте. Голос Александра Александровича Победоносцева слабеет. А может, он и вправду устал... Эта его смена настроений, этот его неуместный смех... Почему он скрывается в светенях, в тьветовой аппаратуре – быть может, права сплетня и *Herr Биттан*: начальник Сибирхожето болен, смертельно болен, и это уже последняя фаза какой-то страшной болезни, он даже не способен перемещаться самостоятельно, не может встать, разве что вместе со своим ложем-троном, говорит шепотом посредством труб-усилителей и теряет силы уже через полчаса беседы. *Говорят, что подо Льдом прекращают развиваться и болезни. Только никогода еще здесь никто не излечился от ранне приобретенной болезни.* Не может он выздороветь, да и наверняка бы и так не мог – но пока живет подо Льдом, до тех пор не умрет, раз уж замерз, а точнее – раз замерзло его тело. Чахотка, новообразование – с какими еще болезнями связан этот эффект? Ибо, наверняка, не со всеми, ведь люди же здесь умирают; умер Ачухов, умерла Эмилька... Как узнать, какая болезнь от Лжи зависит, а какая рассказывает о человеке Правду? Нет сомнений, старость и все связанные с ней болезни принадлежат естественному порядку вещей.

Что же, неужто именно таково решение уравнения Александра Александровича Победоносцева? И он будет сражаться за Царствие Темноты по причине слабости собственного тела? Неужто и вправду материя управляет духом?

Я-оно приостанавливается за перегородкой, ударенное горькой мыслью. Ведь если, когда уже хорошоенько замерзнет, какую единоправду увидит в воспоминаниях прошлого? Разве все это, вместе с Аполитеей и самыми глубинными нынешними убеждениями, с политической ситуацией в Иркутске и здешними отношениями и деловыми связями – не является математическим развитием тех варшавских пополуденных часов, когда два министерских чиновника разбудили человека в холод, без спроса забираясь в его комнату и чуть ли не в постель, погружая его в грязь, смрад и убожество своей чиновничьей властью, черными своими котелками и белыми твердыми воротничками, вгоняя в жаркий Стыд прямиком из спокойного сна? И что – именно из этого станет строить Победоносцев свое Царствие Темноты?...

Ну ладно, а как еще рождаются в человеке политические взгляды? Не высасывает же он их с молоком матери, не обучается им, как обучается алгебре или географии. Но он воспринимает их – как гастрономический вкус, привязанности в вопросах искусства и любовь к определенному сорту женщин, то есть, отчасти, из условий рождения и воспитания, но отчасти – и не является ли это более главным? – из собственного жизненного опыта. Разве не замечало отражения той самой правды в несчастном Зейцове? Он стал социалистом, анархистом, но вместе с тем – радикальным христианином, поскольку услышал отцовский позор и увидел крестьянскую бедность. А из каких жизненных случаев рождаются демократы? Из каких – монархисты? Из каких – писпудчики? Когда можно будет со стопроцентной уверенностью вычислить, тогда политика свидется к классу банальных предпочтений: вот эти предпочитают сигары, а вон те – трубочный табак.

Хорошо говорил Победоносцев: под властью Не-Государства, под непосредственным управлением Истории никакой спор по какому-либо существенному политическому вопросу просто не будет возможен. Зато появятся партии почитателей той или иной эстетики, сторонники мясной и вегетарианской кухни, парламентские фракции любителей прекрасного пола и гурманов педерастии. Дебаты будут вестись относительно оттенков, причесок и рифм. Канцлером же станет красавчик с хорошим портным.

Только лишь в кабине лифта господин Зель вернул Грассмейстера.

- Спасиба.

- Приказ был. – Ангел встал в противоположном углу зимназовой коробки, повернувшись лицом наружу, так что в средине оставалось еще с добрый аршин свободного пространства; и даже когда уже выехало из поднебесной тымы, Ангел Победоносцева был всего лишь тенью худощавого, нездороно выгнутого силуэта. – Мы падаем. Все легче, легче. Обожаю этот момент.

- Еще меньше тела.

- Да. Если же вы...

- Давайте забудем об этом.

- Вы будете пытаться забыть, но не забудете. Тело гнетет. Тело жмет.

- Давайте забудем об этом; в субботу, на балу я просто разнервничался.

- Господь призовет тебя.

Тормозящая кабина затряслась.

- Молитесь о том, чтобы не дожить до Оттепели, - сказал я-оно, прикуривая папирису.

Мороз над Иркутском укладывался горизонтальными воланами белизны; спускалось из озера смолы в молочное море. Сунуло Гроссмейстера под шубу. Теперь уже размышляло о чем-то другом: после бала прошло два дня, слово, данное *mademoiselle* Филипов, уже не действует – так почему бы не пойти и не откачаться? И не в "Новой Аркадии", а в Обсерватории Теслы. Почему бы и нет? После работы.

А после работы, прямо на вокзале Мармеладницы, прицепился редактор Вулька-Вулькович. Должно быть, он выждал здесь, таился – выскочил из толпы закутанных, лишенных лиц фигур, окутанных паром; еще одно людское подобие в рваном отьете, и, не успело еще узнать пана Ежа, тот уже висел на плече, кудахтал под шапку. Успело лишь удержать от удара лапу Щекельникова. Но редактор Вулькович даже не обратил на это внимания.

- Пан Бенедикт! Да что же вы натворили! Мне же голову оторвут! Спасайте меня!

Зашло в первый же попавшийся кабак. Развязав шарф, сняв очки, отморозило горло горячим чаем. Редактор взял свой чай, не снимая перчаток, но даже не поднес его ко рту.

- Спасайте меня! – рванул он собственный голос, чтобы перебить пьяный гомон. – У меня конфисковали машины. Отказали в помещении. Приходят какие-то страшные полицейские типы, охранка – не охранка, иркутскую охранку я же знаю...

- Значит, это по моей причине?

- А по чьей же еще! Все из-за *Аполитею* чертовой! Господи Иисусе в небесах! Да я самые жесткие памфлеты против царя печатал, и таких бурь не было!

Он трясясь от гнева – вот только против кого направленного? Поглядывал то туда, то сюда, бросая головой по сторонам, адамово яблоко ходило у него под подбородком словно поршень лабораторного насоса; он скжимал пальцы на стакане, выливая из него чай. Господин Щекельников, греющийся собственным питьем, криво ухмыльнулся над редакторовым плечом: вот вам очередная иллюстрация грязных поговорок Чингиза, Сердящийся Трус. Правда? Правда.

- А не странно, что только сейчас? – буркнуло я-ono.

- Тут явно кто-то наверху у них вашу статью прочитал. Не нужно, не нужно было мне ее печатать! – Он грохнул стаканом по столу, весь оставшийся чай выплеснулся. – А вы меня уговорили...!

- Ну, прошу прощения, честное слово, но я вас не выдавал, впрочем, никто даже и не спрашивал...

- Гады! Даже рублика на чай не взяли, а все официально, да еще и повестку к прокурору подписать пришлось. Если все это по-скорому не остановить, меня арестуют, процесс раскрутят, на старости лет пойду в тюрьму.

- За *Аполитею*? Эээ...

- Понятное дело, что нет! В бумаги впишут что-нибудь другое! Что, не знаете, как такое делается? Ведь у меня нет разрешения на издание "Вольного поляка"! Да и откуда мне его иметь? Вся штука была законной только потому, что многие годы Шульц терпел здесь всяческие национальные движения, кружки распространения той или иной культуры, мещанские общества, абластнические партии. Только лишь в последнее время – эта волна арестов – у меня уже сердце в пятках! – Он глотнул, раз, другой. – А теперь и вправду за мной пришли. Видишь, Боже, а не гремиши!

- Я и не думал, что все это к таким результатам приведет. – Задумчиво потерло верхом ладони подбородок. – И даже предположить не могу, чья могла бы это быть работа, ни Шульц, ни Победоносцев...

- Спасайте меня! Выпишите мне рекомендательное письмо генерал-губернатору, подобные вещи только на самом верху решить можно, причем, по-быстрому, по-быстрому...

- Да как я мог бы рекомендовать кого-то генерал-губернатору...! – засмеялось я-ono.

- Не издевайтесь надо мной! – рассердился Вулька-Вулькович. – Ведь Шульц к вам прислушивается.

- Откуда подобные глупости?

- Половина города знает, что вы с ним долго на балу беседовали, а потом еще и с князем Блуцким. Так что не стройте из себя невинную овечку, господин Мороз и Царствие Льда!

Все это слушало с неприятным ощущением *déjà vu*. Неужто возврат к графу Гиеро-Саксонскому? Вся разница в том, что сейчас я-ono уже замерзает; теперь это правда. Хлебнуло чаю.

- Успокойтесь. Я напишу это письмо. – Вытащило визитницу. – Хотя, буду весьма удивлен, если это поможет.

- Попрошу на предъявителя.

- Чего?

- Ну не такой уже я наивный, меня же не допустят, но у меня есть более представительные знакомые.

Со вздохом сняло колпачок с ручки.

- Ну, ладно, это же меня мучают угрызения совести, ладно уже, напишу, что "по делу, не терпящему отлагательства". Но, быть может, вы и для меня кое-что сделаете. Да нет, нет, ничего такого; мне бы попросту хотелось побольше узнать про Абрама Фишенштайна, в частности, о его прошлом, что это за человек – нужно побольше данных.

Пан Еж замигал над своими мираже-стеклами.

- Так вы, все-таки, решили делать деньги.

- Что? Нет. Тут дело другое: Фишенштайн дает деньги Братству Борьбы с Апокалипсисом, и мне нужно...

- Ага, так вы и с федоровцами теперь дела имеете, а?

С федоровцем встретилось у Теслы. В Физическую Обсерваторию Императорской Академии Наук заехало, заскочив поначалу на Цветистую за лабораторными образцами металлов и за бутылкой сажаевки. Над темным облаком, скрывающим здания Обсерватории, в вечернее небо выпирались мачты со свежими трупами, даже сосульки под ними еще не успели нарости; светени, растянувшись от покойников, определяли на небе вершины пентаграммы. Казаки впустили, в ведущем от складов коридоре разминулось с инженером Яго; тот сделал вид, будто не видит. Лабораторию застало совер-

шенно обезлюдевшей. Лучшей оказии не было и смысла ожидать. Быстро сбросив шубу и шапку, вытащило из-за других прототипов и экспериментальных установок тьветовую бомбу Теслы, к счастью, собранную в единое целое. В фокусе лампы заменило криоуголь на чистый тунгестит. Проверило кабеля. Приборы показывали нужное напряжение. Поднесло к выходному клюву отражательной сферы пластиинку тунгестита. Пробный выстрел породил на ней точечное сияние, более яркое, чем огни собора Христа Спасителя. Вынуло блокнот. Гипотезу записало еще в то время, когда по причине недобора тьмечи в голове бродило с пяток теорий одновременно; теперь же она не звучала столь убедительно. Посчитало: двадцать выстрелов в образец, чтобы охватить площадь чуть побольше булавочной головки, а образцов восемь: не охоложенные руды, сталь с высоким содержанием углерода, низкокачественное зимназо. Если поспешить, где-то четверть часа. Отметило час и минуту на тот случай, если бы эффект должен был затухать по времени. Начало с необлагороженного зимназа. Пшишик, пшишик, посвистывала Машина Луча Смерти. В момент выстрела на мираже-стеклах разливалась радуга из всех существующих и не существующих цветов. Но воздух, по-видимому, несколько рассеивал луч, потому что бледным огнем вспыхивали и хлопья тунгестита в водке. Поставило бутылку с сажаевкой на столе рядом.

Все так же до конца не было уверенности, что с нею сделать. Идея была такая: запиться тунгеститовой водкой и, вместо того, чтобы снова откачивать тьмечь, наоборот, накачаться ею по самое не могу, сколько выдержит тело. Быть может, утренний визит у Победоносцева дал духу последнее предупреждение, так что под конец я-оно открыто признало: ну как легче найти отца на Дорогах Мамонтов, если самому на них не спустившись? Идея, которую подкинуло при уходе графу Шульцу, чтобы отделаться от него, давно уже сверлила голову, она была уж слишком очевидной. То, что людям Победоносцева не удалось, еще ничего не означало: в начальных фазах всякой науки действуешь, в основном, вслепую, на сотни поражений приходится один успех; так было с паровыми двигателями и с двигателями внутреннего сгорания, с авиацией, с электромагнетизмом – точно так же и с черной физикой. С другой стороны, точного рецепта не знало, о некоторых вещах только догадывалось, пока же что желало лишь исследовать реакции организма. Скажем так: пол-литра и две тысячи скотосов.

Но, может, умнее и безопаснее было бы вначале испытать это на ком-то другом. Интересно, как там справляются с Морозом крысы Саши Павлича, которых он подкармливал картошкой Бусичкина. Грызуны в клетках под дальней стенкой выглядели здоровыми, только ведь не скажешь, какая это партия, те, взятые для эксперимента, могли все до единой сдохнуть.

Так или иначе, но на вычисление маршрута отца на Дорогах нечего и рассчитывать. Нужно хвататься за непосредственные следствия, основанные на материи, а не на математике. Идея высказать за Отцом Морозом душу "салғын күт" не была самой безумной. Другую надежду связывало с запрещенной гидрографией Байкала, господин Урьяш обещал в течение недели достать старые карты Кароля Богдановича. А еще отчеты первых царских экспедиций в Зиму, в том числе – той роковой экспедиции, в которой принимали участие Филипп Герославский и Сергей Ачухов.

Проблема в том, что все это вместе мало приближало к решению другой проблемы, гораздо более существенной, а именно: как безопасно разморозить отца, когда я-оно его уже найдет. Здесь уже нет обходных методов, полу-средства, полу-домыслы только увеличивают угрозу. Нужно или полностью ознакомиться со всем чернофизическими процессом, позволяющим человеку сойти на Дороги Мамонтов, или иметь в своем распоряжении для испытаний вживую, как минимум, одного такого абаасовца. Тем временем, найти Аэростатного Немого, Копыткина или Кроули столь же сложно, как и отца. Но и нажираться сажаевкой для этой цели особого смысла нет: заабасовать необходимо кого-то, на ком можно свободно проводить любые опыты.

А времени все меньше. Завтра князь Блуцкий-Осей должен представить своего полномочного человека; Франц Маркович приходил со сметой экспедиции и доверенным следопытом-иностранцем; завтра уже необходимо было реализовывать конкретный план. А плана все так же не было. Холодный расчет подсказывал, что самое время отбросить всяческие расчеты и попробовать наиболее отчаянные методы.

При виде водки Саша тут же вынул две мензурки.

- Нет, нет, - замахало руками я-оно, - это научные пособия.
- А, "научные пособия"! Вы собираетесь вечером наукой заняться? Может, в компании?
- Что, одиночество душу скребет?

Тот опустился за свой стол, повесив нос на квинту.

- Эх, Венедикт Филиппович, да чего мне глаза вам замазывать – словно в тюремной крепости здесь живем.
- А где Никола?

- Этот ваш Хавров половину дня ему занял, сейчас они вместе отправились во двор, к тунгеститору. Слышите? В стуке перерыв. Зачем вы вообще знакомили его с федоровцами, совсем они его опутали, сейчас здесь все заброшено.

Похлопало биолога с покрытым осинами лицом по плечу.

- Это у него пройдет, всегда подобные увлечения у него проходили, раньше или позже. – Закурило папиросу, перед тем угостив и Сашу, тот поблагодарил. – А то, что в крепости, пока что, поверьте мне, это наилучший выход. Победоносцев загнул пароль<sup>79</sup> на доктора.

Павлич поднял голову, глаза у него заискрились, светенья появилась на щеках.

- Именно! *Mademoiselle* Филипов принесла нам сюда весть, будто вы разговаривали с губернатором и с секретарем Александра Александровича.

- Ах, ну да, *mademoiselle* Филипов...

<sup>79</sup> Термин из азартных карточных игр; "загнуть пароль" – отметить карту, на которую сделана ставка. – Прим.перевод.

- Ну, именно, именно! – Саша затянулся, так что на коже вспыхнул кирпичный румянец. – Как там на балу было, расскажите!

- А что, она вам не рассказала, как Сын Мороза над дочкой генерал-губернатора глумился? – Вздохнуло через дым. – Бал как бал, ярмарка тщеславия, тела, украшенные цветами и кружевами, благовониями окропленные, чтобы по-меньше выглядели как тела и менее, чем тела, воняли. Что там с нашими крысами?

Саша захлопал глазами.

- Крысы. – Он достал тетрадку из ящика. – Ну что же, плохая весть такая, что все замерзли до костяного состояния. Как вы просили, я закапывал их в клетках в подвале у колодца. До сих пор никаких чрезвычайных эффектов отмечено не было. Можете сами проверить, я провел туда кабель от измерителя тьмечи.

- Но, могу поспорить, имеется и добрая весть.

- Да. В контрольных парах не все экземпляры замерзали после прохождения одного и того же периода времени, несмотря на равные порции теслектричества и равных порций тунгетитового корма.

- Хммм. Но это продолжалось дольше, чем для крыс, живущих на обычном корме?

- Да, явно. Вот, пожалуйста, до ста двадцати процентов.

Просмотрело числовые данные.

- Вариации не превышают суток.

- И все таки.

- Правда. – Стряхнуло пепел в кювету, подняло взгляд на давным-давно закопченный потолок. – Выводы. Вопреки первоначальным предположениям доктора Теслы, любой материальный объект, во всяком случае – оживленные предметы – обладают определенной тьмечевой емкостью. Если мы закачаем в организм теслектрический ток выше этой емкости, снижение температуры, в конце концов, вызовет остановку жизненных процессов.

- Ну, это, более или менее, уже было известно.

- Далее. Накачивание тунгетита теслектричеством вызывает переход энергии тьмечи в кинетическую энергию, по-средственno – и в тепловую. Ведь именно на этом принципе работают двигатели Теслы, благодаря которым у нас здесь имеется электрический ток и свет, – махнуло папиросой, – и все это, из энергии, извлекаемой из Дорог Мамонтов.

- Следовательно, организм, нафаршированный тунгетитом, – подхватил Саша Павлич, щуря глаза и пллюясь дыром изо рта, – при накачивании теслектричеством, дольше останется выше точки замерзания, поскольку в тунгетите происходят процессы, частично нивелирующие влияние Мороза.

- Именно так. – Задержало ладонь, трущуюся о ткань жилета. Ах, как бы сейчас пригодились хотя бы пять минут под насосом Котарбинского...! – И вот подумайте: организмы, полностью основанные на черной биологии, имели бы бесконечно большую тьмечевую емкость: сами их жизненные процессы происходили бы по причине преобразования теслектрического тока в движение, тепло, клеточную химию.

ЛубумМММ! – задрожало здание – лубумМММ! – нутряной грохот, раздражающий внутреннюю часть ушей – лубумМММ!

- С другой стороны, – размышлял вслух Саша, – всякая эндотермическая реакция вызывала бы снижение температуры организма.

- Так они замерзли бы или нет?

- И все таки – жили бы!

- Замерзшие.

- Возможно. Нет. Как-то иначе.

Саша снял пенсне, помассировал нос. Сейчас он глядел с откровенным любопытством и столь же откровенным сочувствием.

- Вы думаете, что он именно так и живет?

- Да, Саша, думаю, что он живет. Я очень долго над этим размышлял. И раз уже даже крысы...

Никола Тесла и Эдмунд Геронтьевич Шавров вбежали в лабораторию, оба осыпанные снегом, от обоих был тьвейтый пар, оба сбивали мерзлоту с башмаков. Павлич схватился с места: – Господа, не надо пачкать! Не надо пачкать! – Но те и не оглянулись. Шавров, разогнавшись в причудливых па, уже сменив мираже-стекла на очки с толстыми линзами, увидел бутылку сажаек и, радостно потерев руки, взялся выбивать пробку. Прежде чем успело подскочить, запротестовать, тот хорошенъко потянул из горла. Глубоко вздохнул, лысина покраснела от удовольствия. – Уфф, сразу мороз с человека сходит.

- Так это же сажа, Эдмунд Геронтьевич, глядите, что пьете.

- И что? Вам налить?

Из своего угла появился Тесла со стаканами и бутылкой "Чивас Регал". Все пропало.

- Инженер Яго доложил об уходе, – сообщил серб, переставляя посуду на лабораторном столе. – Корабль наш.

- Что празднуем? – вздохнуло я-оно.

Господин Хавров, в данный момент мало похожий на директора, весь лучась улыбками, подпрыгивая в конвульсиях сердечной благожелательности, подскочил и пожал правую руку.

- Великий триумф против Апокалипсиса, господин Ерославский!

- Чего?

Тот зафыркал спиртным дыханием.

- Не притворяйтесь! Доктор Тесла рассказал мне о том, как вы его оживили.

ЛабумМММ!

Саша вытаращил глаза, очки чуть не упали с его носа.

Я-оно раздраженно скривилось.

- То было в Лете, в Лете! Тоже мне, воскрешение...

Никола Тесла выпил стакан до дна, выпрямился, поднял руку – и то уже была высота чуть ли не под потолок – и замерз в позе громовержца, пиджак черного костюма задрался, галстук съехал набок, птичий череп склонился над целью, седая прядь, перечеркнула глубокую глазницу – ожидая знака – лубумМММ! – мгновение – и после того изо всей силы грохнул стаканом об пол.

Тот раскололся на тысячи мелких осколков, остановившихся на полу в виде правильного ромба, бриллиантовой мандали.

- Молот Тьмечи! – воскликнул Тесла. – Кто обретет это знание, выкует с его помощью на волнах тьмечи чудеса и воскрешения, и какие угодно арабески энтропии!

И после этого началась пьянка.

Имея под рукой сколько угодно стеклянных емкостей и посчитав все это анти-энтропийной забавой – и Хавров, и молодой Павлич – начали бить их с целью получения наилучшего художественного эффекта, и вся штука заключалась в том, чтобы поймать соответствующий момент между ударами Молота, то есть, точку, когда волна, проходящая в теслэлектрическом поле Дорог Мамонтов, с высокой амплитуды сходила в локальный минимум, в противоэнтропийный экстремум. И родилась симфония звона стекла и не совсем осознанных криков; каденция же ее происходила следующим образом: Молот – бряцание стекла – возглас радости или разочарования. Саша настолько разохотился, что схватил свои мензуры в обе руки и грохнул их – из чего родилась картина двукрылого ангела.

- Вам следует как можно скорее бежать, - шепнуло я-оно доктору Тесле.

- Ммм?

- Я разговаривал с Победоносцевым. Человек уже наполовину с ума сошел, он станет защищать свое царство любой ценой, даже если придется открыто встать против царя, даже если ему нужно будет вырезать всех ваших казаков. Здесь небезопасно, спасайтесь жизнь. Могу организовать вам бегство, скажите только слово.

- То есть, мало того, что мне пришлось бы не выполнить контракт с императором, так еще и поддаться Льду и отдать черную физику в чужие руки?

- Раз вы не цените свою жизнь, подумайте хотя бы о Кристине!

- Если бы она меня слушала...!

- Да, Господи, это же не шутки! Тот агент в Транссибирском Экспрессе, подставленный вместо *monsieur* Верусса – это уже были делишки Победоносцева.

- Ну вот, а я разве не говорил! – обрадовался серб и, не говоря ни слова, поднял стакан в тосте.

- У вас сильно изменилось настроение, - произнесло я-оно, не скрывая неодобрения. – В последнее время вы часто накачиваетесь? – Мельком глянуло на ответ ученого, но здесь, в этом свете, тот не казался чем-то отличающимся от обычного (то есть, необычного) ответа Теслы.

- Мне это не надо. Пейте, не надо телиться! – и сунул в ладонь стакан с виски.

- Если бы Кристина это видела... Что это на вас напало?

- Эксперимент провожу!

- Эксперимент?

- А вам не говорили, что в Зиме невозможно прилично упиться? Даже перед пришествием Льда – у русских всегда были головы покрепче, здесь всегда нужно было больше спиртного. Только Молот бьет в обе стороны! Пейте!

Саша Павлич подлил себе сажаевки.

- Наукой мы занимаемся! – хихикал он.

ЛубумМММ!!!

- Вот, сами поглядите. – Тесла подошел к черному листу, горизонтально положенному под лампами. На матовую гладь высypали коричневый песок и белую крупу. Тесла ударил по листу, крупинки перемешались. Серб подождал, снова ударил – песчинки и крупинки разошлись на две трети, расходясь направо и налево практически по вертикали.

В листовом материале я-оно распознало тунгеститовое зеркало.

- Так вы и опыты относительно природы тьвета забросили?

- Тьвет, тьвет, тьвет... - Белыми ладонями Тесла исполнил сложный жест, наверняка обязанный передать такую же сложность идеи. – И как тут строить гипотезы на гипотезах? Ведь мы не все знаем и о самом свете.

Сделав еще глоток и присев на высоком табурете неподалеку от Тьветовой Лампы (перед тем отставив ее на место), изобретатель начал путаное изложение собственных теорий о природе тьвета. В первую очередь, он вытащил на свет божий своего любимого Иоганна Вольфганга фон Гёте. Литературный гений объявил революционную оптическую теорию в насчитывающей полторы тысячи страниц работе *Zur Farbenlehre*<sup>80</sup>, опубликованной в 1810 году; писатель посвятил этой теории годы экспериментов с призмами и считал ее главной работой собственной жизни. В соответствии с Ньютоном и другими классиками оптики, темнота это всего лишь отсутствие света; фон Гёте считал же, что свет и тьма подобны противоположным полюсам магнита, и одно влияет на силу другого, цвета же не заключены в белом свете (который можно "расщепить" с помощью призмы в спектр), но образуются на пограничных линиях между темнотой и светом. Желтый и красный, когда свет проходит над темнотой, а синий и фиолетовый – когда темнота проходит над светом. Темнота – то есть то, что сейчас мы называем тьветом – непосредственно воздействует на свет. На закате Солнца встань на чистом фоне перед

<sup>80</sup> "Учение о цветах" (нем.)

зажженной свечой, говорит Иоганн Вольфганг, и осмотри собственную тень: ты увидишь глубокий синий цвет. Свет не обязан иметь волновой природы, чтобы человек видел цвета, спектры и радуги; и мы же это видим.

...Иные конструкции Тесла вознес на более молодых теориях. Если мы возьмем ту безумную гипотезу, будто бы свет в Лете является одновременно и частицей, *Lichtquant*<sup>81</sup> Эйнштейна, и волной, волной бытия, то есть приливом и отливом вероятности существования частицы света – тогда тьвет был бы аналогичным физическим проявлением несуществования, то есть ударом частиц "отрицательной вероятности" света; поток тьвета был бы потоком небытия света. Я-оно встало в позу святого Фомы. Означает ли это, будто бы существуют какие-то "молекулы небытия"? Но как может существовать небытие? Бытие – это то, что существует; небытие – это то, что не существует. Но точно так же, заметил Никола, можно задать вопрос и для случая интерференции света: как то, что существует не до конца, в дробной форме, всего лишь как вероятность – как нечто подобное влияет на видимые, материальные проявления бытия? Следовательно, тьвет, выпирающий свет, никакого нового эффекта из себя не представляет. Отрицательная вероятность нивелирует вероятность положительную.

...Хорошо, а чем в таком случае являются светени? Тут уже Тесла размахался своими длинными руками словно ветряная мельница; призванные вслух светени обильно выступили на его костюме, тьмечь грязнила морщинистую кожу. Все разложения спектра светени и опыты с пленочными экранами, говорил он, показывают, что, в принципе, это опять же обычный свет. По-видимому, проходя сквозь постоянную материю – сквозь то, что существует в абсолютном смысле – тьвет вновь подвергается перевороту в собственных вероятностях. Ну а в материю, через которую проходит тьвет, происходит ли какая-то перемена в ней? Если да – то на субмолекулярном уровне или вообще на уровне энергии тьмечи, поскольку здесь ничего конкретного Тесле установить не удалось. Не определил он и зависимости длины волны света / светени от длины волны тьвета – ведь они могут быть вовсе и не волнами.

- Но ведь свет распространяется и в частотах, невидимых для человеческого глаза. Значит, раз это частоты...
- Инфракрасные лучи, - проблеял серб.
- К примеру. А как тогда с тьветом?

Никола вновь замахал руками, что поначалу я-оно приняло за очередное мимическое блеяние, но это он как раз желал показать на себе: светени, ответления.

- Человек теплый, – произнес он и замолчал на какое-то мгновение, вслушиваясь в работу собственного организма; успокоившись тем, что в средине все действует как следует, он подлил в механизм топлива из  $C_2H_5OH$  и продолжил: - Человек теплый, он светится по причине этого тепла, только мы этого не видим. А вот человек с нарушенным балансом тьмечи, он же, лютовчик, нуу, что излучает он? Поиграйтесь призмами, и увидите, как свет, проходя сквозь иную среду, меняет свой характер. Все может быть и так, мой мальчик, что исходящее из внутренностей материи подобное излучение, даже если поначалу оно имело характер тьвета, превращается в светень на верхних тканях. Только из внутренних тканей тьвет может быть освобожден без нарушений. Вот откуда, если не ошибаюсь, у обитателей Края Лютов и наблюдаются подобные оптические феномены.

- А Черное Сияние? А то, что светени постоянно взбалтываются, перемешиваются, делаются похожими на заливное? А все эти гадания по ним? Читал ли доктор то, что я принес ему от Круппа, те берлинские теории? Поскольку я уверен, тут имеется какая-то связь с состоянием разума человека, подверженного воздействию тьвета.

- Ба! Но, возможно, сама эта гипотеза Борна и Ди Велоче о волне Дебройля как о скачках вероятности существования, она сама ведь может быть неверной! Как в Зиме, так и в Лете!

- О какой еще "отрицательной вероятности" вы тут говорите? Математика четко определяет вероятность: от единицы, то есть, события или свершившегося, или же столь же возможного, до нуля, то есть – до события без какого-либо шанса произойти. И какой же это шанс мог бы быть меньшим, чем нуль? Значит, что? Данная вещь не только ни в коем случае не произойдет, но в добавок и... Ну, что еще? Можно ли "не быть" и "еще более не быть"? Неужто не-существование можно как-то поделить? Боже мой, Никола!

- Пей, пей!
- ЛубумММ!

Господин Хавров скинул пиджак и жилетку, ослабил галстук, засучил рукава; за пьянку он берется как за тяжкий физический труд, словно за работу в каменоломнях. Саша тоже уже сбросил лабораторный халат. Похоже, в лаборатории было спрятано немало спиртного, потому что, ни с того, ни с сего, вдруг появились две пузатые бутыли сибирского ханшина. Я-оно приглядывалось ко всему этому с нескрываемым изумлением. Наверняка, я-оно было еще слишком трезвым, наверняка, Молот Тьмечи был по голове еще слишком недолго – но, видимое изнутри, все это слишком было похоже на массовую одержимость; злой дух в них вступил и теперь вот управляет телами и мыслями. Шарах-тарарах, будут ужираться до последнего. И что за удивительнейший транс! В Варшаве пило совершенно иначе: от рюмочки до рюмочки, четверть часика – и по-новой, один приятель поднимал тост за другого, да с закусочной, да с разговорами; и тогда напивалось как-то незаметно. А здесь: пьют, чтобы пить. Ведь призыв Хаврова – это пустой повод, в качестве знака могло послужить все что угодно. Павлича еще как-то понять могло, с его состоянием духа – закрытый здесь словно в тюрьме, перепуганный, отчужденный, оставленный сам себе на долгие вечера и ночи – для него любой способ забыться хорош. Но доктор Тесла? Закинув худощую ногу на ногу, сгорбившись по-птичьи на табурете, он заливает в себя шотландский виски, добродушно поглядывая на вице-директора и биолога, когда те строят дурацкие рожи мышам и крысам.

В мастерскую вошел старый Степан и тут же полетел вверх тормашками на коврике из стеклянных осколков. Я-оно хохотало вместе с другими. Охранник неуклюже поднимался на ноги, пискливо ругаясь. Как все хохотали, точно так же те-

<sup>81</sup> Световой квант, квант света (нем.)

перь все бросились ему помогать, отряхивать от осколков, к столу проводить, один и другой стакан в руки совать. Эдмунд Геронтиевич, уже хорошенко подшофе, вытащил из-за шкафа метлу и, весьма этим развеселенный, заметал блестящие россыпи; а при этом он начал еще и петь (оперный баритон), и при том так растягивал мелодию, чтобы согласовать такты с ударами Молота Тьмечи. Подстроив шаг и замах, он убрал весь пол в течение шести ударов.

Саша тем временем, порозовев от сердечности, так что любовь к ближнему вытекала из всех спинок и прыщей на лице, разлив остатки сажаевки по мерным колбам и сунув всем в руки, взволнованно исповедовался на ухо Теслы, дергая его при том за полы пиджака и самому себе стучав в грудь худеньким кулачком. Я-оно не слышало, что он там рассказывал.

Хавров приблизился, вальсируя, стиснув метлу в объятиях; колбу он опорожнил в один глоток, теперь спазывал тунгетит с губ.

- И что, Венедикт Филиппович, чего доброго принесли вам кладбищенские забавы?

- А что, Арский вам не рассказывал?

- Рассказывал, рассказывал. – Эдмунд Геронтьевич положил подбородок на палке метлы, подмигнул. – Дорогу разыскиваете за Отцом Морозом, а? – Кончиком языка он подцепил последнюю черную пластинку. – Тунгетита наелся да и под землю вмерз, так?

Шотландский виски обжег горло, откашлялось.

- Наелся, напился, натычился.

- И что? Теперь, - Хавров замахал руками в каком-то пародийном подобии кроля, не поднимая подбородка от метлы, - теперь плавает себе под землей, гы-гы.

- В том-то вся и боль, дорогой мой сударь, потому что живой человек, понятное дело, по Дорогам Мамонтов ходить не может.

- О! Не может?

- А как? Человек – он ведь тебе не червяк дождевой.

- Ясно.

- Но вот это как раз вас утешит. – Ударило пинком в метлу, Хавров полетел вперед, поддержало его за плечо. – Как он путешествует по Дорогам Мамонтов, раз не живой человек? А вот так: умирает и воскресает.

Развеселившийся федоровец хлопнул себя руками по бедрам.

- Умирает и воскресает!

- Слышишь? – Лубуммм!!! – Вот, что протекает по Дорогам. – Я-оно поставило стакан посередине засыпанного песком и крупной черного зеркала. – Восстанавливает перемешанное, слаживает разбитое, освежает сгнившее, склеивает разорванное, мертвое оживляет. – Вновь склонилось к Хаврову, тот слушал теперь с раскрытым ртом; схватило его за щеки, пощелкало по выпуклому лобику. – Но он не перемерзает по Дорогам плотным телом, дышащим в своей замороженности. Нет, нет! Он плывет, как гелий – перетекает – напирает, словно мерзлота – волоконце, косточка, комок крови, ниточка кожи – а когда волна уходит, складывается назад в целое, словно пегнаров голем. – Я-оно рассмеялось. – Под землей, на земле. Мой отец! – Теперь я-оно смеялось все громче. – На волне тьмечи, при температуре ниже абсолютного нуля – жив ли он или не жив... Еще больше существует! В сотню раз сильнее! Существует, несмотря ни на что!

- И тот мартыновец, - подсказал пьяно возбужденный Хавров, - тот...

- Копыткин.

- Ну да, Копыткин!

- Вы его помните? Что это был за человек?

- Иван Тихонович Копыткин, хам невыносимый, грубиян и дикарь.

- Но что его от других добровольцев отличало? Арский ведь вам рассказывал, перекопали все их могилы – один Копыткин сошел в мерзлоту.

- Ой, не так уж хорошо я всех их и знал. Что его отличало? – еще больший хам и неотесанный болван.

Я-оно отпустило Хаврова.

- Скорее уж крысы мне расскажут, - буркнуло про себя.

Тот выпрямился, поднял указательный палец.

- Крысы – оно животные умные!

- И чего же такого вам скажут крысы? – спросил Тесла, с заядлой педантичностью выравнивая манжеты и перчатки.

- Почему одни замерзают раньше других, - поспешил с объяснениями Саша, и по причине отсутствия стула свалился на столе рядом с Машиной Лучи Смерти.

Бросило стаканом в стену. Тот отбился, словно от резины, и целехоньким вернулся прямо в ладонь.

- Бог создал людей неравными! – восхлинуло я-оно. – Одни состояния пропиваются, другие утюги, словно магнитом, на грудидерживают! Господин доктор измерит структурную постоянную души! Кто больше тьмечи выдержит, в себе поместит, кто существует более остальных!

- Крыса-Геркулес! – прошептал Саша. – Мышь единоправды!

- Кгмм, мгммм, хрхмм, - долгое время подкашивал Тесла, наконец выпил водки, и речь к нему вернулась. – Вы говорите, *ton ami*, будто бы для этого нет никакого физического, химического, биологического рецепта, потому что, помимо всего, необходимо замерзнуть – душой?

- Характером.

Господин Хавров наморщился, словно в страшном умственном усилии, и мозг при этом сделался настолько тяжелым и потянул в сторону, что вице-директору вновь пришлось опереться на метле, наполовину сложившись, будто перочинный ножик.

- Так вы хотите человеческий характер, описанный цифрами, еще и в физические уравнения поместить! – выдавил он из себя наконец.

- И что в этом странного?

- Да как же! Физика, математика, естественные науки, занимающиеся измеряемыми величинами – они ведь человеком не занимаются. Самое большее, его телом, но никак не человеком! Нет, нет, нет! Относительно человека у вас есть литература, поэзия, психология, философия и религия; относительно человека имеются слова, а не числа!

- И что же это за новейшая доктрина! Причем, из чьих уст – сторонника Федорова!

- Доктрина? Ах, да вы, - тут он начал плевать из-за своей метлы слогами, - да вы детерминист, ламетрист<sup>82</sup>, часовщик души!

- *Au contraire*<sup>83</sup>. Действительно ли все о мире, помимо человека, можно рассказать с помощью простой ньютоновско-часовщиковской механики? Если уважаемый господин директор читал что-нибудь о работах Планка, Эйнштейна и Гросса<sup>84</sup>, тогда он знает – что нет. Тем не менее, это не исключает море... моке... мокле... молекулярной физики из сфер чисел, равно как и не исключает ее из сферы поэзии и литературы. Но почему нельзя и человеческую душу трактовать в том же ключе? А? Вот увидите, когда-нибудь еще появятся математики души, наряду с электричеством мозга и воздействиями, для нас пока что неизмеримыми, описывающие характер человека в систематике, достойной Менделеева. – Я-оно передохнуло.

– А может, и не увидите. Если еще доживем. – Подлило себе виски. – Или, если мы будем воскрешены.

Доктор Тесла был едва слышимые, хлопчатобумажные аплодисменты.

- *Well said, Benedictus!*<sup>85</sup>

- Временами, - призналось ему над тунгитовым зеркалом, - иногда мне кажется, будто я могу высказать то, чего высказать невозможно. – С печальной серьезностью покачало головой. – И тогда говорю наибольшие глупости. О, и какие глупости! Шедевры дурачества! Образцы кретинизма! Абсолютнейшую чушь, гениальнейшую дурь!

ЛубумМММ!

Тремя бутылками позднее Степан, заполз под опутанные кабелями стеллажи, перекусил какие-то провода, и его так шарахнуло током и теслектическим, что от его обледеневшего носка летели бело-черные искры, когда вытягивало его из-под железяк. Едва вытащило пожилого охранника, туда заполз полуоголый директор Хавров, гонясь за мышью, которой он не успел исповедаться в своей директорской жизни; весь в соплях, он звал ее басом – та, перепуганная, убегала. Грызуны разбежались по всей лаборатории, под столы, на столы, в аппаратуру. Саша поначалу гонялся за ними, теперь же залез на стальной шкаф и оттуда метал по комнате гайками и мотками проводов, едва кто-то из зверушек показывал нос или хвост; Павлич то попадал, то нет, в зависимости от ударов Молота. Спокойнее всего упился доктор Тесла, который попросту заснул, плюхнувшись лицом в тунгитовое зеркало, так что к нему приклеились темные и светлые крошки, одни на правую щеку, другие – на левую, что и могло что-то означать, но и не должно было. Тьметистое дыхание исходило из его полуоткрытых губ, тумана поверхность.

<sup>82</sup> От Ламетри - (La Mettrie) Жюльен Офре де (1709—1751) — фр. философ. На философию Л. наложили отпечаток его занятия медициной. И та, и другая должны подчиняться, по Л., природе, видя в ней свой единственный предмет и черпая из нее свой метод. Зависимость от человека (политическое рабство) Л. призывает заменить зависимостью от природы, предполагающей жизнь в согласии с разумом и обусловливающей единство людей. Мораль также зависит от физической организации человека. Индивид подобен машине, и как часы не ответственны за то, спешат они или отстают, так и человек не отвечает за свои действия. Картезианский дуализм души и тела Л. устраняет, полностью редуцируя первую ко второму. Единственная существующая субстанция — материя. Сама по себе она пассивна, но благодаря ощущению она становится активной. Недостаточно, следовательно, считать ее, вслед за Декартом, лишь протяженной. Ощущение — атрибут материи. Движение не придается материи извне. Для материи, начиная с самых элементарных ее уровней, характерна раздражимость. Материя проявляет склонность к самоорганизации. Ее движение упорядочено. Л. выступает против идеи творения материи. Она не-уничижима и вечна. В учении о человеке Л. отвергает традиционное представление о душе и предлагает свой образ человека-машины. Разумная часть души отождествляется Л. с растительной. Тело производит и мысль. Опыт медика подталкивает Л. сделать вывод о принципиальной неавтономности души. Она всецело определяется телесными функциями. Отсюда следует, что между человеком и животными нет существенного различия. И счастье, и удовольствия зависят не от воли, свободу которой Л. отрицает, но от телесной машины. Мораль имеет два источника — природу и общество. Последнее диктует человеку понятия о чести, славе,уважении и др. добродетелях. Они относительны, будучи всецело зависимыми от текущей ситуации в обществе, от его потребностей. Мораль — дочь политики. В то же время выполнение моральных норм обеспечивает социальное равновесие. Освященные социумом нормы — это закон жизни большинства людей. Этическая теория Л. не ставит под сомнение традиционную мораль. Философ не верит в возможность просвещения масс. В этом смысле его моральное учение пессимистично. Но все же подлинная мораль — дитя природы. Ее ориентиры телесно детерминированы. Добро то, что приносит физическое удовлетворение. Зло — то, что вызывает телесное отвращение. Поскольку мы — рабы своего тела, постольку счастье от нас не зависит. Этика Л. в духе стоицизма учит обходиться без счастья, призывает к умеренности, требуя ограничиваться настоящим и не думать о прошлом и будущем, над которыми мы не властны. Идеи Л. оказали известное влияние на П.А. Гольбаха, К.А. Гельвеция, Д. Диодро и др. философов-просветителей. — Философская Энциклопедия

<sup>83</sup> Наоборот (фр.)

<sup>84</sup> Переводчику не известно, какого Гросса имеет в виду автор, но, возможно, он забежал вперед, и упомянул Дэвида Гросса, нобелевского лауреата, продолжателя теорий Эйнштейна и Планка, автора теории суперструн (род. 1941) – Прим.перевод.

<sup>85</sup> Хорошо сказано, Бенедикт (англ., лат.)

Вытащив Степана, я-оно тоже рвануло пучок проводов, после чего, усевшись поудобнее на полу, подвесив на шее тьмечеметрическую трость, взялось за свежую бутыль ханшина, закусывая то электрическим, то теслэктрическим током из голых проводов. Молот бил сквозь виски, навылет. Попеременно закрывало глаза, захватывая образы, выжигаемые вместе с очередными глотками: черные, белые, черные, белые. Водка с тьмечью на вкус была получше; от обычного тока зубы покрывались лимонным сахаром. Бах, болт отскочил и ударил в пятку. Сложило ладони. Кустики угольно-черного инея по-растали пальцы, доходя до бледно-розовых ногтей. Сжимало и разжимало кулаки, колючие энергии через жилы и нервы въедались в поверхность рук и в сердце, целясь в голову. Шарах! На лету схватило отскочившую гайку и метнуло ее в Павлича. Биолог свалился со шкафа, задавив насмерть мышь и крысу, после чего начал кататься по заваленному всякой дрянью полу, размахивая руками. Спрятало бутылку за спину. – Последняя! - застонал Саша. Поднесло руки к глазам, из-под кожи выступила бледно-розовая мозаика, отпечатки в виде шахматной доски. Прикрыло левый глаз. Саша схватил за руку.

- Мрррззный! – зашипел он.

- Пусти!

Биолог махнул рукой, из рукава рубашки вылетел мышиный трупик.

- Тоже замерззла, ббедддняжка.

- А вот это хорошо.

- Что?

- Этим глазом, - ткнуло себя в веко, - я вижу только тени, а вот этим – только свет.

- А мммння, менння каким виддите?

- Бу-гу-бля и бль-гу-гу-бу, - спорил рядом Степан с носком, натянув его себе на руку; носок отвечал утинным кряканьем.

- Пятьдесят на пятьдесят, - буркнуло я-оно, хорошенъко глотнув из горла, закусывая скотосовым кабелем. Челюсть занемела.

Саша только хлопал глазами.

- За маммонтами, мамонннтами желаете...

- Кддды он иддеть? Кддды? Краэррты!

- Заморозиться! - От возбуждения Саша откусил мышиный хвост. – Не позввволляю! Зззапрещщаю!!

- Сттолько ллллет! И прямо иззэмммли? Выллаззят!

- Нет-нет-нет!

- Бе-бе-бе!

Нет, ну почему все они несут какую-то тарабарщину? - подумало я-оно и глотнуло посильнее, чтобы подремонтировать голосовые связки.

- Ежели живут, - произнесло, четко выговаривая слова, - ежели не живут, или чего там абаасы делают – но тунгетиту нажраться должны – разве не так? – Обняло Сашу за шею. – Но потом же высрут, выснут, оно с потом выйдет, с дыханием... Аарростатттный же оттаял. Или нет?

Ничего не понимая, Саша серьезно качал головой, мышиный трупик качался маятником под шеей.

- Выходит... выходит... выходит... - почесало себя кабелем по темечку. – Что же хотело сказать... Саша, Саша!

Тот выплюнул дохлую мышь.

- Тунгетит жрать. Замерзать. – Он с трудом поднялся на ноги, схватил за тьмечеметрическую трость, потянул. Мираже-стекольный сосуд упал, и осколки выстроились в геометрически точный витраж. – Вставай! Вставай, говорю!

Я-оно встало. Саша упал. Подняло Сашу. Через шаг свалилось само. Затем Саша помог подняться и сам шлепнулся на четвереньки. Обвязало ему шею проводом и рвануло в вертикальное положение. Тот схватился за кабель, в полуаршине над светлыми волосами, и таким образом удержался на ногах. Тем временем, я-оно опустилось на пол, за бутылью. Только ее уже схватил директор Хавров, он лил водку в рот схваченного грызуна, тем самым грозя смертью от утопления. Под коленями у него стреляли снопы электрических искр. Душащий зажим заставил плясать перед глазами черные, квадратные звезды – это Саша Павлич тянул за трость. Правой рукой хватаясь за провод, петлей захвативший шею, левой он тащил меня. Так вышло в коридор. Лубуммм!

Блуждало по пустым ночным закоулкам Обсерватории, стучась о стены и ящики с каким-то оборудованием. Саша вел, таща за провод-удавку, то туда, то сюда. Я-оно споткнулось, налетев на ноги казака, спящего на табурете за порогом. Саша вернулся. Он начал очень громко считать двери, в чем быстро его поправило, потому что биолог вечно сбивался между тройкой и четверкой, между шестеркой и семеркой. И вдруг он остановился, навалившись на железные двери с зарешеченным окошком.

- Вот тебе! – харкнул Саша и так придавил тростью к этой двери, что я-оно хорошенъко приложилось подбородком в заклепки и ржавые пятна.

- Вот, держи! Из них кого-нибудь выбери и замерзай!

- Кто...

- Император приказал! Каторжники, добровольцы! Гы! – Саша икнул и подвесился повыше, поднявшись на цыпочки.

Глянуло на них глазом темноты, глянуло глазом света. Сбитые в кучу, худые и обессиленные, придавленные к земле, даже сейчас они инстинктивно гнут спины и исподлобья, снизу глядят вверх; а на кого черно-белый взор я-оно обратит, тот зенки опускает и умильно, по-собачьему, беззубо скалится.

- Дерьмо это, а не абаасы, - сплюнуло.

- А?

- Все подохли бы.
- Так кого тогда...

Лубуммм!

- Измаила! – рявкнуло и вырвалось из трости, чтобы грохнуться на колени и заблевать брючины болтающегося в половине аршина над полом Саши Павлича. Углесветная тьмечь текла вместе с желудочными соками. – Измаила, – стонало я-оно, вытирая рот.

Заснуло там же, в мастерской Теслы в Обсерватории, под корпусом малой теслэлектрической машины, закутавшись в чужую шубу, сжимая под мышкой тьмечеизмерительную трость (синяки останутся!). Молот Тьвета, Молот Тьмечи бил по снам, разбивая их один за другим. Но вот что было необычным: что вообще хоть что-то из этих снов запомнило, что они прорвались на эту сторону яви – что нечасто случалось, даже здесь, в Краю Людов. Только Молот глубоко забил их в душу. Лубуммм! Каторжники, закрытые в складском помещении, наскоро в тюрьму переделанном, грызться начали и сжирать друг друга, звериные, отвратительные отзвуки чего исходили наружу. Я отодвинул висящего перед дверью Павлича, только мало было поднять засов – нужен был еще и ключ к замку. Я побежал к каравальному казаку. Тот не мог понять, что я ему говорю: вместо слов изо рта извергался поток криогля. Солдатик передернул затвор, выстрелил раз, другой: голова, грудь. Из дыр вырвалось огненное сияние. Затыкая их ладонями, я вернулся под камеру. Саша висел уже аршинах в трех над потолком, продолжая подтягиваться вверх. Я глянул через решетку. В средине остался всего один каторжник, который загрыз, разорвал на куски своих сокамерников. Поначалу я не распознал жабье-паучьего силуэта, присевшего на куче оборванных конечностей, черепов и туловищ. Тогда я отвел руку от лба. Циклопий луч осветил камеру. Каторжник подскочил, затрепетал семью конечностями и повернулся к двери, все так же плоско прижимаясь к полу. На пегнаровом слепке частей тел, происходящих чуть ли не от дюжины человек, на шее, еще не достаточно хорошо к ним примороженной, болталась голова Сергея Андреевича Ачухова. – Нет человека! – хрюпал он, а над этой головой кружила корона теслэлектрических молний. – Нет Истории, нет человека! Отчаяние, отчаяние, отчаяние! Даже самоубийца! Улейтесь! Нет человека! – Но тут другая часть голема подняла собственный бунт: лапа, примороженная к левой лопатке, достала до шеи и сорвала оттуда голову Ачухова, нашарила в куче новую башку и насадила ее на освободившееся место. Эта голова была вся в крови и продавленная у виска, но я сразу же узнал круглое лицо Herr Блютфельда. – ...плохая, Зима плохая, злая, Зима злая, плохая, плохая, Зима злая... – бормотал немец. – История плохая, История плохая, неправильная... – Криво напяленная, башка Блютфельда тоже быстро упала и откатилась в темноту. Союз передних конечностей вновь насадил на троне шеи голову Ачухова. – Нет Истории, нет человека! – завыл он по-новой и бешено захлопал глазищами. – Мамонты, мамонты! Про-ва-валиваюсь. – После чего и вправду провалился, когда трупы, камни и земля расступились перед всеми его ногами-руками, которых становилось все больше и больше (коалиции конечностей множились новыми и новыми запчастями, выкапываемыми из побоища). Я навалился на двери, пытаясь заглянуть в открывающиеся прямо в тюрьме Дороги Мамонтов. Мерзлота лопалась под аккомпанемент грохота и треска, сравнимых с пушечными залпами. Я заткнул уши, но тут ударил Молот. Лубуммм! Молот... Молот, нужно его остановить, пока не будет слишком поздно! Прототип – не прототип, нельзя ему разрешить пробуждать на Дорогах подобные волны! Я выбежал на двор Обсерватории. Зимназовая машина, похожая на колодезный журавль, била в землю тунгеститовым ломом, выполненным в виде бюста Николая II Александровича. Выстроившись кругом, перед ней стояли на коленях люты. На спине самого крупного ледовика сидел в охляпку Никола Тесла и из размаха длинных рук был черными молниями – был в тот самый кратер, который царь-молот пробил к Дорогам Мамонтов. Оттуда изрыгался тьвет, в котором лишь время от времени пробивалась корявая светень, открывающая очертания человеческого силуэта с вытянутой в жесте просьбы рукой, профиль страдальца. Я бросился в эту темноту, ведомый светом из сердца и головы, но уже через несколько шагов почувствовал мороз, застывающий вокруг студенистыми волнами, въедающейся в тело, связующий его со временем лютов. Шаг, еще шаг – а проходили десятки минут, часы. Люты проворачивались на своих паучьих сталагмитах, склоняя ко мне блестящие тьмой медузы льда, вытягивали ко мне сосули, набежавшие тьмечью. Император глупо скалился из Молота, светясь, словно комета, спадающая по дуге и гаснущая на пути к звездам. Что-то летело с высоты в эту тьметистую кипень; не звезды, а серые дробинки, замораживаемые на лету громами доктора Теслы. Медленно, медленно, очень медленно я повернул глаза наверх вместе со световыми копьями, бьющими из них. Это Саша Павлич – Саша подтянулся на своей висельной проволоке уже над трупными мачтами; теперь он маячил на черном небе, слегка колыхаясь под Луной в первой четверти, а из его левого рукава сыпались крысы и мыши. Крысы и мыши, подумал я, пускай отец хоть ими подкрепится: теплая кровь, теплое мясо, живая плоть. Лубуммм! Мамонты, мамонты идут за мной, лубуммм, земля тряется, когда они маршируют по ней.

Но, не успел я спуститься в Царствие Тьмы, как появился господин Щекельников, разбил Молот на кусочки, нассал в кратер тьвета, заплевал лютов и отвез меня на Цветистую. Где спало уже без снов, чтобы на утро проснуться с чудовищным – мамонтовым – похмельем.

## О наслаждении отраженных искушений

"Иркутские Новости" доносят, что новая аберрация коснулась сонных рабов; редакция рекомендует семьям держать несчастных под ключом, а то и связывать на ночь – ибо их тянет в город, даже в самый страшный мороз, и при том они совершенно не обращают внимания на свое здоровье. После расспросов, они рассказывают о каком-то приятеле, которому нужна помочь, или тому подобные глупости. Газета об этом уже не пишет, но ведь я-оно знало, куда их тянет явь, которая представляет собой сон, в свою очередь сделавшийся явью. А направляются они в Обсерваторию Теслы, издалека заметные светениями; вежливо просят казаков, чтобы те их пропустили; и вовсе не сопротивляются, когда казаки их вяжут и пере-

дают жандармам. Степан рассказывал, что с тех пор, как Никола запустил прототип Молота, больше двух сотен их приобрело в Обсерваторию: нищие и банкиры, цирюльники с извозчиками, господа офицеры и бедняки, девочки-подростки и седые матроны, русские и немцы, поляки и китайцы, даже один поп с попадьей. Все они – невольники необходимости, поданные единоправды. Я-оно подумало, что, по крайней мере, такова польза от длительного выкачивания тьмечи: ничего не снится. Что означает, до настоящего времени.

*В пансионате на ул. Петропавловской вчера вечером перерезал себе горло бритвой 40-летний заводской мастер Аполлоний Чвибут. Господин Чвибут недавно прибыл в наш город из Львова, и он весьма жаловался на сны во время Черного сияния. Полиция обратится за рекомендациями к бурятским колдунам из метрополии.*

"Русские Ведомости", газета московских либералов, пишет больше о европейской политике. Гонконгский мир в России приняли, без малого, как триумф царя. Октябрьцы-ледняки Яркова, Мержинского и даже старого Гучкова, а так же кадеты-милюковцы, не говоря уже о правых лоялистах и переубежденных трудовиках, все они единодушно выступили в Думе с верноподданическим поздравительным постановлением. В Государственный Совет, как верно предусматривал Мишка Фидельберг, тут же вернулось дело земств западных губерний и давно уже придерживаемой второй налоговой реформы по проекту Столыпина. Неужели Лед трескался? Но ведь Япония и британский Гонконг все еще принадлежат доминиону Лета. И если импульс приходит оттуда... Потерло виски, в которые до сих пор продолжал бить Молот Тьмечи. Можно ли так рассечь Историю, что половина мира стоит, а вторая половина – несмотря ни на что свободно движется вперед? Ведь заморозить часть человека – весь человек умрет. Тем не менее, обязательными остаются принципы причины и следствия. Логика преломляется на границе Лета и Зимы, словно свет, преломляющийся на границе различных сред, но ведь лучи каким-то образом через границу проходят. Ба, "Русские Ведомости" в редакционном комментарии тоже склоняются к оптимистическому тону. Наконец-то мир! Война год за годом пожирала столько денег, что мы так и не почувствовали процветания, возбужденного зимназовым бумом; теперь же, и уж наверняка – после пуска Аляскинской Линии, Российская Империя войдет в Золотую Эру (если только ею мудро управлять).

Лежа на кровати потянулось за "Иллюстрированным Еженедельником", сложенным на ночной тумбочке вместе с другими свежими изданиями, вчера или позавчера привезенными из Королевства с последним Транссибирским Экспрессом. В "Еженедельнике" две полосы занимало возвзвание Варшавского Общества Любителей Животных. Многолетняя Зима привела не только к гибели городских грызунов и прогнала из Варшавы птиц, но и вообще лишила город и его обитателей контакта с животными, если не считать лошадей, к которым уже относятся, скорее, как к биологическим машинам. Мало того, что погибли уличные собаки и подвальные коты – люди, любящие удобства эгоисты, перестали держать дома животных, особенно собаки в содержании сделались особенно обременительными. Общество взывает к жителям с тем, чтобы вновь вернуть к домашним очагам "наших маленьких друзей" и для этого привезло из деревни сотни замечательных котят и щенят, которых можно за символическую оплату приобрести в штаб-квартире Общества. В особой же степени, семьи имеющие детей, должны обеспечить им возможность ежедневного общения с живыми собаками и кошками. Раз уж ХХ век должен стать эрой машин и обезличенного прагматизма денег и техники, раз уже, кроме того, мы живем в метрополии, отрезанной от природы, прикрытой льдом – то позаботимся, по крайней мере, о том, чтобы не подавить в себе тех чувств, что рождаются в человеке при слишком общении с малой, беспомощной жизнью. Людская натура не меняется столь же быстро, как цивилизация (если вообще меняется). Наши отцы, деды, прадеды – так тренировались в нежности и любви, так воспитывались в готовности к взрослым чувствам и зрелой чувствительности, так учились ценить всякую капельку Жизни: путем прикосновения к теплой шерсти верного пса, из радости расшалившихся, чудесных в своей неуклюжести котят, из дрожи ноздрей жеребца, из трепета сердечка взятого в руки птенца. Человек, воспитываемый в окружении льда, кирпича и зимназа никогда не откроет собственной души до конца. Между этим и последующим поколением будет утрачена способность испытывать определенные эмоции; чувство эмпатии будет притуплено. И уже другие люди – ледовые – положат нас в могилу. У них будут свои романтические переживания, свои страсти, свои маленькие чувства – только уже прогнившие, залежавшиеся, бледные. Наших стихотворений, наших драм, наших жизней – до конца они не поймут; мы будем казаться им сверхвозбудимыми истериками, иррациональными трусами. Духовные слепота и глухота овладеют человечеством. Варшавяне, разводите собак и котов!

Старик Григорий принес кружку огуречного рассола – лекарство от похмелья, а когда выходил, не закрыл за собой двери; сквозь щель притиснулся котяра Велицких. Он тут же улегся в ногах кровати, потягивался и, слегка изумленный, широко зевал. Подагру такое котище из человека, конечно же, вытянет, но вот похмельное состояние...? Часы в салоне пробили половину десятого. В башке грохотал молот. Глотнуло рассолу, один привкус заменил другой. Хорошо еще, что взято свободный день по причине встречи с князем и его человеком, во всяком случае, я-оно не станет посмешищем у Круппа, показываясь в подобном состоянии. Собрало газеты, подтянулось на подушках. Кот решительно промаршировал по перине, затем сначала попытался залезть на голову (отпихнуло его, простонав), а затем сунул свою голову мне под шею и окутал ее в виде живого мехового воротника. Когда же силой оторвало его, тот, разозлившиесь, царапнул когтем по щеке. Да к чертовой матери все Общества любителей животных! "Душу открывать", как же, как же! Бестия, шипя и показывая клыки, кружила у кровати. Я-оно поднялось, выгнало кота из комнаты, закрыло двери.

Затем потащилось открыть шторы. Белизна хлестнула по глазам. За окнами кружили радужные туманы – жестокая метель мучила город с самого рассвета. Сплонув в цветочный горшок, на мгновение прижало лоб к холодному миражестеклу. Нужно как-то проснуться из этого грохота, выйти из отупения, сонной мухи, вымыть горечь изо рта. Сегодня ведь столько всего может решиться... И вовсе нет уверенности в том, а нужен ли сейчас Лед. Как же тосковало по тому чувству

легкости, растянутости в тысячекратных возможностях, по тому ветру в голове: мысль такая, мысль эдакая, и они проскаивают без малейших усилий, напирают дюжинами, тащат за собой в дикую скачку над полями воображения... И еще так не хватает сопровождающей все это, возбуждающей уверенности: сколько всего еще возможно, практически любая возможность открыта; стопроцентной уверенности нет, тем не менее, все как-то и возможно. Так что – откачать тьмечь? Откачать Мороз? Я-оно качало черепом по холодной плоскости мираже-стекла. А почему бы и нет? Что мешает? (Кроме осознанной воли). Все равно, ведь вскоре нужно будет взять у Николы насос, чтобы отморозить отца; так что можно будет избавляться от тьмечи в любой удобный момент. Тем временем, замерзло все больше. И ведь точно так же все это проходило во время болезни после прибытия в Иркутск. И чем кончилось? При первой же возможности дорвалось до насоса Котарбинского. Вот только разница в том, что тогда замерзло по принуждению, сейчас же – по собственному выбору. Только такая разница – даже такая! Отняло голову от окна, в метели и снежных потоках показался Конный Остров, темные туши ледовиков, бледные огни саней на Ангаре. Вокруг трупных мачт заверюха ходила плотными спиральями. Поначалу попыталось захватить отражение лица в стекле, но быстро отвело взгляд; это тоже было проклятием Лета: власть зеркал. Зато на оконной глади осталось красное пятнышко: остаток ранки под глазом, память старых шрамов. Растирло его в косую полосу. Метель порозовела, кровь залила Город Льда.

Медленно одевшись, проковыляв в уборную и назад, уселось в столовой за поздний завтрак. Лишь бы чего-нибудь теплого... А тут: овсянка – сплошная кислота; кофе – такая же кислота; яичница – еще большая кислота... гадость.

И так вот печалилось над творожной запеканкой, когда вошла панна Марта.

- Что, невкусно? – сладким голоском спросила она.

Скорчило еще более кислую мину.

- Панна Марта, дорогая, – захрипело я-оно, – да я и амброзии сейчас глотнуть не смог бы.

- Так вам и надо! – она сложила руки на груди. – Кто шастает по ночам по каким-то грязным малинам, до смерти пьяный возвращается ни свет ни заря, да еще и в рабочий день, за то и страдает!

- По малинам...! – вздохнуло я-оно, но без малейшего желания скориться. На пороге появился котяра; следило за ним мрачным взглядом. Вздохнув еще раз, полило запеканку медом с травками. – Слава богу, хоть дети по голове не прыгают.

- Они с Машей и матерью в церкви, что-то там благотворительное... Ага, пан Бенедикт, вы ведь запретили будить вас, со страшными угрозами...

- Так?

- Так, так. Потому мы вас и не будили. Одна дама рано утром желала с вами видеться. Полька, сказала, что на работу спешит, так что...

- И вы с ней разговаривали? Она представилась?

- Гвуждь.

- Гвуждь?

- Гвуждь.

Облизало пальцы от клейкой сладости, вкус кружил во рту, выпрямилось над столом.

- И зачем она пришла?

- Не знаю, этого она не сказала. – Панна Марта присела напротив, заглянула в глаза. – Ой, и правда, плохоенько выглядите. Да еще и поранились?

- Нет, это всего лишь...

- Так это спиртиком надо. Сейчас, сейчас.

- И чего эта чертова котяра от меня хочет! – буркнуло я-оно, отталкивая животное ногой под столом.

- Мешки под глазами темные, глаза не смотрят, и тени, как под Черными Зорями... - не без удовлетворенности говорила панна Марта, идя за медикаментами.

- Это все оптические иллюзии, сплошные иллюзии.

Так, но какие же кабели грызло под водку? Сколько это густого теслектричества вошло в тело? И что еще делало ночью в Обсерватории Теслы, когда в голове водочные черти так плясали, что в памяти осталась сплошная чушь? Невольно коснулось пальцем в меду самого центра на лбу.

Затем кот вылизал палец.

В Цитадели – которую еще называли Ящиком по причине топорной архитектуры, словно сундук вычертили – похоже, объявили тревогу, во всяком случае, судя по перемещениям, общему возбуждению и количеству вооруженных солдат, из губернаторских покоев должен быть отдан какой-то серьезный приказ. Господин Щекельников, конечно же, заявил, что все это ему не нравится, потом уже ничего не говорил, поскольку назначенный во внутреннее караульное помещение солдат услышал его ругань и не спускал с него глаз; впрочем, Чингиза задержали уже на первом этаже. Я-оно подумало, что ежели еще вытащат его четвертьаршинный ножик, а к нему самому хорошенъко прицепятся, квадратный амбал долгонько может не увидеть солнца в губернаторской крепости. На сей раз предусмотрительно не взяло с собой Гроссмейстера – правда, предусмотрительность эта оказалась излишней.

Я-оно провели к северо-западной башне Ящика и приказали ожидать в прихожей залы. Ежесекундно туда пробегал хлопотливый слуга или какой-нибудь чиновник; от них отвернулось спиной. Из узкого окна открывался вид на Мост Мелехова и Глазково, вплоть до выхода Троицкой на Ангару, где в Зиму Лютов навечно замерз понтонный мост имени цесаревича Николая Александровича. Метель дула как раз от Байкала, следовательно, не прямо в стекла, но все равно слышало ее вой, и достаточно было поднести руку к раме, чтобы почувствовать на коже укусы бешеного мороза. Должно быть, градусов

пятьдесят ниже нуля, а на ветру – еще холоднее. Спешащая к Цитадели пехотная колонна преодолевала подъем уже бегом, лишь бы побыстрее скрыться внутри: белые горбыли, не люди. Иркутские казармы находились за городом, подальше от Дорог Мамонтов; в Цитадели же постоянно размещалось не более половины полка. Тем временем, здесь собралось столько военных, как будто бы генерал-губернатор готовился отражать какой-то штурм. Вспомнились виданные уже с недавно, а то и месяц отряды тех или иных видов войск, марширующие через Иркутск; солдаты в увольнительных; пан Войслав тоже частенько упоминал о запозданиях на линии Транссиба, вызванных эшелонами Министерства Войны – людей собирали с растопленного японского фронта, перебрасывали на Большую Землю, но, видимо, укрепляли и гарнизон Города Льда. Японский Легион Юзефа Пилсудского неплохо задел всех за живое. Невольно усмехнулось под нос, пригладило сюртук. Отряд вбежал в ворота, которые тут же захлопнулись. Поверх стонущей ноты вихря сквозь окна пробивался еще и медленный пульс метели – эхо глашатаевых бубнов? – Молот Тьмечи?...

- Ваше благородие.

Молоденький унтер-офицер провел в залу, где у громадного камина с бушующим так, что ой-ой-ой, огнем, генерал-губернатор проводил совет со своими штабными офицерами и чиновниками; почти все были в мундирах, некоторые – при оружии. На столе за камином, между карт и документов, были небрежно оставлены тарелки с холодными закусками и пустые бокалы. В длинной стене справа в залу открывалось с полдюжины дверей – ежеминутно кто-то через них входил и выходил, курьеры и ординарцы с сообщениями и приказами. Высоко под потолком висел огромный портрет царя Николая II в тунгуситовой, слегка поблескивающей раме с черным двухглавым орлом.

За каминным экраном, в кресле, обложенном мохнатыми шкурами, отдыхал князь Блуцкий-Осеи. Он читал газету, по-птичьи щуря глаза за овальными стеклами.

Отполированный пол резко отражал звук каждого шага. Невольно ускорило, ставя ноги тверже, в ровном ритме. Унтер шел впереди. Несколько господ в мундирах повернулось, не прерывая дискуссии. Лица разогретые, вспотевшие, усища и бакенбарды насторожены, ордена, погоны, аксельбанты...

Никогда еще я-оно так сильно не чувствовало себя поляком.

- А-а, наш Венедикт Филиппович, молодец!

Гусарский капитан отошел от стола, раскрывая широкие объятия, разевая ментиком. Я-оно вежливо поклонилось ему, но это его не остановило: по-медвежьи облапал, стиснул, просопел в ухо какие-то непристойности – ага, видно, что еще не пришли в себя после нашей ночки! это ж не каждый способен всю ночь ебаться! так ведь и Лидия, ведь чудо, а не девочка, а? Тишиш, шиши, нужно! Обязательно! Следует!

- Так вы и с капитаном Фреттом знакомы, - кисло заметил князь со своего кресла, с гневным шелестом складывая газету.

- Ваше Высочество!

- Ха-ха, знакомы, знакомы! – Гусар, по-видимому, был в самом прекрасном настроении из всех собравшихся; румянец и порозовевший нос указывали на то, что он либо только что вернулся с мороза, либо, несмотря на дообеденное время, уже успел пропустить пару-тройку стаканчиков.

- Капитан, – продолжил князь, совершенно не говоря громче, так что пришлось подойти к нему и к камину; жаркая волна ударила в правое ухо, я-оно почувствовало, словно в него хлестнули кипятком. – Капитан, хотя я и могу согласиться, будто это может и не слишком заметно...

- Ваше Высочество весьма милостивы! – смеялся усатый вояка.

- Капитан пользуется моим бесконечным доверием. Капитан... – тут князь Блуцкий прикрыл глаза, сдерживая дыхание, пошевелил челюстью туда-сюда, и только после этого продолжил: – ...человек чести и служака. Вы понимаете?

- Да.

Тут он кивнул скрюченным артритом пальцем. В чем же заключается их странная власть, так что наименьший жест они тысячекратно множат в его значениях, так что можно читать их полностью, как живые светени – дрожание губ, незавершенное моргание, дыхание, вот, палец? Я-оно приблизилось. Показалось, будто бы князь желает что-то сказать, приватно, шепотом, как было в обычай у его супруги; но он только прищурил глаза, приглядываясь из-за выпуклых стекол, в которых металось отражение высоких языков пламени. Наглядевшись, он раздраженно махнул.

- Поляк, не поляк – замерзло.

Я-оно отступило.

Тем временем, среди чиновников вспыхнула ссора, они начали перекрикивать друг друга через стол, бросаться бумагами, включился и седой полковник, кто-то зацепил и сбил на пол поднос с графином, тот с грохотом раскололся.

- Измена! – хрюпал полный чиновник в мундире Министерства Зимы. – Измена, предательство!

Его вывели из зала.

Князь поднялся на ноги, подошел к графу Шульцу, начал в чем-то убеждать, размахивать перед носом генерал-губернатора тем своим кривым пальцем. Я-оно насторожило уши.

- ...императорского милосердия. Вам следует научиться дипломатии, мой граф, искусству вести переговоры и беседы. Насилием еще ничего в мире не было решено.

Граф поглядел на него словно на сумасшедшего, но весьма быстро покрыл отразившуюся на лице не слишком-то лестную мысль нейтральным выражением вежливого внимания; его отмет не изменился ни на йоту.

- Ваше Высочество, должно быть, ошибается. Все, что в мировой истории было сделано, решено, решалось с помощью огня, меча и пороха. Дипломатия приходит на помощь, когда не хватает силы; тогда она дает время, но проблем не решает. Если бы мы могли спихнуть японцев в океан, Вашему Высочеству не пришлось бы ехать договариваться с ними.

...Только хватит уже об этом. Вы же прекрасно знаете, что я подобные мысли ни у кого терпеть не намерен. – Он обернулся, на момент прижал платок к губам, нашел взглядом полковника. – А завтра с утра буду председательствовать в суде, сейчас же: прочь его, в тюрьму.

У полковника кровь отхлынула от пухлого лица, он зашатался, как бы нащупь прогнулся, чтобы опереться о стол; напрасно, уже чужие руки давали ему опору, чужие руки отстегивали ему саблю, чужие руки силой вытаскивали из залы.

- Так как же!... Ваше Сиятельство! – стонал он. – Ведь я только! Только Вашему Сиятельству!...

- Прочь!

Отразившись от сердца, кровь ударила тому в голову. Распаленный, вишнево-сливовый на блестящей от пота роже, полковник собрал все силы, вырвался из десятка рук, помчался вокруг стола – кто-то подставил ногу, офицер рухнул на пол, оставляя на зеркальной глади пятно слюны, царапая ее орденами, скрежеща – но и тогда не остановился: побежал к генерал-губернатору на четвереньках.

...Схватил его под колени, приkleился к ним седой башкой.

- Так я же... пес верный! Что только Ваше Сиятельство скажет! Умоляю!

Граф Шульц-Зимний отпихнул его с отвращением.

- Ну... прочь уже!

Полковника выволокли, словно собаку.

Князь Блуцкий-Осея приглядывался ко всему происходящему сквозь маленькие стекла очков с холодным вниманием, словно к новому способу натирки полов.

- Что происходит? – вполголоса спросило у капитана Фретта.

- А вы как думаете, зачем меня Его Княжеское Высочество при себе держит?

Даже не обменялось взглядами, хватило тона голоса, тьмечь слилась с тьмечью.

- Потому что вы человек чести и посвятили себя службе, – буркнуло без тени иронии.

Капитан отвернулся воротник мундира.

- Про наши приключения в Гонконге слыхали? Меня из полка на эту дипломатическую миссию вырвали и к князю прикомандировали. Вот тут меч самурая и остановился.

Через какие-то из дверей справа в зал быстрым шагом вошел господин Урьяш, дальше расспросить капитана не успело. Франц Маркович, даже не поздоровавшись, запыхавшись, светлые волосы не причесаны, бросил на карты папку, затем начал выкладывать из нее документы, словно карты для пасьянса.

- Здесь вот свидетельство благонадежности, здесь паспорт, оформленный на три месяца, это вот бумаги на отца, вот тут – постановление о прекращении уголовных дел, здесь ваши полномочия по отношению к военным властям в иркутском генерал-губернаторстве, а это кредитное письмо в Первый Байкальский Банк. На все вещи, за которые заплатите казенными деньгами, составите отчет.

- Составлю.

- Хорошо. Подпишите тут. И вот тут. Отлично. С графом говорили?

- Нет.

- Пойдемте.

Граф стоял у окна, читая врученное ему только что письмо, вдыхая дым из тут же установленной курильницы. Господин Урьяш начал шептать ему на ухо; граф склонил голову, радужный свет метели блеснул на его лысине; так они шептались какое-то время, наконец Шульц-Зимний глянул над плечом Франца Марковича. Я-оно поклонилось.

- Может быть и так, – буркнул генерал-губернатор, – может и так. Что скажете?

- А о чем Ваше Сиятельство спросит? – стрельнуло, не отводя взгляда.

- Вот же, поляк бесстыдный, – усмехнулся граф.

- Его Сиятельство желает знать, как быстро вы сможете справиться со своим заданием, – сказал Урьяш.

- Договор был, что до конца января, и...

- Знаю, – отрубил граф. – Теперь я спрашиваю о вашей чистосердечной оценке. Как скоро. Только без дерзости.

Ну?!

В обрамлении снежной бури его неподвижный отьем и тьмечь в морщинках кожи стали еще более выразительными. Подумалось, что если бы сейчас сделать с него фотографию, то на ней не осталось бы ни единого серого оттенка, ни единого внутреннего признака, всего лишь чернильная дыра в окошке белизны. Какова правда о графе Шульце-Зимнем? А вот такая.

- Не могу сказать, – ответило. – Не раньше, чем через три недели. Я уже говорил Вашему Сиятельству, мне только нужно найти следопыта, который безопасно сошел бы на Дороги Мамонтов и...

- Три недели, – вздохнул губернатор; момент, и он уже потерял интерес. – А ведь еще нужно вернуться... *Mais bon*<sup>86</sup>. – Он возвратился к чтению письма.

Франц Маркович не был доволен ходом беседы. Сжав губы, он упаковывал свои бумаги в папку, раздраженно дергая ремешки.

Схватило его за руку.

- Договор был, что до конца января!

<sup>86</sup> Ладно (фр.)

- Пускай господин не боится. Его Сиятельство слово сдержит. Жаль только... Эх. Так вам нужны следопыты, так? Тогда, прошу. – Не оглядываясь, он направился к двери, чуть не столкнувшись на пороге с двумя офицерами, у которых на бровях и усах еще не растаял снег.

Спешно собрало документы, сунуло их под сюртук. Капитан Фретт с противоположной стороны стола поднял бокал в тосте. – В следующий раз выпьем с вашим отцом! – Вежливо кивнуло ему.

Господин Урьяш сбежал на четыре этажа вниз и свернул в сторону от прихожей перед внутренним двором. Здесь открывалось и закрывалось множество дверей, ведущих если не во двор, так в коридоры или переходы, к этому внутреннему двору ведущие – температура спустилась значительно ниже нуля, я-оно выдыхало тьмутные облачка и заглатывало ледяную слону; стены из перемороженного гранита жирно парили. Следовало бы вернуться за верхней, меховой одеждой, оставленной на первом этаже, вместе со Щекельниковым. Только блондинчик-гнилозуб, сам в одном только мундире, спешил на своих длинных ногах, словно его кнутом подгоняли; охранники без слова открывали двери. В одном лишь случае пришлось отступить к стене, когда отделение стрелков – закутанных в полковые шубы, с плотно обвязанными головами, словно процесия прокаженных паломников и с маршевыми ранцами за спинами – пробежало трусцой к конюшням и каретным помещениям Цитадели. Вновь отозвался инстинкт сына покоренного народа: приkleиться к камням, с безразличной миной пялиться в мертвую природу; может и не заметят, может – и не схватят, не бросят в подвал, поляка одинокого в самом сердце царской крепости – иррациональный инстинкт, но сколь же близкий правде сердца.

За каретной находились какие-то помещения для извозчиков, похоже, давно уже не используемые, сейчас возле ведер с горящим углем там расположились туземные охотники и шаманы. Причем, это не была единная группа, а две – поменьше и побольше, и сразу заметило, насколько сильная враждебность их разделяет, то есть, объединяет. Я-оно встало у первого угольного ведра, обогрело руки. Франц Маркович обратился к трем фигурам в толстых тулуках, что грызли вяленое сало или какой-то иной грязноватый жир; на что остальные, собравшиеся под противоположной стеной, насторожились и сделано отвернулись, натягивая поглубже грубые капюшоны, прячась под шкурами.

Урьяш тут же поднял одного из троицы и подошел вместе с ним к огню. Инородец явно хромал. Среди шкур и складок ткани видны были только темные глазки в затмеченных складках кожи и несколько пучков черных волос, связанных выгоревшими ленточками.

Он поклонился, правда, не открывая головы.

- Горбун ни? – прохрипел он (это, или нечто подобное).

Урьяш начал что-то ему объяснять на ломанном тунгусском.

- Сами, Хута Уу-нин, – пробормотал дикарь сквозь тряпки; огоньки иронии блеснули в угольно-черных радужках, или это только показалось – именно так пересчитало невозможный для пересчета знак из алгоритмы другой расы.

- Это Тигрий Этматов из Второго Чарабусского Рода, из нерчинского улуса, – представил его Франц Маркович. – Верхне-Амурская Золотопромышленная Компания нанимала охотников из его улуса, когда наконец-то полакомилась на тунгетит и зимназо и выслала своих геологов на запад. Теперь Чарабусами пользуемся мы.

- Шаман, – заявило я-оно.

- Ваш следопыт по Дорогам Мамонтов.

Задрожало от холода.

Тигрий выколдовал из-под тулупа небольшую баклажку, стряхнул на четыре стороны света по капельке для духов этой страны.

- Аракы умынаннны?

- Выпейте, Венедикт Филиппович, – посоветовал Урьяш. – Все эти зимние инородцы – пьяницы ужасные, до смерти упиваются, целыми семьями, заснут все, огонь в юрте погаснет, так и замерзают; но тут, не выпьешь с ними – не поверят.

Прижало баклажку к губам. Это был какой-то ужасный самогон с резким, травяным запахом. Скривилось, как следует. Тигрий захихикал. Отдав баклажку, склонился к шаману.

- По-русски говоришь? По рус-ски – понял?

- Ахыым сара луча тураннан очеч сара.

- Его братья немного говорят. Впрочем, там, подо Льдом, как-нибудь договоритесь. – Франц Маркович потер руки. – Короче, он вас поведет. Можете спрашивать у наших геологов, у Тигрия нюх имеется.

- Я не совсем то имел в виду, когда говорил о том, чтобы послать следопыта на Дороги Мамонтов... И почему тунгус?

- Вы же отправитесь на север, к Тунгуске, разве не так? Так это уже не земли наших бурятов. Хотите стрелять при первой же встрече на дороге? Для вас и так двойная выгода, тунгусы сейчас к полякам хорошо относятся; польские инженеры на тунгусках женились, опять же, охотничьи кооперативы...

- Но вы же сами говорили, что эти их религии... Что для бурят – люты упали из Верхнего Мира; а вот для тунгусов, тунгусы видят в них абаасов, злых духов преисподней – разве не так?

- В том-то и оно, – господин Урьяш приблизился конфиденциально и снизил голос, как будто Тигрий Этматов мог его понять, – мне нужно было найти тунгусов, как бы это сказать, склоняющихся к противоположному полюсу собственной веры.

- Значит, таких тунгусских сатанистов...?

Франц Маркович переступил с ноги на ногу, озабоченно глянул.

- А смотрите так, словно привидение увидели. – Он зыркнул на шамана, затем обратно. – Что, знакомы с Тигрием?

- Нет, нет. – Я-оно откашлялось, вкус сдобренного травами самогона вмерзал в язык. – Старинный сон, иллюзия... – Как-то нерешительно засмеялось. Нагретой ладонью стерло кровь со вскрытых котом старых ран, вырисованных листьями

железного дерева на щеке. – Это всего лишь прошлое приклеилось к нынешнему моменту: еще одно исполнившееся предсказание для малышей. Сон туман – один Бог не обман.

Сон, прошлое, белое небытие. Снег залеплял очки, втискивался в глаза – город, небо, сани, господин Щекельников и возница, все это стиралось из существования. Над Иркутском безумствовала настоящая пурга, ничего удивительного, что даже туземцы прятались в Ящике. Шум вихря заглушал все иные звуки – других звуков просто не существовало. И из красок – иных, кроме белой. Даже огни фонарей и ламп на упряжках с трудом пробивались – ни в коеи степени не цветом, но еще более интенсивной белизной. Бог перелистывал книгу мира назад, к началам еще до времен сотворения, к ее первым, чистым страницам. Размышляло, упаковавшись в глубокие меха: а если не удастся? если его никак не найдет? Ведь не удастся же. Не удастся.

Сойдя с Мармеладницы в Холодном Николаевске, вновь застегивая шубу под мелким навесом, инстинктивно стало нащупывать тяжесть Гроссмейстера за ремнем. Но ведь револьвер остался на Цветистой. Это тут же напомнило про образцы металла, обстрелянного Тыметной Бомбой – лежат там, вместе со вчерашней одеждой, если только слуги не забрали ее в стирку. Вернуться в Иркутск? Нужно проверить, ничего ли не поменялось в дежурствах; если сегодня у инженера Иерхайма ночная смена, возможно, с ним удастся поменяться. Хммм.

Вчерашнюю тропу от станции к Башне Пятого Часа ночью перегородил лют, нужно было обходить; господин Щекельников шел, задрав голову, из глубин зашнурованного капюшона высматривая переносимые по воздуху грузы. Потому-то он и не заметил жандармов, идущих гуськом от Дырявого Дворца. Столкнулся с первым, только потом отступил в бок. Жандармы тащили между собой какого-то несчастного со связанными руками. И было их восемь, целое отделение.

В Лаборатории, несмотря на ранее время, уже горели все источники света. Снег залепил мираже-стекольные панели; доктор Вольфке и его группа работали здесь словно в батискафе, погруженном в молочный океан. Печи громко шумели, пофыркивал самовар, женщина разносила ароматный кипяток; едва лишь я-оно переступило порог, все еще стряхивая с себя наледь, она уже поспешила с чашкой чаю.

- Спасибо. А скажите мне, где сегодня инженер Иерхайм...

- Господин Бенедикт! – раздался голос доктора Вольфке из-за металлических шкафов. – Что-то мы редко видимся!...

Я-оно сняло лишь шапку.

- Прошу прощения, пан доктор, но, хррр, уже предупреждал вчера, что по казенному делу обязан...

- А вотъ вам казенное дело! – фыркнул Вольфке, смягчая по-своему согласные и хлопнул на стол бумагой с печатями.

Отставило чашку, поднесло повестку к глазам. Это был вызов в иркутское отделение Министерства Зимы, выставленный на Бенедикта Филипповича Герославского, на сегодня, снабженный всеми правовыми заклинаниями, с угрозой штрафа и ареста включительно, подписанный уполномоченным комиссаром Иваном Драгутиновичем Шембухом.

- Пришли сюда, – рассказывал доктор Вольфке, вытирая платком румяное лицо, – вас искали, чуть обыск не устроили, вы себе представляете?

- Жандармы? Забрали кого-нибудь с собой?

- Этого нам только не хватало! – Вольфке сложил платок, дернул себя за усыки. – А что, думаете, еще за кем-то ходят?

- Нет, не знаю, нет.

- Это по уголовному делу?

- К сожалению, пан Мечислав, политика. – Спрятало повестку к бумагам Урьяша. – Я-то думал, хррр, будто бы уже все устроил, а тут на тебе – нечто подобное... - Хлопнуло шапкой об стол.

Доктор Вольфке склонился над столом, заваленным книгами, заметками и листами с расчетами.

- Если через Круппа чем-то помочь можно, – озабоченно произнес он, – вы не колебитесь, я с директором Грживачевским...

- Большое спасибо. Но, боюсь, тут беспокойства совершенно иного рода. Такие вещи даже над головой Круппа решаются.

- Начинается все со статьек в подпольных газетках, а заканчивается в холодном подвале, – по-настоящему обеспокоенный, вздохнул Вольфке. – Поначалу я и не надеялся, будто бы вы нам особо пригодитесь, но теперь же меня страх берет, что без вас мы снова утонем во всей этой немецкой бюрократии. Не так оно и просто, найти человека, который и природу научной работы понимает, сам с цифрами на ты, так еще и способен письменно, на языке фирмы и государства выражаться, опять же – земляка, порученного братьями, достойными наивысшего доверия.

- Так я же предупреждал, что только на какое-то время. Так или иначе, через пару недель должен буду попрощаться.

- Посреди зимы желаете за отцом к Последней Изотерме идти?

- Вы знаете...?

Вольфке заморгал, скрывая сочувствие и, ну да, не слишком благородную жалость.

- Все знают.

Тьмечь и тьмечь и тьмечь, мало очевидного можно замаскировать здесь между правдой и фальшью. Все знают. Я-оно покачало головой.

- Вы подумайте, – произнес доктор, вновь усаживаясь на стул. – Ведь еще ничего не предрешено. Какое иное будущее перед вами? Помните, о чем мы говорили в первый день? – Он глянул в окно и тут же отвернулся от всеохватываю-

щей белизны. – Мир завтрашнего дня принадлежит ледовым технологиям. Пока что все это может выглядеть несколько кустарно, но ведь мы оба прекрасно знаем, что нет на земле наилучшего места для молодых, горячих умов. Ну, может быть, в Томске, где и Мороз поменьше. Впрочем, вы сами понимаете: если вы сейчас серьезно свяжете судьбу с *Friedrich Krupp Frieteisen*, то сделаете самую умную вещь в жизни. А мне нужны люди, которым бы я мог здесь доверять. Подумайте хорошенько.

И самое паршивое, что он был прав, и что *я-оно* видело это правильно-достаточное будущее столь же четко. О подобных жизненных "случайностях", лишь с перспективы десятилетий, воспринимаемых как жизненную неизбежность, рассказывают на старости состоявшиеся люди: что привело к тому, что они выбрали аккурат такой путь в карьере, что подкинуло ему идею выгодного предприятия, как встретили своих сообщников, что внушило им направление исследований, которые привели к открытию, о котором будут помнить последующие поколения – всегда это некие "скачки в сторону" от первоначальной дороги, временные остановки на пути к цели, которые, по странному стечению обстоятельств, затягиваются на месяцы, годы, на целую жизнь; и о первоначальной цели уже и не помнишь. И *я-оно* видело это: работу в разрастающемся молохе Круппа, карьерный рост и повышения, и как верх над *le Mathématicien de l'Histoire*<sup>87</sup> берет *homme d'affaires*<sup>88</sup>; человек денежный, присутствие которого предчувствовало уже на встрече Клуба Сломанной Копейки, но это предчувствие быстро переходит в холодную единоправду, и такая жизнь с тех пор уже единственно возможна: *Herr Wekführer, Herr Direktor*<sup>89</sup>, совладелец концерна, а под конец – бородатый буржуй, в теле, в дорогом костюме, с моноклем в глазу, с котелком в руке, с головой, высоко поднятой над жестким накрахмаленным воротничком, именно так фотографируется он перед фронтоном собственного дома-дворца или на крыше поднятой в воздух иркутской виллы, патриарх сибирского рода: Бенедикт Герославский, кармический брат Густава Круппа фон Болен унд Гальбах.

Сделало глоток воздуха, и какая-то электрическая свежесть плеснула в легкие.

- Нет.

Вольфке разочарованно махнул рукой.

- Езжайте уже к ним.

- Вернусь, как только справлюсь с этим делом. – Надело мираже-очки. – Ага, кто сегодня в ночную в Мастерской? Пан Генрих?

- Да.

Вышло, посвистывая (пока кашель опять не перехватил горло).

Итак, назад в Иркутск, в Таможенную Палату. В Мармеладнице господин Щекельников посоветовал залепить лицо бинтом или каким-нибудь пластирем: после входа в жару домашних печей, рана, по-видимому, размерзается, и кровь стекает ручейком к подбородку. – Ну и что, не истеку же кровью. – Не следует идти с властями говорить, уже жертвой одевшись! – Не понял? – Если кого раз ударили, то всякий ударит; один раз выбили, становишь раком. – Стащив рукавицу, провело смоченным слюной пальцем по следам старых ран. Неужто, как? Чиновник, бестия хищная, почивает кровь и тут же вонзит в человека свои клыки параграфов?

Комиссар Шембух приветствовал в собственном кабинете совершенно по-шембуховски, то есть – рыком, от которого у секретаря-татарина слезки на глаза выступили, и бедняга тут же чмыхнул за двери.

- В измену! – и вправду рычал Иван Драгутинович, только-только отвернувшись от печи. – Против Господина Милостивейшего, так?! Так?! – баах, баах, лупил он кулаком в такт по широкой столешнице, так что чернильницы и стаканы для русек с карандашами подскакивали. – Вот, благодарность падали, вот, честь польская, воюющая, тьфу, сыночек-выпердок из говна отцовского!

- От фатера то моего отцепитесь!

- О! – Шембух разыграл нечеловеческое изумление. – Еще и лает, собака!

*Я-оно* переставило стул поближе к столу, уселось, закурило. Верхом ладони вытерло щеку. Второй рукой вытащило бумаги от Урьяша, нашло нужный документ и помахало им издалека комиссару.

- А не ваша власть уже, гасладин Шембух. Если хотите, подавайте апелляцию генерал-губернатору. Даже паспорт можете не возвращать. В следующий раз я сюда ни ногой. А если вновь пошлете ко мне на работу ваших хамов в мундирах, адвокат Кужменьев начнет посыпать формальные жалобы на вас лично, и тогда до конца жизни не очиститесь.

Шембух грохнулся на седалище. Он ослабил воротник, рванул один, другой, третий ящик, найдя, глотнул свои капли, отышался.

- Только вчера в салоны втиснулся, а сегодня уже связями своими пугает, – буркнул комиссар вполголоса, сверля убийственным взглядом. – Шульц...! Да Шульцпомнит о вас столько, сколько ему секретари в данный момент скажут. Кто вы такой для Шульца? Что вы там себе напридумывали? Да здесь политическая игра между самыми высшими фигурами.

- А я знаю.

- Знаете? Покажите-ка эти ваши бумаги!

*Я-оно* спрятало их под сюртук.

- Пришлите мне письмо, адвокат Кужменьев вам ответит.

- Да не заговаривайте мне зубы своим Кужменьевым; когда с вами покончим, никакой адвокат не захочет посещать вас в камере!

<sup>87</sup> математик Истории (фр.)

<sup>88</sup> деловой человек, бизнесмен (фр.)

<sup>89</sup> господин мастер, господин директор (нем.)

Поднялось с места.

- Только время на вас трачу. Раз уже проиграли стычку чиновническую, слейте желчь – можете попробовать на своем секретаре. Прощайте.

- Сесть! – раздался рык.

Уселось.

- Чтобы вообще вернуться в Европу живым и не совсем поседевшим, - сладко усмехнулся комиссар, растягивая при том свою бульдожью морду в чужой ей гримасе, - сделаете так. Сложите у нас все полученные вами документы с губернаторской печатью. В присутствии полковника Гейста и советника фон Эка дадите полнейшие письменные признания обо всех ваших преступныхговорах с изменником Шульцем, расскажете о вашей роли в его направленном против царя плане, то есть, каким образом вы согласились договориться с лютами через Отца Мороза о предоставлении ему Сибирского Царства. Понял?

Я-оно пялилось на Шембуха в немом изумлении.

- А если нет, - усмехнулся тот, - а если нет, то, раз-два, и сами в тюрьме окажетесь под смертными обвинениями, и никакой Шульц-Зимний вам не поможет.

Поднесло папирус ко рту.

- Это что, шантаж?

- А вам как кажется?

- Это – шантаж! – подтвердил с нескрываемой радостью, а Его Благородие Иван Драгутинович Шембух заморгал в неожиданном конфузе, глядя как на сумасшедшего, даже его отметил несколько побледнев.

Шантаж! Какое облегчение! Да почти захотело схватить комиссара за его обвисшие брыли и расцеловать из чистой благодарности – только лишь за то, что он открывает такие возможности. Шантаж! Шантаж в Краю Льда, по-ледовому чистый и ясный: смертельная угроза за очевидную ложь. Боже ж ты мой, истинный шантаж, словно из драмы, словно из женского романчика.

В последний раз пыхнуло табачным дымом, после чего щелкнуло окурок в сторону Шембуха.

- Значит, тюрьма мне. Да Бог с вами, Иван Драгутинович.

И даже дверью не хлопнуло, уходя.

- Хорошо все пошло? – допытывался господин Щекельников.

- Хммм?

- Что такие веселые?

- Пообещал мне смертный приговор. Самое малое, пожизненное заключение.

Чингиз остановился на мраморной лестничной клетке между этажами. Опершись квадратной спиной о стенку возле парящей скульптуры, он начал хохотать, хватаясь за живот.

- Чего? – буркнуло я-оно, все еще оскаленное, кончиком языка подхватив с усов капельку крови. – Ну, чего?

- Не-не-ничего, господин Ге, - просопел тот. – Тот револьвер с вами?

- Сейчас заберу. Пошли, а то день уже кончается.

Поехало на Цветистую за Гроссмейстером и образцами металлов. Затем, опять на Мармеладнице – в Холодный Николаевск, в Лабораторию Круппа. *Mijnheera* Иерхейма за столом еще не застало; зимназовые механизмы и тунгтиловые электросхемы, кружева иней-цинновых проводов, тоньше солнечного луча, и мираже-стекольные лампы накаливания – все это валялось там в обычном беспорядке; на прошлой неделе состоялась очередная эвакуация из Производства (лют почти полностью вморозился в цех), и энтропия в Башне еще не снизилась до обычного состояния. Калякало за своим столиком казенные отчеты, возле белого, заснеженного окна, под керосиновой лампой, под мерцающими электрическими лампочками, под звуки фыркающего самовара, жестяного грохота какой-то новой аппаратуры, как раз испытываемой доктором Вольфке и под обязательный свист ветра; калякало пером с не до конца приятным сознанием того, что это ведь один из последних подобных дней, что интерлюдия неумолимо заканчивается. Иркутск, Николаевск, Круп – это был определенный этап в жизни, наверняка, нужный. Но вот теперь пришло время отсюда отмерзать.

Инженер Иерхейм появился только после трех, под мышкой он тащил металлический ящик; какое-то время раскручивался, стряхивал снег и грелся у печи. Я-оно вынуло из секретного местечка бутылочку рома, капнуло в чай. Голландец поблагодарил. Он едва удерживал чашку в ладони, в которой не хватало нескольких пальцев – сейчас застывшей, непослушной. Ящик он оставил за порогом.

- А то еще растает. Нужно немедленно разложить по резервуарам.

- И что у вас там?

- Лёд. – Иерхейм выпил чай; подлило ему в чашку чистого рома. – Dank u<sup>90</sup>. Я тут подумал, что можно проверить то, что вы говорили о вторичном гидрологическом обороте тунгтиловых соединений.

- Вы пораспрашивали о тех людях?

- Это тоже. Уфффф. Сейчас. Помогите мне.

Перенесло ящик между шкафами и стеллажами к рабочему месту инженера. Тот сбросил с себя шубу и малахай, распутал шарфы, после чего решительным жестом расчистил часть столешницы. Затем взял на время у Бусичкина дюжину глубоких подносов. Теперь он выкладывал на них из ящика куски льда, сосульки и снежную мерзлоту фирна. Один фрагмент был совершенно черным. Я-оно провело пальцем по неровной, похожей на щебень массе.

<sup>90</sup> Благодарю (голл.)

- Это от сажи, кххррр, из дымовых труб. Это я влез на крышу своего дома. Надо договориться с бригадой ледорубов, чтобы отломили кусок и здесь.

Очевидность.

- Всю их растопите, испарите воду, осадок сожжете в спектрографе, замерите химические пропорции и содержание тунгестита...

- Погодите, чтобы я только не ошибся, откуда какой лед родом... - У него это было и записано, только вот листок размок, голландец кривился и морщил нос, пытаясь прочитать описания форм льда, и некрасивая физиономия в этих гримасах принимала черты благородной правильности: содержание не скрывается в случайной уродливости тела, всяческая суть порождается духом, что командует телом.

- Так что же вы узнали пан Генрих?

- Хммм? Ага, так вот, тот самый Калоусек, о котором вы меня спрашивали... погодите, это я тоже записал – Хило Калоусек, работал у старика Горчиньского до самого конца, это сходится, господин Филипп был у него в подчинении, между ними была какая-то публичная ссора, вот только подробностей я не выяснил, ваш отец, как сами знаете, очень часто вызывал споры, ссоры и даже кулачные расправы, потому люди помнят событие не само по себе, но отражения предыдущих событий, точно так же, как во вкусе тысячной папиросы ты чувствуешь уже только отдаленное эхо предыдущих табачных удовольствий; и, похоже, для господина Филиппа это тоже было вредной привычкой. Поставьте-ка вот это на шкафах. И еще эти два. – Иерхейм отдался и, вспомнив о вкусе табака, достал трубку и кисет. – Ага, и после закрытия "Руд Горчиньского" Калоусек и вправду не нашел работы у Круппа...

- Я ведь говорил, что проверял у нас в бумагах.

- ...но из Иркутска не выехал. Вчера в клубе я встретил господина Макарчука, что младшим совладельцем в юридической канцелярии, и тут я вспомнил о завещаниях...

- Да не начинайте же вы опять, перед вами еще долгая жизнь.

Иерхейм закурил, выдул дым, отмахнулся от лица.

- Что там передо мной, дело другое. Во всяком случае, Макарчук говорит, что выполняет завещание одного живого покойника, и что наверняка охранка вновь будет им клиентов пугать. Какого такого "живого покойника", допытываюсь, на что Макарчук говорит что-то про геолога, которого разыскивает полиция, на что я тут же думаю о вашем отце и сразу же начинаю расспрашивать Макарчука.

- Так говорите же.

*Mijnheer* Иерхейм усмехнулся в рыжую свою щетину.

- Оказывается, Хило Калоусек оставил здесь семью. Кажется, сестру и племянницу. Макарчук, в качестве исполнителя завещания Калоусека, прослеживает за рентой, выплачиваемой им страховой компанией. Дело в том, что компания получает анонимки, а в последнее время, неофициально, еще и доносы из Третьего Отделения, будто бы Калоусек свою смерть в северной экспедиции симулировал, чтобы сбежать от следствия, и вот тут слушайте, по делу "польских геологов, разыскиемых посредством публикаций о розыске за преступления против государства".

Я-оно схватилось с места.

- Имена он называл?

Для большего эффекта *mijnheer* Иерхейм вначале выпустил носом дым.

- Александр Иванович Черский.

Я-оно рассмеялось.

- Таки моя правота! Ключ к Дорогам Мамонтов лежит в секретной гидрографии Байкала! То, что вытекает сюда, куда-то на поверхность, из тунгитовых вод и из второго атмосферного обращения, возможно, уже химически измененное, возможно, уже биологически связанное – они узнали тайну – Богданович, Черский, мой отец, наверняка и Кроули, и Калоусек – рецепт, шаманский метод, или только картографию – географические координаты Черного Оазиса! Думаете, нечто подобное и вправду существует? – Схватило голландца за руку. – Вы должны меня познакомить, с этой его сестрой. У нее наверняка имеется какой-то способ связаться с Калоусеком! Тот же приведет меня к Черскому, и, раз я буду располагать картами Кароля Богдановича и картами от губернатора...

- Не так сильно! – смеялся Иерхейм. – Я же никуда не убегаю!

- А вот у меня времени все меньше. Пан Генрих, через неделю-две мне придется выезжать из Иркутска. Шульц дает оборудование, деньги, людей – а теперь еще появляется и реальный шанс, нечто конкретное, что можно будет взять и...

- Так вы, все-таки, уезжаете.

Отпустило его.

- Да.

Иерхейм покачал головой, левой рукой машинально дергая туда-сюда стрелку прибора.

- Я стараюсь вам помочь, господин Бенедикт, – сказал он, отведя взгляд, – а ведь...

- Думаете о том, что я скажу ему о вас.

- Нет. То есть... не это самое главное. – Какое-то время он задумчиво посасывал трубку. Ответ делался плотнее. – Как тот князь выторговал мир с японцами, так и вы должны выторговать мир с лютами, правда? Территориальный договор: отступит Лед или нет. Но, до того, как вы выедете... Понимаете, ведь если Оттепель и вправду, то я...

Очевидность.

Я-оно огляделось по заваленному четверть- и полупродуктами ледовых технологий столу инженера Иерхейма, по разобранным механизмам и покрывающим стены и шкафы эскизам и сечениям различных устройств, таблицам физико-химических свойств, фотографиям гнезд лютов и сопликовых, микрофотографиям зимназовых холодов. Вытащило из-под

электрического аккумулятора покрытый пятнами листок бумаги, послюнило карандаш. Инженер присматривался через плечо к рисуемой схеме.

- Динамо-машина, - заявил он.

- Только вот сюда вставляем тунгестит. Внимательно проследите за тем, как делается обмотка.

Тот заморгал.

- По-понимаю.

Вручило голландцу листок.

- Никому этого не показывайте. Соберите такой генератор, но только для личного пользования. Заряжайтесь морозом из этой динамо-машины утром и вечером. Пределы узнаете сами, вы утратите чувствительность.

- А в Лете это действует?

- Да.

Иерхем спрятал листок в карман.

- Не беспокойтесь, не объявлю этого, я же ведь знаю, что вы с самого начала размышили над изобретениями...

- Собственно говоря... - Но уже удержалось, чтобы отрицать – и сам этот отказ от исправления фальше-правды почувствовало словно излияние кислотной изжоги, возвращение самого жесточайшего похмелья. Быстро сделало глубокий вздох. – Пан Генрих, у меня к вам вот какая просьба – сегодня ведь вы в собачью смену, так я хотел с вами поменяться, скажем, за счет следующей ночки. Вы не согласитесь?

Тот разложил руки.

- С превеликим удовольствием! В таком случае, еще сегодня вечером попробую поговорить с Макарчуком.

Филимон Романович Зейцов появился как раз с группой крышелазов. Уже длительное время я-оно видело его исключительно трезвым. (В голове ворочалась мысль: это следует принимать за добрый или за недобрый знак?). Тот обрадовался, увидав, что я-оно заменяет сегодня голландца.

В кожаной сумке, вместе с краюхой, толсто смазанной смальцем с луком, сейчас он приносил на ночную смену уже не бутылку "Госпожи Поклевской", а толстенные томища. Стыдливо показал, как только последний ассистент доктора Вольфке покинул седьмой этаж: антология новой метафизической поэзии, какие-то религиозные произведения, а вдобавок "О похвальном труде" христианских, настроенных против Струве марксистов. Даже страшно подумать, какой новый Зейцов после смерти Ачухова вырастет на этих духовных удобрениях.

- Только бы вы вновь не взялись за агитацию, - остерегло его. – Аккурат, самое неподходящее время.

- Слышал я, слышал: запирают, выпускают, снова под замок садят. Эх, Зима...

Буран гремел и стонал за окнами Башни будто сотня треснувших иерихонских труб, под ногами чувствовало вибрацию, идущую сквозь всю зимназовую конструкцию, самое начало резонанса. Тесла наверняка сразу бы посчитал частоты – подумало – посчитал и карманным аппаратиком разбил на кусочки и Башню, и Дырявый Дворец, и всю воздушную рельсовую сеть Холодного Николаевска. Прижало лоб к оконному стеклу, заслоняя глаза от керосиново-электрического блеска – но даже огни других Башен сложно увидеть в этой арктической пурге, в зимних сумерках. Открыло часы. Пару раз нужно пройтись в Цех у Дворца, а то и три раза, если Вольфке с утра припоздает, идя сквозь заносы. Бух-бу-бу-бух, стучали над головой крыше ледолазы-ледобои.

Подождало, пока те не спустятся, и вынуло сумку с образцами металлов, обработанных Лучом Смерти.

- Слушайте, Зейцов, эти книги наверняка скучноватые, не случалось вам здесь иногда заснуть?

- Нет, нет, это совершенно...

- Что? Часика на четыре, да, до полуночи? Думаю, что успею.

Зейцов почесал спутанную бороду.

- Но, если меня спросят, я врать не стану.

- Если спросят, то тут и говорить нечего. Вот только не отвечайте, когда не спрашивают, ведь это для меня сделать вы можете, а?

Это было жестоко – а как еще мог он сорваться с крючка благодарности, благодарности хотя бы за эту работу, не говоря уже о прощеннем покушении на жизнь в Транссибирском Экспрессе? Зейцов был словно червяк на крючке.

Тот опустил глаза, но и это не помогло, с крючка не освободился; прижал к худой груди открытую книжку, покачал головой.

- Но вы же ничего не украдете? Что вы вообще задумали?

- Сфотографирую несколько железок в рентгеновских лучах. – Загрохотало сумкой. – Аппарат в другом углу стоит, даже не услышите.

Правда, не подумало про экспонированные фотопластинки, что с ними, а точнее – с их отсутствием, как замаскировать недостачу. Правда, в этом балагане после скорого переезда из Цеха имеет право потеряться даже пара десятков пластинок. Опять же, можно еще больше затруднить доктору Вольфке подсчеты, перенеся сюда все фотопластинки из холдингов... Направляясь для калибровки установленных там для ледовых опытов машин, забрало пук ключей от всех помещений.

Была уже самая средина ночи в совершенно зимней ауре, пурга валила из темноты в темноту, вихрь сек всякий неосторожно открытый фрагмент кожи; шло практически на ощупь, ступая вдоль досок, уложенных в мерзлоте, по азимуту Дырявого Дворца и Второй холдинги Крупса; сонный господин Щекельников шел шаг в шаг. Мираже-стекольные очки были совершеннейшей необходимостью еще и для защиты глаз от ветра-бритвы. Снежинки и целые замороженные комья

пролетали будто пятнышки на подсвеченной китайской бумаге театра теней – лишь глянув над очками, отметило, что же это за яркие отблески в чернилах ночи: не сам снег, но его свечение. Неужто над Иркутском вновь встало *Черное Сияние*?

Холодницы работали в три смены, круглые сутки, вот и сейчас в Холодном Николаевске работали тысячи людей, но точно так же можно было маршировать и через снежные поля Антарктиды: ни единой живой души в радиусе взора, значит – во всем мире, доступном чувствам, то есть, на расстоянии вытянутой руки. А даже если бы кто-то на тропинке и встретился – человекообразное чучело, в шкуры и меха от ног до головы закутанное, снегом облепленное, неспособное слова даже самого тихого из себя извлечь – нет, нет здесь людей.

Лют в прилегающем к колоднице помещении мерз в форме развернутого в сторону земли языка, что научилось распознавать как достаточно верное предсказание (подтверждаемое и статистикой) схождения ледовика под уровень почвы. Пока же что он висел на сотне черных струн, примороженных к потолку и стене, сквозь которую он все еще перемораживал свою подобную медузу тушу. Зажгло прожекторы у входа, снопы электрического света разлили пятна жидкой ртути на спине и ногах-сталигматах морозника. Из-за него, из дыры доходил обычный шум работающей колодницы и соответствующих машин. Дышало в рукавицу в этом рабочем ритме, выбирая из связки ключ к мастерской. Что заняло, похоже, минуту и оказалось совершенно ненужным, поскольку двери вовсе и не были закрытыми.

Снова кто-то забыл, подумало, направляясь трусцой к печи (выполняя приказ натопить вечером). И в этот самый миг господин Щекельников свистнул из рукава ножом и свалился сугробом в угол за печкой.

Прозвучал визг зарезаемого поросенка, подскочило, чтобы лампу зажечь, зажгло... Господин Щекельников предплечьем пригвоздил к стенке синего мужика в рваной рубахе, второй рукой готовясь пробить его своим штыком четверть-аршинной длины – у мужика глаза уже из орбит наверх полезли, все еще обращенные на нож и на квадратную башку Щекельникова под капюшоном и папахой; так вот получилось это величественное косоглазие, достойное кисти Эль Греко.

- Отпустите его, я этого человека знаю, это, кххрр, один из наших зимовников.
- А если по знакомству вас прирежет, то меньшая болячка? Чего он тут прятался!?
- Отпустите его!

И правда, то был рабочий из дневной смены, видело его в бригаде того седобородого старца, который в могильной яме на Иерусалимском Холме живьем похоронить меня желал. Мужик тоже лицо узнал, как только развернуло шарфы. Он тут же начал стонать что-то нескладное про великие несчастья, судьбине тяжкой и небесной каре, так что понять его никак было невозможно – ну совершенно, как будто бы тот подглядел обычай польского крестьянства и театрально подражал им; но, видать, мужики повсюду одинаковые. Чингизу снова пришлось нож ему под нос подсунуть, чтобы мартыновец духом собрался и, слово за словом, хоть что-то разумное сказал.

А идея у него была такая, чтобы Сын Мороза как можно скорее из Николаевска и Иркутска бежал, поскольку Казенные Люди за ним ходят и про него расспрашивают; сам мартыновец то же самое как раз делать намеревается, как только рассветет, пробраться к линии Трансиба и бежать куда-нибудь в Сибирь под новым именем. Но что его так напугало? (Если не считать чингизова ножа сейчас). Дело в том, что на вечерней поверке прибыли жандармы громадной стаей и давай выпытывать про дела мартыновские, про Отца Мороза, про Сына Мороза, про какие-то измененные политические заговоры – о которых мужик этот малейшего понятия не имел – и когда старик-бригадир отказался признаваться, жестоко его побили; когда же при виде такого бесчинства всех других зимовников гнев охватил, и бросились они с кулаками на жандармов, те их так палками просветили, что один из зимовников на месте Богу душу отдал, а двух в бальницу везти нужно было. Неслышенные дела! – нервничал мужик. Даже когда пару недель назад их в тюрьму взяли, так ведь и не убивали на месте. Ой, гнев смертельный в господских сердцах на мартыновцев, и на Сына Мороза, видимо, тоже – так что пусть бежит, бежит, бежит!

- Господин комиссар Шембух словечко шепнул полковнику Гейсту, - буркнуло брюзгливо в бороду.
- Но Щекельников, похоже, обеспокоился. Прогнав зимовника пинками, он, в задумчивости, долго чистил нож о рукав.
- Могучих ты себе врагов наделал, господин Ге.
- Что же, таково и было намерение. Но у меня еще более могучий союзник имеется. Завтра скажу словечко кому следует.

Чингиз продолжал качать головой.

- Но ведь они знали, что вы о том узнаете.
- В том-то и дело: напугать меня хотели.
- Но почему не пришли на Цветистую?
- Потому что тогда я бы их по судам затаскал, кххрр, а тут могут бедняг дергать, сколько пожелают.

Щекельников спрятал нож.

- Приговор вам грозит: повешение, господин Ге.
- А, пустые слова. Вы всегда самое худшее...
- Будешь Щекельникова слушать, внуков дождешься.

Похоже, что у Зейцова были в Башне припрятаны запасы высокоградусного питья, потому что, во второй раз вернувшись из Цеха, застало его упившимся в дымину, уткнувшимся лицом в книжку с трансцендентными стихами, распространявшим спиртную ауру. Хитрая зараза, перед тем, как водочную колыбельную себе пропел, бутылку он спрятал. В течение всего пути Мармеладницей и санями через Иркутск, настолько пургой забеленного, что даже солнца восходящего не было видно, я-оно тряслось от холода и чуть ли зубами не стучало, мечтая о стаканчике рома или сливовицы.

Только Господь Бог спиртного поскупился. Вбежало на второй этаж, стряхнуло на пороге снег, еще в шубе и шапке, с сумкой на плече, а тут уже панна Марта зовет и ведет из кухни Леокадию Гвужджь. – Пан Бенедикт, гостья к вам. – И что было делать, пригласило в салон, служанка принесла кофе и свежеиспеченного хлеба с медом.

- Мхммм, вы извините, – бормотало с полным ртом, набросившись на этот перед-завтрак, – я тут едва на ногах держусь после ночи...

- Охранка у меня была, – бросила пани Гвужджь, дождавшись ухода служанки.

Вздохнуло сочувственно.

- Знаю, знаю, пани Леокадия, я наступил тут нескольким особам на мозоль, оно пройдет, но еще пару дней...

Та стукнула раскрытой ладонью по столешнице, а ладони у нее были что у рабочего с холодницы, вся посуда подскочила, упала крышечка с сахарницы, зазвенела керосиновая лампа.

- Пан Бенедикт! Я не предупреждать вас пришла! Вы и так сумасшедший, притом, страшно упрямый в своих сумасбродствах, чем мало в чем от отца своего отличающийся, вижу это теперь; но я хочу, чтобы вы их от меня совсем отвели! Они же семью мою пугают! Людей! А вчера еще хуже – пришли к Раппопорту, начальство терроризировали – и я работу потеряла!

Запило теплый хлеб горячим кофе, волны благословенного тепла расходились изнутри организма, ведя за собой леность и естественную сонливость, сползло по стулу с миной, не слишком свидетельствующей об уме.

- Так что я могу – извиниться, ну, извиняюсь – так или иначе, все равно, вскоре уезжаю, так что оно само...

Женщина склонилась через стол.

- Да что вы им наговорили! Ведь те, что с охранкой ходят...

- Мхммм?

- Бумаги мне показали! – Гвужджь сжала кулаки. – Выкапывать их хотят.

- Не понял.

- Эмильку, сестру вашу! – прошипела та. – Могилу хотят раскопать, гробик достать, вскрыть... Только через мой труп! – Она снова стукнула кулаком по столу.

Я-оно прорезвело.

- Погодите... экгумировать Эмильку – погодите! – они так вам говорили? ... Так ведь... как же я не подумал! – кровь от крови, кость от кости Батюшки Мороза – и кто-то из Братства Борьбы с Апокалипсисом должен был проговориться – кому: Шембух? Победоносцеву? Пани Леокадию! – схватило ее за этот сжатый кулак. – Вспомните, прошу! Они как-то представлялись? Говорили, чья это воля? Чьей фамилией грозили? Ну да... ну... естественно! Но дитя малое, младенец – могло ли? – не могло – какая там структурная постоянная у подобного абааса...?

Пани Гвужджь глянула с ужасом, и на какой-то момент появилось впечатление, будто сейчас она взорвется в ничем не сдерживаемом гневе, даже руки отвело, от стола отодвинулось – раскрошит сервис, разобьет лампу, мебель перебьет – только момент прошел, и весь пар из пани Леокадии вышел всего лишь в виде глухого смешка.

Женщина разочарованно махнула рукой.

- Люди не для жизни...

- Ну, я крайне перед вами...

Вошел Велицкий. Женщина поднялась, присела в книксене, тот поцеловал поданную руку, начались вежливые, светские разговорники; отключило уши. Так кто же здесь воспользовался охранкой? (Вечером нужно будет заехать к Модесту Павловичу, попросить совета). У кого здесь имеется такая власть и амбиции, направленные именно в этом направлении? Шембух? Ясно, что дело связывается с шантажом комиссара Министерства Зимы, только ведь Шембух – фигура ничтожная; он может договориться с полковником Гейстом пообещать в "Аркадии", но своим словом охранку на ноги не поставит. Кто же тогда? У кого здесь имеется столько смелости, чтобы противостоять генерал-губернатору? Только Победоносцев. Я-оно скривилось, ошибка в уравнениях, снова что-то здесь не сходится. Победоносцев после той встречи в башне Сибирхожето, скорее, окружил бы идеолога Державы Льда собственной опекой, а не...

- Пан Бенедикт?

- Да, да.

Попрощалось с пани Гвужджь. Пан Войслав еще задержался в прихожей, завязывая на шее белый фуляр. Из глубин квартиры доносились сонные детские голоса, читавшие утренние молитвы, в кухне на низу ритмично стучал пестик; рассвет наступил уже час назад, только залепленные снегом окна с таким же успехом могли бы быть закрыты ставнями, повсюду горели лампы; дедок-угольщик ходил от печи к печи, гремя ведром и кочергой. В конце концов, пан Войслав засунул фуляр в жилетку, повернул бриллиант на пальце, задумчиво похлопал себя по глобусу брюха.

- У вас не найдется для меня сегодня времени? После работы. Хммм? Нужно будет сесть и оговорить разные вещи.

- Что, например?

- Страшно мне неприятно, дорогой мой, вы даже и не представляете, насколько сильно... но, видимо, придется просить найти себе какой-то собственный угол. Понятное дело, всегда с радостью примем в гости! Со всем сердцем! Но...

- Вас, случаем, полиция по моему делу не посетила?

- Что? Нет! Видите ли, пан Бенедикт, одно дело помочь земляку, даже в самой страшной уголовной беде, и другое дело – принимать у себя делового человека с теми или иными политическими взглядами. Ведь все знают, что вы у меня живете.

Пана Войслава я-оно понимало превосходно. Его замешательство было самым откровенным, его стыд был откровенным, но откровенной была и решительность просьбы. Таким вот был человеком, Войслав Велицкий, что даже разоряя

конкурента до последнего, подписывая последний, убийственный контракт, он мог меланхолично вздыхать и про здоровье обанкротившегося спросить озабоченно.

- Во всяком случае, вы же меня серьезно за ледняка не принимаете.

- Ледняка? – засмеялся тот. – Пан Бенедикт редко в зеркало на себя глядит! Совершенно в иных масштабах вас здесь в городе видят.

- И как же? Ну-ка, скажите! Я же себя изнутри никак не осмотрю.

Пан Войслав поднял брови.

- А то, что пан у нас абластник, и заговоры устраивает против священной императорской особы.

- Чего?!

Тот смеялся еще громче, развеселившись на все сто.

- А что? Неправда? – Он вынул платок, вытер слезы, трубно высморкался. – Это же как быстро после губернаторского бала дела меняются! Чуть ли не малая Оттепель в воздухе. (Боже нас всех упаси!) В Харбине цены на зимназо и тунгетит на тридцать процентов вверх пошли. На тридцать процентов! Быть может, пан и об этом кое-что знает, гы? – Велицкий приятельски хлопнул по плечу, подмигнул. – Это, случаем, не пана делишки? – И он рассмеялся в третий раз.

Только правда была такой – я-оно это четко видело – что пан Войслав Велицкий эти слова за шутку совсем даже и не считает.

## О планах великих, то есть, о власти человека над прошлым и будущим

Никола Тесла поправил снежно-белые манжеты, натянул перчатки поплотнее, с таинственной миной оглянулся через правое плечо, через левое плечо, после чего жестом престидижитатора извлек из фрачного кармана черный камешек и положил его на столе. Это была тунгетитовый револьверный патрон. Взял его двумя пальцами. П.Р.М. 48. Тесла исполнил следующий жест – второй патрон стукнул по лабораторному столу. П.Р.М. 41.

- А-га! – Довольный собой, он набежал тьмечью на лице. – Поздравляю с днем рождения. – Серб подмигнул. – Я тут попросил Степана хорошенъко.

- Я...

- Разве нет?

- Да и вправду. Откуда вы знаете?

- Кристина мне сказала.

Откашлялось.

- Ну, действительно...

- И сколько же это вам стукнуло?

Посчитало про себя, отнимая одну дату от другой, как всегда, изумившись простому результату.

- Двадцать четыре.

- А, *un Enfant du Siècle*<sup>91</sup>! – усмехнулся Тесла.

Стиснуло патроны в ладони.

- Но что вас навело на такую мысль...

- Да как же, вы ведь сами просили о них.

- Просил?

- Позавчера ночью – не помните? Это уже когда мы поломали вешалки. Будто бы вам нужно – как же? – ага, "на всякий случай". Но я слышал страх! – Тесла поднял белый палец. – Я слышал страх!

Он говорил правду. Ничего подобного я-оно не помнило, ведь тогда Никола быстро заснул с головой на тунгетитовом зеркале, как же могло его тогда еще о чем-то просить? Но сейчас он говорил правду.

Так, но ведь тогда непрерывно бил Молот Тьмечи, разбивая на клочки всяческое прошедшее мгновение, еже до того, как то хорошенъко замерзло. Выходит – я-оно просило Николу Теслу дать патроны к Гроссмейстеру – правда или фальшивь?

- *Merci, merci beaucoup, mais*<sup>92</sup>... хмм, думаете, что мне они понадобятся?

- Вы же не избавились от револьвера.

- Нет. – Быстро глянув на двери (мастерская была пустая, все ожидали генерал-губернатора в главном вестибюле, под глобусом и фреской с летним пейзажем), быстро вынуло из-за пояса сверток и извлекло оружие. Гроссмейстер отбрасывал матовые радуги. Разломило его и подуло в пустые гнезда барабана. – Те агенты охранки, которым вы дали ледовое оружие... - Вставил патроны в цветочные бутоны. – На людей, особенно, в Экспрессе, он же ведь не был особенно пригодным. Вы что, и вправду опасались того, будто бы люты сами предпримут какие-то защитные действия против арсенала Лета?

- А вы так считаете, будто бы они и не способны мыслить или обороняться?

- Не будем шутки шутить. Ведь не для того же вы заказали эти револьверы.

- Потому что это была экспериментальная серия, еще до насосов Котарбиньского, даже перед идеей тунгетитора.

И то, что при том вышло оружие против людей, более мощное, чем обычное...

<sup>91</sup> Дитя века, ровесник века (фр.)

<sup>92</sup> Спасибо, большое спасибо, ну... (фр.)

- Тунгетитовая пуля бьет в лед - и что? Еще больше льда. Почему же, аккурат, против лютов...

- И все же, одного вы подстрелили.

Кончиком пальца коснулось вставленного в револьвер патрона.

- Доктор Вольфке пока что этого не исследовал.

- Чего?

- Поведения высокоэнергетического тунгетита в жидким гелием, в крови лютов. Точно так же, как существуют зимнозовые холода с полной противотепловой симметрией – вот здесь, замок, барабан, ствол – так и соединения тунгетита... Я прав? Ниже нуля по Кельвину... Быть может, именно таков был ваш план уничтожения Дорог Мамонтов?

Снова сощелкнуло Гроссмейстера в единое целое. Инстинктивно подняло его на высоту глаз, глянуло вдоль змеиного дула. Рог указывал в самый центр таблицы геометрических свойств льда.

- Кстати, дорогой доктор, вы, наконец, измерили эти структурные постоянные? А то я бы и забыл.

Тесла забурчал что-то под нос на иностранном языке.

- *Pardon?*

- Известно, что люди различаются! – заворчал он. – Если измерить электрическое сопротивление тела одного и другого человека, то с относительно чувствительной аппаратурой всегда получишь разные результаты. А вот характер? Как измерить у человека характер?

- Но вы же понимаете, что я должен иметь эти данные до того, как отправлюсь за отцом. – Спрятало Гроссмейстера. – Проеду по льду тысячи верст с насосом Котарбинского, а на месте окажется, что отец быстрее накапливает в себе тьмечь, чем насос успевает откачивать – и что тогда? Что самое паршивое, если правдой является то, что абаасы там могут расти и дозревать, сходя для этого, к примеру, ребенком на Дороги Мамонтов, тогда и постоянная теслэлектрической емкости от характера...

- Насос! – схватился с места Тесла.

Очевидность прошлась по тьмечи невидимой молнией.

- Он у вас имеется?

- Вчера...

- Где?

- А пожалуйста.

Он вытянул из под стола в своем углу под черными досками деревянный ящик, заполненный сверху всяkim электрическим хламом, проводами, лампами, перегоревшими катушками, отодвинул все в сторону, показывая металлический тулуп керосиновой печки.

- Внутри?

- Под баком.

- Кабеля...

- На катушках.

- Как только разогреется...

- Я пробовал.

- Ах! Гениально! Никто и не заметит, температура в плюсе.

- И не рукояткой, а...

- Паром.

- Или же из аккумулятора тьмечи. Глядите.

Топот множества ног известил о прибытии важных посетителей. Тесла пинком задвинул ящик под стол, поднялся во всю высоту, вновь поправил манжеты. Вернулась мысль, что, может быть, было бы лучше незаметно выскользнуть и не афишировать перед графом Шульцем-Зимним знакомство с доктором Теслой, который, что бы там граф официально не утверждал, остается для него занозой; не колоть его еще и этим в глаза но, прежде чем успело подействовать по данной мысли, двери открылись и вступил инженер Яго, мрачный, словно градовая туча, за ним – пожилой охранник Степан и цепкая кучка сотрудников Обсерватории, чиновников, казаков и инородцев в своих грязных шкурах, в центре же всей этой группы шествовал Франц Маркович Урьяш, вовсе даже не в парадном мундире.

- Дела государственной важности, – шепнул Саша Павлич доктору Тесле. – Граф занят.

Серб начал расстегивать фрак.

- Я тоже занят! – гневно рявкнул он.

Комиссар Урьяш заметил серба над седой головой разговорившегося директора Обсерватории.

- А, наш чародей! – воскликнул он и вырвался из нахальной свиты. Силясь вызвать на лице искусственную улыбку – фальшивую улыбку – он настолько энергично потряс правую руку изобретателя, что бедный Тесла оказался прижатым к столу. – Мои буряты спрашивают, почему это ваш бубен сегодня не бьет, – наполовину серьезно, наполовину шутя, обратился к Тесле Франц Маркович.

- Выключил, – буркнул тот.

- Но ведь исследований не забросили? Губернатор исключительно заинтересован в их прогрессе.

Фальшь в голосе, фальшь на лице, фальшь в позе.

С другой же стороны, правда была такая, что в последние дни Тесла чуть ли не полностью отдался исследованием безумных идей федоровцев (по ночам он воскрешал мышей под Молотом Тьмечи; Саша клялся, что всего на несколько секунд, в экстремуме неэнтропийной волны, к грызунам возвращались признаки жизни), и никакого прогресса у него попросту не было.

- Мы крайне рады заинтересованностью Его Сиятельства, - поклонился инженер Яго.

Господин Урьяш окинул его на сей раз уже серьезным взглядом.

- Тааак... - вздохнул он. - Не сомневаюсь. - Экономным жестом он отогнал выглядывающего из-под локтя директора. - Господин Герославский, на пару слов.

Он отошел в угол, положил ладони на горячие плитки печи.

- Собственно говоря, у меня тоже к вам дело, - отозвалось я-оно.

- О?

После того кратко, по-солдатски я-оно рассказало ему о всех случаях с жандармерией в Холодном Николаевске, и об охранке, пугающей знакомых отца.

Нельзя сказать, чтобы его это сильно удивило.

- Идиоты, все они идиоты, - бормотал чиновник, оперев выступающий из-под светлых волос лоб об печку. - Вы же сами это видите, обязаны видеть. - После этих слов пристально глянул. - Как бы не выпали кости, будете выполнять договор с Его Сиятельством!

- Но скажите ясно, господин Урьяш! - Раздраженно пальнуло я-оно, поскольку не могло понять, почему столь сложно приходится считывать правду - как будто бы кто-то специально затянул мысли вуалью полу-фальши.

- Оттепель в Европе. Зима в Сибири. Вы дали слово!

- Слово, - медленно повторило я-оно.

- Не забывайте: только Шульц при власти способен обеспечить безопасность вам и вашему фатеру. Тигрий Этматов и его люди верны мне - будут верны и вам. Понимаете? Его Сиятельство, возможно, и не верит в замороженную Историю, но...

- Но - что происходит? Кто полицию насыпает на мое окружение? - Подошло еще ближе. - Победоносцев? - шепнуло на выдохе.

- Идиот, идиот, идиот, - тихо повторял печке господин Урьяш. - Если бы не необходимость, император не поставил на генерал-губернаторстве такого человека, как Шульц, то есть, оборотистого, амбициозного, самостоятельно мыслящего - со своим характером! - Нездоровый румянец уже обжег его щеки, чиновник наконец-то отклеился от печи. - Ведь именно в этом сильнее всего проявляется принцип правления в государстве самодержца: тот остается в безопасности при данной ему сверху власти, кто дурак, господин Герославский, кто идиот, поскольку тогда он представляет меньшую угрозу автарху. Который и сам живет в постоянном страхе, - прошептал он, - перед всяkim, кому вынужден был уступить хотя бы частицу своей абсолютной власти.

И почти что не удивили эти противодержавные слова из уст чиновника Канцелярии Генерал-Губернатора. Несмотря ни на что, гораздо больше единоправды можно было по тьмечи узнать, чем слышало ее в словах - на языке второго рода - выплюнутых в материальный мир.

- Так что, сами видите, - с ноткой сарказма отметило вполголоса, - выходом является только власть Истории. Не какого-либо человека и не людских общностей. - Я-оно поднялось и бросило кочергу: та громко стукнула о печную дверцу. - Разве существует несправедливая гравитация? Имеются ли подлые астрономии? Бесчестные математические дисциплины?

- Да, я знаю, Александр Александрович направил губернатору обширное письмо... Но в данный момент, - Франц Маркович оглянулся на Теслу, - в данный момент другие дела требуют внимания. - Он прочистил нос, что прозвучало так, будто вздохнула лошадь. - Он послушает, если вы его попросите?

- О чём?

- А как вы думаете, зачем я сюда побеспокоился приехать? Жизнь ему спасать.

- Выходит, Его сиятельство уже не ручается перед императором за безопасность доктора Теслы?

Господин Урьяш только фыркнул.

- Что же, необходимо попробовать, хотя бы ради того, чтобы успокоить совесть. Вы часто у него бываете?

Подумало о насосе Котарбинского, скрытом в керосиновой печке. Разве так не будет легче? (Наконец-то оригинальная мысль в замороженной башке!)

- Скажите своим тунгусам и кому следует в Ящике, чтобы упряжки и все оборудование собрали здесь, в Обсерватории.

- Не хотите показываться в Цитадели?

- А те карты, которые обещали...

- Да, да, помню: день или два - если бы вы только знали, сколько дел на голове!

- Это очень важно, иначе я не смогу вычислить, где отец...

- Да, да, да! - рявкнул Урьяш. - Мне тоже не улыбается война и раскол! - Он выдохнул. - Простите. Значит, не послушает вас, а? Уважаемый доктор Тесла, вы не позволите!...

Поехало на работу. Было уже около двух часов дня, но метель все так же бесилась, замыкая человека в круговорот белой взвеси диаметром в пару шагов, так что и вправду не могло понять, что мог иметь в виду Чингиз Щекельников, когда указал на перроне Мармеладницы: - Следит за вами! - Только лишь в лифте Часовой Башни попыталось у него выплыть, но, естественно, никакого конкретного описания тот дать не сумел. Быть может, на это ему указала летучая игра светеней, победная символика необходимости - ведь залепленные мерзлым снегом окна уже все жемчужно светились, даже от стен исходило легкое сияние, чего ранее никогда не замечало. Над Краем Лютов должно было стоять громадное и черное-пречерное Сияние.

Потому инженер Иеррхейм даже внутри Лаборатории не снимал мираже-стекольных очков. Выражения его глаз прочитать было невозможно, потому-то взгляды шли как-то криво, когда, призвав из-за шкафов, он очень серьезно произнес:

- Ангелы заботятся о вас, господин Бенедикт.
- Разве?

Тот сунул в ладонь свернутую бумажку.

- Завтра, в восемь вечера. Она помнит Филиппа Герославского, брат, должно быть, рассказывал ей о своей работе. Она поговорит с вами.

Прочитало адрес. Пересечение Амурской, неподалеку от Цветистой.

- Благодарю вас.

Тот кульяпками пальцев почесал шрамы на лице.

- Сплетни вы уже слышали?
- Которые?

- О том, что писали в газетах, что вытворяют сонные рабы. Якобы, они направляются к Транссибу. Словно крысы.

Ходят слухи о войне, только не с Японией.

- Это все из-за Сияния, пан Генрих, вы же сами говорили: под Сиянием оно всегда так.

- В конторах у Круппа, - обрубком пальца указал голландец на пол, - с самого утра паника, *Herr Direktor* приказал скучать сырье по любой цене.

- Хммм, в Цитадели тоже неспокойно. – Закурило, задумалось. – И как считаете вы?

- Победоносцев сильно разругался с Шульцем?

- Хммм, нет, не то.

- Китайцы?

- Я тоже читал о новых восстаниях против манчжуков. Только Народная Партия, самое большое, по брыкается на юге, за пределами Льда. Лед, пан Генрих, Лед держит, что может измениться здесь?

Вышло еще до семи, чтобы успеть зайти к Раппопорту. Леокадия Гвужджь там уже не работала, но, так или иначе, нужно было купить одежду (на пару размеров побольше, на морозе и сырости она сядет) и все снаряжение для путешествия в самое сердце Зимы. Упаковалось со всем этим в сани, со свертками, сумками, и с самой несподручной покупкой – с сибирскими лыжами (то есть, с лыжами, обитыми оленьей шкурой, с волосом, специально уложенным в направлении езды, что с профессиональным восхищением расхваливал продавец).

На Цветистую заехало уже после наступления темноты, даже радуги мираже-стекольных фонарей не могли пробить снежной заслоны, на улицах Города Льда бушевала арктическая темень, о которой читало лишь у путешественников по северным краям; белая темень, к тому же размазанная на стеклах и заправленная странными цветами. Но человек ведь привыкает, человек перестает обращать внимание. Форма, движение – это да. Все остальное теряет свое значение. Видишь не то, что видишь, но лишь то, что мозг расшифрует из неожиданных каракуль, рисуемых на сетчатке глаза.

Круговерть – морской вал – пуховая туча – цветная тень – пятиногий, трехрукий силуэт – пегнаров монстр с гривой из сосулек – человек, скачащий на сани – парнишка в легкой куртке, со снегом в черных волосах, со льдом в бровях и на ресницах – кто – он – Мефодий Карпович Пелка, живой.

- Гаспадин Герославский! Ваше благородие арестовывать идут...

Только это и успел крикнуть, прежде чем Щекельников замкнул его в захвате и потащил с саней. Оба свалились в сугроб. Я-оно схватилось с места, отбрасывая лыжи и заячий полог, пакеты поменьше полетели прямо на улицу. Они качались где-то в снегу, нечеткие формы, медведь и обезьяна. Позвало, раз, другой. В подворотне дома Велицких блеснул огонь. Это костоломы с дубинами спешат на помощь. Ведь забыт же Пелку. Выскочило в рычащую пургу.

Ветер не мог так быстро занести их глубокие следы, потопталось по ним – вот здесь Чингиз вдавил Пелку на аршин в сугроб, туда волок за конечность, здесь Пелка еще отбивался, взбивая мерзлый снег во все стороны, а вот тут – тут господин Щекельников душит худощавого мартыновца, прибив его к стене предплечьем, прижав его под самой шеей. И сейчас-сейчас пришипил штыком, как того рабочего с холодницы хотел пробить; такой вот обычай у Щекельникова.

Дернуло Чингиза за руку – тот и не пошевелился.

- В дом! – заорало ему на ухо, стащив шерстяной шарф с лица.

- Во!

Щекельников показал на землю под ногами Пелки. Там лежал мясницкий нож с карикатурно широким лезвием, словно из детских картинок про разбойников-людоедов.

- В дом! – повторило еще раз.

Господин Щекельников пожал плечами – результатом чего стало то, что освобожденный Пелка отлип от стены, отчаянно кашляя и в панике хватаясь за шею.

Тут прибыли охранники с дубинами и лампами. Приказали им собрать товар с саней. После чего, схватив Пелку за шиворот драной куртейки, потащило за собой в сени и на второй этаж. Господин Щекельников спешил сзади, с миной разочарованного гурмана, крутя в своей лапе страшный нож Пелки.

Запихнуло трясущегося мартыновца в комнатку возле кухни, одни двери ее тут же замыкала изнутри, под другими выставив Чингиза с приказом никого не выпускать. Сбросило шубу, шапку, рукавицы, шарфы, подстежки, верхние свитеры, сняло очки, стащило валенки; подойдя к печи, плоско уложило ладони на гладких и горячих плитках – первое, что делает сибиряк, вернувшись с улицы, словно приветственное рукопожатие с домом.

Разве что ты зимовник-мартыновец и инстинктивно забирающийся в самый дальний от печи угол (кашляя и хрюпя, разбрзгивая капли воды, ставший с волос и летней одежды).

Прочистив нос, подтолкнуло Пелке стул. Тот уселся неуклюже, неудобно, словно школьяр, приведенный к директору, на самом краешке, держа ноги вместе, не зная, что делать с руками (скрестил их на груди, сунул под мышки, сложил на коленях, сунул в карманы).

Только сейчас заметило грязный бинт, выглядывающий из-под левого рукава; повязка была видна и в разорванном шве на плече.

- Вы ранены?

- Руку тогда сломал. – Он откашлялся. – Вашему благородию нужно...

- Когда? Ах. – Поскольку мираже-стекла сняло, уже не было защиты перед светенями, образовывающимися на стенах и на черно-белом окне за телом Пелки; отьмет Мефодия Карповича резал глаза: да и да, нет и нет. – Это когда вы выскочили с поезда, так. Так с кем же это вы разговаривали той ночью?

Парень открыл рот, закрыл, снова открыл.

- Его уже нет в живых, так что вашему благородию скажу. Господин советник Дусин пришел меня предупредить, говорил, чтобы я убегал, поскольку Ее Княжеское Высочество от челяди узнала про меня, сейчас людей пошлет. Ну я и выскошил.

- Княгиня Блуцкая и мне тогда спасала жизнь, так почему ей было бы нужно... Ах, ну да, она же мартыновка – все по мартыновской вере пошло!

- Община Ее Высочества и моя община в Москве в большой неприязни живут, кровь между нами. Правда между нами. – Он опустил голову. – Распутин самолично задушил батюшку нашего. Только, ваше благородие, не время сейчас...

- Погоди. Сначала все это должно замерзнуть! Почему Дусин – доверенное лицо княжны, то есть, наверняка мартыновец тоже – но...

- Господин Дусин был человеком, верным их Высочествам, но брат нам. Он еще обещал, что вам тоже поможет – что, не помог?

Замерзло.

- Ладно. – Прочистило нос еще раз. – Так за что это меня вроде бы должны арестовать?

- За убийство губернатора Шульца.

Носовой платок полетел на пол. Упало на табуретку у печки.

- Не врете...

Пелка нервно перекрестился, поцеловал ладанку.

- Спасением души клянусь!

- Откуда у вас такие сведения?

Тот прикусил губу.

- А вы меня не выдадите?

- Не выдам, Пелка, не беспокойтесь.

- Ну... Тогда так. Как только я приехал за вашим благородием, это уже добрый месяц тому, то куда мне было деться? К братьям моим, к приятелям приятелей обратился. Какое-то время еще лечился, но сразу же слово отправил, что ежели что вашего благородия касаться будет – а ведь каждый, идущий путем Мартына, про Сына Мороза слыхал – эта весть должна до меня дойти, а я уже подавлял всяческие опасные замыслы разгоряченных голов, чтобы в покое ваше благородие оставили. И вот так именно сегодня новость страшная пришла от брата нашего, который, только умоляю ваше благородие, чтобы никому – который слугой в доме полковника Гейста, и говорит он, ой, что он говорит: было покушение кровавое на Его Сиятельство, графа Шульца-Зимнего, первое же обвинение по которому и верную-быструю смерть выписали уже на Венедикта Филипповича Герославского. А раз господина пока что в кандалы не заковали, то наверняка лишь затем, что готовятся к крупной жандармской акции по всему Иркутску. И что может вам жизнь спасти – только бегство!

Вытерло лоб и только теперь заметило пот на коже выступивший. Отодвинулось от печки.

- И когда это покушение состоялось?

- Да вот, пока пробежать успели туда-сюда с тревогой – это сколько? Час где-то?

- Сиди тут.

Вышло в салон. Крикнув, чтобы принесли бумагу и ручку, быстро написало несколько слов уважаемому Модесту Павловичу Кужменьеву и послало слугу верхом, рублевку в карман ему сунувши, чтобы сломя голову сквозь пургу поскакал.

Панна Марта допытывалась, что происходит – господин Щекельников все так же стоял в коридоре перед дверью, разве что нож кошмарный за пазуху спрятал. С извинениями расцепловавши ручки панне, попросило, чтобы та постучала, как только пан Войслав с работы вернется, схватило с кухни горячего шоколаду и вернулось к Пелке.

Тот шоколаду не хотел; налило в одну чашку. Парень сидел с синим лицом, прижатым к холодному стеклу; правым глазом, черным, в белую тьму всматриваясь, левым по комнате высматривая, что в результате давало совершенно рыбье косоглазие.

Подуло на шоколад.

- Так кто вы вообще такой, Пелка? – спросило тихо. – Зачем вы за мной через пол-света ездите, людей ради меня убиваете, собственную шею подставляете?

Тот еще шире выпустил влажный глаз.

- Да как же! Ваше благородие! Как это, зачем!

- Вера сердечная, это понимаю, но...

- Вера! – выдохнул тот и раскашлялся, долго еще массируя горло, прижатое лапой Щекельникова.

Стараясь отмерять каждую мысль и жест в соответствии с внутренним тактом, чтобы любой чуждый ритм не мог, навязавшись телу, навязать свою волю и духу, глотало шоколад мелкими глотками, отсчитывая по простым числам, то есть, на один, два, три, пять и семь. При этом не отрывало взгляда от Мефодия. Барин и батрак, городовой и уличный бродяга, поляк и русский.

- И все же, по правде, что вам нужно? – продолжило неспешную беседу. – Значит, мартыновцам? Чего вы хотите? Чего ожидаете?

Удивление и решимость переливались на лице Пелки.

- А вы, католики – что вам нужно? Чего вы хотите? Чего ожидаете?

- Выходит, не вера, хорошо. Что же?

Тот смешался, отвел взгляд; но точно так же он мог пытаться сорваться с зимназовой привязи.

- У господ вечно оно так... - буркнул парень.

- Как, Мефодий, как?

- Вечно такие бабские разговоры у вас. – Он тряхнул башкой. – Ну, и почему ваше благородие не бежит?! Ведь арестуют вас!

Вытерло ус от шоколада.

- Сам ты молодец, не баба, но ведь можешь сказать, что в душе твоей играет; это дело мужское, Мефодий, не про мелкие чувства болтать, но заглянуть в самого себя и ясно назвать тот дух, что мужчину к величайшим подвигам ведет. И ты, Мефодий, правильно отмечаешь, у господ подобное умение глаза и слова, души и разума чаще встречается; а мужик, даже когда соседа зарубит, то никак судье вслух не способен объяснить: отчего, зачем, ради чего все это сотворил. Тем более, не выскажет он, почему всю жизнь на пашне провел, как его отец и отец его отца; нет в его жизни никаких "почему" и "зачем". Вот так, замерзло. – Языком распределило сладкий шоколад по нёбу; его вкус и гладкая, маслянистая плотность отпечатались на языке, так что высказывалось уже в тоне и ритме воистину шоколадном, то есть, плавно, мягко, низко, сладко. – За то вот господа... Как ты считаешь, Мефодий, о чем говорит все искусство, которым в городах и имениях восхищаются, все эти театральные и книжные рассказы?

- Как баб скорее к греху подтолкнуть и в голове им замутить, - буркнул тот.

- Это тоже. Только я же спрашиваю, не зачем – о чем, про что? Так вот, о том как раз: что человек делает нечто великое – благородный поступок, подлое деяние, неожиданное действие – что-то другое, такое, которое, вроде бы, не от него пришло, и каковы последствия этих поступков он переживает, как он пытается самому себе и другим рассказать, почему так сделал, что сделал; и обычно случается – ни на каком людском языке он этого высказать не может – так именно для этого искусство, пьеса и служит, она рассказывает.

- Я такого не знаю, - сказал Пелка. – Я не начитанный.

- Но мы же на земле Льда, здесь даже мужик, который за всю жизнь в чистое зеркало не глянул, способен все на паре пальцев вычислить. – Отставило чашку. – А вот скажи-ка Мефодий: за кого ты так сильно стыдишься?

Тот прижал висок к стеклу, стиснул веки.

- За родителей своих, за них.

- Кто они?

- Кто? – выдохнул тот. – С мамонтами уже ходят.

- Но стыд тянет.

- Тянет стыд, барин, тянет, ой как тянет.

- За что?

- За подлость, вредность нелюдскую, за сердца черные и жизнь мою, так стыдно пред Богом и людьми, так... – Пелка чуть ли не задохнулся. Приложил кулак к груди, склонил голову. – Тянет, давит, так рвет когтями огненными, что временами и дышать не способно.

- Знаю, Пелка, знаю. Но и то знаю, что мы не живем грехами родителей своих. Если бы все по ним наследовали с печатью греха первородного, то через несколько поколений на земле было бы царствие сатаны: всякое дитя к грехам прошлого прибавляло бы собственные грехи. Но ведь все наоборот, Пелка, не так все!

- Так оно же из-за меня, ради меня и за меня! – завыл Мефодий. – Из-за того, что живу!

- Что ж ты такого наделал?

- Я... Пять лет тому назад, пять лет был я подростком, что по снегу с собаками гонял, наказанье божье для матери с отцом, по лесам шатался, харч воровал, от работы отлынивал. Жили мы в Мрачнетово, деревне такой под лесом, что была поставлена по декрету канцлера Столыпина, еще перед лютами; отсюда, может, верст сто.

- И была Зима.

- Была Зима, и зимой это случилось, и я, дурак, пошел с ребятами в лес западни ставить, хотели шкурки продать, пару рублей заработать; а один парнишка бутыль сивухи взял, и еще кто-то... Упились все, на это уже никакой памяти нет, но упились и свалились спать там на ночь, а тут морозы пришли под сорок, ну мы в камень и... Говорят, будто я не жил.

- И что случилось?

- Да, ночью в Мрачнетово пришел Батюшка Мороз.

- Уже знали его?

- Нет. Только тут, ваше благородие, такое дело, что перед тем за неделю исправник прибыл в деревню и у старосты прибил алавещение такое про Батюшку Мороза с обещанием сотни рублей золотом тому, кто властям его сдаст. С большой фотографией.

- Ах!

- Сто рублей золотом для мужика! А он прибыл в самый трескучий мороз, то есть, в морозе, по морозу, на морозе. Голый был совсем, так сквозь метель и шел. Старик Госев его и спрашивает, зачем, мол, прибыл. Отец Мороз отвечает, что идет за черным Солнцем и чтоб больных ему давали, лечить станет, что можно еще излечить, болезнь вымораживать.

- Это он говорил?

- Говорил. Тогда еще. Да.

- В тысяча девятьсот девятнадцатом?

- Да. Только следует вам знать, что тогда он еще не во всем был Отец Мороз, как сегодня мне ведомо; и не помню даже, чтоб его тогда так называли. А что мне люди рассказали: что ходил, что садился, и по-живому говорил, что даже водку пил – только все как-то медленно и странными движениями, и что скрипел, и что снег и лед из него сыпался, и вообще – холодным был он сильно, коснуться невозможно, в избе не выдержать, сосульки до земли.

- И что? Говори, Мефодий.

Тот провел щекой по мираже-стеклу, словно кот, ласкающийся к... к морозу.

- И тут мать прибегает в отчаянии: спасай дитя мое! Померзли ребятишки насмерть! И в ноги ему падает, холодно, а и сама бы потащила. И куда собаки охотничьи повели – пошел он

- И что?

- И живу, как видите.

- Что же он сделал?

- А кто ж его знает? Четверо нас было, упившихся-замерзших; одного тронули, отбивать от земли стали, так у него рука обледеневшая отвалилась, тело расколопилось – так и оставили и за попом послали. А бабы уже Батюшку Мороза привели. А мы лежали там под деревьями, на мерзлоте голой... поначалу долго он с нами чего-то делал, в крови колупался, говорят, в сердца сосульки алые нам вымораживал... а потом взял и сошел с нами на Дороги Мамонтов.

...Три дня родители ждали, на образа молились; на четвертое утро вышел он из земли со мной и Петей. Вроде при всем сознании были; не помню. Только знаете, барин, живые, живые и здоровые. Одно только до смерти осталось: мороз в костях. Значит только, у Пети всего на пару дней, потому что заморозка не отпустила его, хоть тот льдом и камнями блевал, и черные сгустки из тела себе вынимал, и в огонь ложился; а вот я...

- Так ты, Пелка, по Дорогам Мамонтов ходил.

- Не знаю. Говорят, будто ходил. Наверняка ходил. Не помню.

- Не помнишь, только – замерзло.

- Ну да. Ага, а потом оно так: наутро сотские с десятниками, да исправников целая куча в Мрачнетово съехались и обстреливать Батюшку Мороза издалека стали, и как он, пулями побитый, они словно глину крушили, в землю бросался, в Дороги Мамонтов стекая, но опять же, медленно так, в морозе, на что его штыками, да дубьем, да косами, железяками всяческими били и секли, и коней на него напускали, и цепями рвали, Боже ж ты мой, и булыжники на него скидывали, и он так через всю деревню, и на целину, и в лес, и как-то так в землю занырнул, весь побитый.

...После чего заплатили моим отцу и матери сто рублей золотом.

- Ах!

Мефодий терся лицом по стеклу уже чуть ли не в каком-то трансе, стуча себе в грудь кулаком.

- А я живу! Я живу! Сто рублей за то, что спасителя выдали! Уласи Господь!

- Так ведь он тоже выжил, Отец Мороз, он жив.

Пелка стиснул синие губы.

- Прошел, может, месяц – но меня там уже не было, отослали меня родители к деду и бабке под Вышний Волочек – месяц, как я уехал, да и исправники давно уже отбыли, никто ничего ночью не видел, как он стал вымораживаться от колодца, к утру уже почти на ногах стоял, только на сей раз с ним нельзя было заговорить, и сам он уже не говорил людскими словами; и знаю я лишь то, что те, что с самого утра в сани уселись и из Мрачнетова убрались, те жизнь и сохранили; потому что когда уже туда жандармы прибыли через несколько дней, одну лишь мерзлоту застали – лед, лед, один лед, избы раскрыты, кривые, заснеженные, утварь вся в сосульках, скот в камень, и ни единой живой души, ни единственного тела теплого. Только крест громадный из сосновых стволов замороженных посреди деревни стоит.

- Забрал их.

- Сами пошли.

- Всю деревню.

- И справедливо ведь, ваше благородие, справедливо – за зло, что на добро сотворено было.

- А ты...

- Я вашему благородию... я, ваше благородие... я...

- Другой еще бы мстил.

Пелка без памяти бил себя в худую грудь.

- Меня – меня тянет, меня печет, меня сжигает. Хотя бы словечко одно. Но от кого? От него? Ну, даже если бы и так – то ли он меня, то ли я его – что здесь прощать! Ваше благородие это понять может? Я не понимаю! – Он схватился за голову. – Ничего не понимаю! Совсем!

- Здесь нет никакого прощения, Пелка. Имеется один только стыд.

Замерзло.

Но не могло не возвращаться все время к горькой мысли: что же это за измаилово проклятие – сто рублей, тысяча, проданный мужичьем, которому он только добро принес, проданный родным сыном, выданый товарищем по работе, "истинным другом" – да что же это за проклятие измаилово! – разве в том лежит принцип "структурной постоянной характера", что людей, хочешь – не хочешь, друг против друга обращает, злость, гнев и отвращение в них пробуждает, к явному предательству в конце концов по причине какого-то таинственного магнетизма сердца приводя? *То будет дикарь: руки его против всех, и руки всех – против него: и против братьев всех разобьет он свои шатры.* Измаил, человек Правды, человек-абаас, живая теслэктрическая динамо-машина, божественный аккумулятор тьмечи. *Людьми с такими характерами можно восхищаться, даже любить всей душой, вот только жить с ними невозможно.* Сложно даже сказать, где для них судьба хуже: в Лете, где они способны метаться только лишь между разными видами полулжи, или же здесь, в Зиме, в kraю абсолюта. Так или иначе, не для жизни предназначены такие люди, не для жизни...

- *Пасматри, Мефодия...*

- Ваше благородие должно меня послушать, бежать нужно, не медля...

- Ну...

Кто-то постучал.

Вышло в коридор.

Слуга снимал с Велицкого шубу и шарфы. Пан Войслав стащил очки, поднял поцеловать Михасю, которая, уже готовясь ко сну, все-таки притопала к папочке, таща за собой тряпичного медвежонка по имени Пан Чепчай.

- Пан Бенедикт... - начал было хозяин над головкой дочки, пищащей ему в бороду, какой он холодный.

- Вы не позволите на пару слов, именно сейчас, это очень срочно.

Пан Войслав отдал Михасю бонне.

- Я как раз хотел вас... - просопел он. – Потому что перед самым выходом из фирмы дошли до нас странные слухи, а ведь вы сегодня как раз в правительственные сферах вращались, не так ли?

- У меня здесь человек, который рассказывает, будто бы час или два назад был убит Шульц-Зимний. И, обратите внимание, он говорит правду.

Пан Войслав застыл на месте. Лед в его раскидистой бороде еще не успел растаять и теперь искрился на фоне отьмета, серебром украшая молчание Велицкого.

- С другой стороны, - продолжило я-ono, - мне известно, что там, по дороге кто-то запустил ложь, поскольку человек этот говорит, в правде своей, и о том, будто бы, представляете, что за это убийство хотят арестовать меня; я же сегодня к Цитадели даже и не приближался, только-только от Круппа возвратился.

- Да что вы такое говорите! – выдавил из себя Велицкий.

- Именно, а вашего дома...

- Погодите! Нужно сначала все это проверить! Модест Павлович...

- Я уже написал ему. Правда Кужменьцева – это уже почти что правда Шульца.

Присев на табурете, пан Войслав в задумчивости стаскивал обувь.

- А эти все слухи, - спросило, - они какого рода?

- А, совершенно иные. Будто бы из Зимнего пришла срочная отставка графу Шульцу, и что князь Блуцкий-Осей имперскими полками должен навести здесь новый порядок.

- Вот это да!

- Черное Сияние, пан Бенедикт, все мы понемногу сонные рабы, принимающие признак правды за саму правду, предсказание за свершившуюся неизбежность. – Он наконец-то стащил второй сапог. – Сейчас пошлю Трифона, незачем поспешно паниковать. Есть у вас какие-нибудь предметы, в отношении которых охранка могла бы дело пришить?

- Нет... нету.

- А этот ваш человек?

- Хммм, правильно.

Вернулось к Пелке. Поблагодарило его, разумно не сужа ему денег, не предлагая никакого иного вознаграждения. Тот кивал головой, но все время глядел куда-то в сторону, все еще связанный памятью стыда (которая сама стыдом палил).

- Теперь тебе уже пора идти, Мефодий, так ты лучше мне поможешь.

- Но вы же убежите! Бегите!

- Со всей уверенностью не собираюсь я идти на расстрел за преступление, в котором не виноват.

Вывело его из комнатки. Господин Щекельников глянул с подозрением. Одна его рука все еще была спрятана, явно сжимая рукоять штыка. Показало, чтобы он вернулся зимовнику мясницкое орудие.

- Зачем тебе был этот ножик? – спросило у Пелки на пороге.

- А разве мог я знать, успею ли? А вдруг бы ваше благородие уже забирали...

- И ты собирался броситься с ним на жандармов?

- Что первое под руку попало...

- Ага, так вот выскоцил, помчался – выходит, это не ты сегодня за мной следил.

- Я? Нет, ваше благородие, я – нет.

Оказалвшись за порогом, он еще раз передумал и пытался повернуть, вновь охваченный неожиданным беспокойством: - Не отступлю, пока ваше благородие в безопасности не уйдет! – так что пришлось его провести по лестнице до ворот, и с помощью костоломов-охранников с ветром на Цветистую выпустить; метель тут же захватила и проглотила его.

Часы в доме пробили половину девятого. Съело горячий ужин с густым журеком и луковым хлебом с хрустящей корочкой. Пани Велицкая вышивала на пяльцах возле огня, ежесекундно лупая над тканью ведомским глазом: половина ее сморщенной физиономии освещалась огнем, другая половина скрывалась в тени и затмевала. Кот-царапка грелся у ее ног.

- Но ведь молодой человек нашего Войслава ни в какую гадкую компанию не затащил? – сладеньkim голоском поскрипывала бабка.

- Нет, проше пани.
- И ни в какие политические мятежи?
- Нет, проше пани.
- У Войславика такое доброе сердце.
- Очень доброе.

Никак не могло понять, каким образом старуха представила себе такую правду, будто бы я-оно силой притянуло пана Войслава к чему-то, что противоречило его убеждениям, ба, благополучию всего семейства. Для этого следовало быть месмеристом мирового покрова! (Или Алистером Кроули).

Без пяти девять поступал курьер к Велицкому с бумагой от человека из его фирмы. На Вокзал Муравьевса, якобы, прибыл эшелон, заполненный военными, якобы, отзванными с японского фронта полками; тут же солдат высаживали и формировали в отряды, всего три громадные роты. Велицкий ответил приказом собрать дополнительных людей для охраны складов.

Я-оно сидело в салоне при огне керосиновых ламп, печи и камина, пытаясь вклепиться в беседу, которая, сама по себе всякий раз распадалась; атмосфера нервного ожидания передавалась всем присутствующим. С Велицким сидели здесь и пани Галина, и панна Марта; здесь было сердце дома. Слуги все время подносили кофе и сладости (которые поглощал один пан Войслав, за то полными горстями).

Где-то к половине десятого на Цветистую прибыл адвокат Кужменьев. Пыхтящий, заснеженный, багровый от мороза, черный от тьмечи, ведомый доверенным помощником под руку – вначале ему пришлось хорошенко в кресле устроиться и глотнуть пару рюмочек сливовицы, прежде чем вернуться к полному сознанию и обрести голос – а за это время у всех присутствующих нервы до крайности натянулись.

- Ххххххммм! Так. Уффф! Не мне, старику, ночью по морозу безбожному сломя голову ездить. Еще немного, и совсем бы меня из Ящика не выпустили...

- Из Цитадели едете?
- Ну да, видите ли, Венедикт Филиппович, скорее я страшную весть, от вас полученную, прочитал, чем начальник канцелярии бургомистра, который ко мне на маджонг...
- Да что же там произошло?! Скажите наконец!
- Так я же и говорю! Разве нет? Говорю! – Сказав это, он вновь засопел, и только третья рюмочка вернула ему голос. – Бррр! Славьте Господа, ибо не ведаете ни времени, ни места! В собственном кабинете, над губернаторскими бумагами, его собственным ножом для разрезания писем, сегодня вечером был зарезан несчастный Тимофей Макарович Шульц!

Женщины вскрикнули, перекрестились. У старика Григория поднос выпал из рук – женщины вскрикнули во второй раз. Проснувшийся кот, грохоча металлом и пронзительно мяукая, чмыхнул по этому подносу в сторону.

Пан Велицкий закурил трубку.

- Что бы они все сдохли.

Старуху Велицкую чуть удар нехватил.

- Мамаша пусть спать отправляется, – бросил пан Войслав, даже не глянув в ее сторону. Подвинув табурет к креслу адвоката, он склонил свою тушу к достойному старцу, насколько позволяла собственная фигура, не менее монументальная. – И кто же его убил?

- А, мерзавцы какие-то гадкие, охрана тут же их схватила, двое их было, якобы, анархисты какие-то или нигилисты, а может и коммунисты, только ничего точного пока что не ведомо. Сейчас же все собрались у ложа умирающего, его личный врач и целая армия более-менее значительных врачей, военных и гражданских, имеются даже китайские и бурятские знахари. А по коридорам солдатики под ружьем шастают, как с цепи сорвались, пока ночь пройдет, точно постреляют друг друга, в горячке этой на любую тень-светень прыгая, не так ли? Ведь постреляют же.

- Но скажите, Модест Павлович, как это случилось? – упрямо допытывалось я-оно. – Какой-то заговор был? Пошли ли какие-нибудь приказы про аресты? Потому что именно такие слухи до нас доходят. И про ту отставку от императора, которая на стол Шульца попасть была должна.

Кужменьев погладил седую бороду, моргнул кровавым глазом.

- Да, правду говорите. Имеется приказ императорский, про который я от таких людей слышал, как будто своими глазами его видел. Приказ "предпринять все необходимые действия с целью подавления мятежа Шульца".

- Какого-такого мятежа?! – отшатнулся Велицкий.

- Князь Блуцкий-Осеи никогда бы не согласился со скрытым убийством... – бркнуло себе под нос. – Но вот Гейст и Шембух, все те люди из охранки и чиновники, Зиму ненавидящие...

- Вы думаете, будто бы те самые террористы были посланы против генерал-губернатора охраной?

- Модест Павлович, своими словами скажите правду про графа Шульца – что он за человек: поддался бы он покорно, если бы был уверен в несправедливости и черных замыслах, что за отставкой стоят? Модест Павлович! Чёрное Сияние над нами! Неужто для графа Шульца иная очевидность?

Адвокат поднес корявую руку к виску.

- Это человек сильный, благородный.  
 - Вот видите! Гораздо легче и безопаснее отправить в отставку покойника. В особенности же здесь, в Сибири, за десять тысяч верст от императорского дворца.

- Никогда он не противился Его Величеству...  
 - Но способно ли Его Величество подобное опасение отогнать?

Адвокат Кужменьев лишь тупо качал головой.  
 Пан Велицкий указал трубкой в сторону стола.

- Послушайте, - шепнул он, - если это провокация охранного отделения, то и вправду может быть что-то и на поляков. Один Господь знает, на кого указал полковник Гейст.

- Так мне собираться?  
 - Понимаете, только на первые несколько дней, пока все не успокоится; а потом Модест Павлович направит письма, выяснит все по официальной линии – ведь сейчас, любая стычка с солдатами, так и пулю в лоб схлопотать можно. Зачем фортуну дразнить?

- Похоже, вы не слишком четко все это видите, - прошипело я-оно резче, чем собиралось. – Шульц было моим защитником, это Шульц дал мне и моему отцу свободные паспорта, это он думал мною с лютами воспользоваться; Богом клянусь, это он меня вообще сюда направил! После смерти Шульца я всего лишь падаль меж волками.

- Так вы считаете, что отсюда и та сплетня про приказ об аресте...?

Вошел слуга.

- Господин директор Поченгло к пану Герославскому.

Велицкий вопросительно пыхнул из своей трубочки. Только развел руки: неожиданность.

Порфирий Поченгло не желал заходить в салон. Он всего лишь переступил порог на втором этаже. Не снял ни шапки, ни мираже-стекольных очков, разве что расстегнул шубу и стащил с рук рукавицы и нервно бил этими рукавицами по ладони.

Быстро пожав руку, прямо с порога плонул кровью:

- Губернатора зарезали.  
 - Знаем.  
 - Знаете? – Директор вздохнул. – Ага, знаете. Потому что, видите ли, пришел приказ об отставке...  
 - Знаем.

В очках Поченгло всколыхнулись масляные калейдоскопы.

- Пан Бенедикт, а вот скажите нам, не ваша ли это работа.  
 - Что?

- Слава Богу! – Только теперь стащил он очки, слегка улыбнулся. Под ястребиными бровями каплями жидкого серебра поблескивали светени. Лицо его, снова небритое, было покрыто какими-то струпьями, коростой, словно он только что прибыл из какой-то самой морозной сибирской глуши. – Я приехал вас предупредить, но, раз вы уже знаете... Вы уже упаковались? Могу забрать вас своими санями. Правда, та дорога, через Харбин, в данный момент, скорее всего, невозможна, да и Транссибом тоже, станут проверять каждого по отдельности, но как-то...

- Так на меня уже имеется ордер?  
 - Господи Божке мой, пан Бенедикт, они же по вашей рекомендации туда вошли!  
 - Что?

- По вашей визитной карточке, с вашими собственноручными рекомендациями губернатору Шульцу!

Я-оно оперлось о стенку. Мамонты пробежали галопом под фундаментами дома, все затряслось, секунда, две, я-оно не могло прийти в себя; Поченгло позвал слуг, уселось на принесенном стуле.

- Шембух, - шепнуло, когда кровь вернулась в голову.  
 - Pardon?

- Шембух, Гейст. И неужто вся эта иркутская шелупонь осмелилась против генерал-губернатора...

Пан Поченгло явно смущился.

- Ну, дорогой мой пан Бенедикт, по правде все выглядит не так.

Сфокусировало взгляд на его обмороженном, покрытом отьметом лице, на его глазах, отражающих странное впечатление стыда-радости.

- Но ведь он еще дышит, так? – спросило тихо.

Тот утвердительно качнул головой.

- Три раны, множество крови, все молятся, даст Бог – выживет.  
 - Вы тоже – молитесь; вы, областники, сторонники отделения, молитесь крепче всего.

Поченгло отвел глаза к лампе, переступил с ноги на ногу, сбивая мерзлый снег с сапог.

- Да что же это такое, – глухо воскликнуло я-оно, – что всегда прибегаете со стыдом своим, с угрызениями совести и желанием сатисфакции – *post factum*, когда все злое сделали до конца! Вот тогда – друзья-приятели! Вот тогда – хоть к ране приложи! Только вначале – эту рану вы собственной рукой нанесете.

- Вы же знаете, что договор между нами с моей стороны был самым откровенным: вы договариваетесь относительно Оттепели с лютами, как и былоговорено – здесь Лето, в Европе – Зима, я же вас безопасно переправляю в Америку.

- Откровенным и душевным. Но с самого начала, с того заседания Клуба Сломанной Копейки, а то и еще раньше, еще во время своих сибирских вояжей вы точно так же, от души, работали ради триумфа областнической идеи, только совершенно иным путем. Заговоры, так! Заговоры, словно швейцарские часы – в один только момент времени и в единствен-

ном месте на Земле, где заговоры возможны по-настоящему: здесь, подо Льдом! И не следует кивать, - нацепило в директора пальцем, - я вижу!

Я-оно начало считать.

- Успех мирного договора князя Блуцкого. А затем! Конец морской блокады. А затем! Возобновление торговли Сибири с Америкой; воскрешение Российско-Американской Компании, возврат к строительству Туннеля на Аляску. А затем! Резкое падение цен стали на биржах с другого берега Тихого океана. А затем! Паника в голове Дж.П. Моргана и безжалостные приказы его агентам в Москве и Петербурге, миллионы на взятки. А затем! А затем! Расчет Порфирия Поченгло и его областников: вовсе даже не торпедировать миссию Моргана – но помочь ему, именно помочь, как только можно, в деле очернения генерал-губернатора перед царем.

...Математика характера! Алгоритмика Истории! Уголовное преступление Льда! Столь же надежное, как дважды два – четыре, как дедуктивный вывод Шерлока Холмса! Вы лично знакомы с графом Шульцем, вам знакома единоправда графа. Что сделает Шульц, без каких-либо оснований обвиненный царем в измене и сброшенный со своего сибирского трона, изгнанный из царства зимназа?

- Ну, тут бабка надвое ворожила, - буркнул директор.

- Выходит, столкновение. Но довольно легко вычисляемое в обоих вариантах. Такой это человек! Загнанный под стенку, ввергнутый в ложь, в несправедливость – поддается ли он? Или же, все-таки объявит независимость Сибири? И тогда областники на коне!

...Вы не подумали лишь о том, что царь тоже прикроется. Шембух, ха! Шембух, Гейст, как же! Это не против них шла игра, а против самого царя! Его приказы здесь Министерство Зимы и Третье Отделение ввели в ледовый заговор, именно он меня макнул рожей в политику. – Я-оно мрачно оскалилось. – В каких-то иркутских интригах между одним и другим чиновником еще можно было рассчитывать на какого-то человека – вот только что я могу против Императора Всероссийского.

Пан Поченгло поглядел с превосходством.

- Вы столько раз говорили об Истории. И вот сейчас вас разогнавшаяся История пнула под зад. Больно? Не может не болеть. Все остальное растворится в иллюзорном тумане – она одна останется жесткой реальностью. Так что не стоните, как тогда, в поезде. Вы коснулись обнаженной материи Исторического Процесса!

- А я вас человеком с характером считал!

Тот иронически фыркнул.

- Вы переоцениваете степень моего плутовства. Не существует какого-либо подобного заговора, такой клеветнической интриги, посредством которой здесь, подо Льдом, можно было бы сделать, что граф Шульц обманет самого себя, то есть, станет кем-то, кем не является. Не могу я Правду как угодно фабриковать, по капризу собственному творить Правду из Неправды. Если бы дело это противоречило форме души графа, князь Блуцкий-Осеи первым бы увидел это и сказал царю, что Правда такова, что в характере губернатора Шульца-Зимнего нет измены, что верность его сильнее амбиций, и что он никогда Сибирь у Его Величества не заберет. И на этом бы все и закончилось, и сам Шульц об этом тоже прекрасно знал. Тем временем, что он делал? Сотнями садил под замок вольнодумцев за любую тень подозрений в поддержке отделения, казакам приказал в народ стрелять, при всякой оказии клялся в верноподданстве Петербургу, и собственных людей, не слишком самодержцу приятных, в тюрьмы сажал.

Вспомнилась сцена в Цитадели, когда Шульц опустил перед князем того полковника со слишком откровенным языком опустил. Воистину, Математика Характера – ибо чем отличалась эта последующая игра от розыгрыша Иваном Петруховым на балу в губернаторском дворце?

В Царстве Идей математик будет самым практическим из всех людей.

- Членов Клуба я бы обманывать не стал, - продолжал пан Порфирий. – Мысль пришла уже потом, после визита американцев у Шульца, на который он отреагировал теми неожиданными арестами... И ведь мне пришлось уйти с глаз, чтобы тут же не предать себя. Что было можно, устраивали на бумаге, посредством писем, посторонних курьеров.

- Но когда вы договаривались со мной – ведь тогда, да – с той полицией – ведь это уже по петербургским приказам, не так ли? Что вы тогда сделали? – признались в участии в областническом заговоре под тайным управлением генерал-губернатора? Вы лгали, должны были лгать!

- Так я ведь и вправду рассчитывал на ваш договор с лютами! И до сих пор на него рассчитываю. Без Оттепели в Сибири... кто знает, как далеко вообще удастся протолкнуть независимость. Видите ли, вся идея основана на том, что импульс приходит не ото Льда, потому что из Льда никакой новый, революционный импульс вообще не может поступить – но из-за дальних пределов, из Америки, с нью-йоркских бирж, от Моргана и японского императора... Столкновение, говорите, карамболь. Так. Один шар бьет в другой – на этом полуширении, на другом полуширении, стук-стук-стук, и не видно самой руки игрока в бильярд, только неожиданное, всеохватное движение. Так творят Историю.

...Если бы хотя бы на год, на пару лет Лед попустил настолько, чтобы одна перемена от другой и третьей успела подальше отиться, пока не замерзнет заново!

- Забудьте про Оттепель! – мрачно засмеялось я-оно. – Никаких переговоров не будет. Буду рад, если сам с жизнью уйду. Все пошло псу под хвост. Вот что осталось от великих планов! Вот что пришло с заговором! Тыфу!

- Вы уверены, что...

- А как еще!

- Может, если бы...

- Вот такая Оттепель! – Округлая светень блеснула на стене за директором Поченгло, и я-оно чуть не упало со стула. – Ах! Боже! Трифон! – позвало.

Появился Трифон.

- Ваше благородие желает...?

- Одевайся и, одна нога здесь – другая там, мчи в Физическую Обсерваторию Императорской Академии Наук, к доктору Тесле. Сообщи ему, что генерал-губернатор начинает бунт против Императора, и что доктор Тесла должен незамедлительно бежать, пока Шульц, окровавленный, без духа лежит. Что это говорит господин Герославский. Понял?

- Понял, ваше благородие, понял.

- Только, чтобы никто другой вас не подслушал!

Пан Порфирий закурил папироску.

- Вы опасаетесь, что он, все-таки, может выжить, – горько сказал он сам себе. – Вы молитесь за поражение свободной Сибири. А ведь теперь одни только Соединенные Штаты Сибири способны спасти вас от петли! Не забыли? Как только Шульц умрет, царские чиновники вас, соучастника в его убийстве, посадят, уж наш Николай Александрович за этим проследит.

- Если Шульц умрет, то это еще полбеды: временное, военное правительство попадет в руки князя Блуцкого, то есть, снова в руки царя, и тогда доктор Тесла, тем более, получит государственное вспомоществование, и тогда, возможно, вы даже дождитесь Оттепели, пробужденной машинами Теслы...

- И что мне с нее тогда...! – отшатнулся тот.

- Но если Шульц выживет и власть сохранит, то что первое сделает он, явно встав против Его Величества Николая Александровича? Каково то дело, одно единственное, которое, несмотря на гнев императора, способно купить ему и Победоносцева, и все силы Края Лютов?

...Защита зимназовых богатств перед войной, которую объявил лютам безумный царь!

- Ему придется понять, что в замороженной Истории подобную революционную перемену он никак не защитит. – Поченгло прищелкнул языком, выдул дым. Переложенные в левую руку перчатки высвечивались на настенных панелях изображением солнечного паука, запутавшегося в дюжине толстых конечностей. – Отрыв Сибири от Российской Империи без Оттепели...

- Пан Порфирий, граф Шульц-Зимний не верит в Математику Истории.

Тот закусил губу со струпьями.

- Вы должны, вы обязаны переговорить с отцом!

В Царстве Идей математик будет самым практическим из всех людей – тем временем пока не История, не аполитея правит Сибирью, Россией и миром. Наилучшие планы, наиболее глубоко продуманные, уголовные шахматные партии и математические заговоры – не срабатывают, поскольку не до конца правда была отделена от лжи, не одни только Измаилы живут здесь, и, что бы ты ни делал, всегда ворвется откуда-то зародыш энтропии. Материя еще не замерзла.

- Эх, черт подери, бежать – не бежать, имеется ли вообще смысл...

Поченгло схватил за плечо.

- Пан Бенедикт, нельзя так! Возьмите себя в руки. Знаю, все выглядят так, будто бы небо вам на голову обрушилось, но ведь это еще не конец. Разве не бывали вы в худших переделках? А когда из Транссиба вас в лес выкинули? А? Поддались вы тогда? Нельзя же так!

Он вручил папирусу, уже подкуренную. Взяло ее трясущейся рукой.

- Ведь если даже здесь невозможно опереться на разуме, на логических посылках... – затянулось я-оно, – то что остается? Ворохить по светеням, по инею? Встать под Черным Сиянием словно сонный раб?

- Я заберу вас, – еще раз заявил Поченгло. – Мне и так нужно уходить из города. Сейчас я собираю людей, переходим. В фирме я уже рассчитался. Ну, пошевелите костями! Я вообще мог сюда не приходить; оцените, что сам я как-то свою вину чувствую, хотя у меня и не было никаких гадких намерений. Но дальше торчать здесь не стану. Ну! Удобств не обещаю – но, по крайней мере вы будете в безопасности!

В безопасности!

Я-оно отбросило руку Поченгло.

- Отстаньте вы от меня!

Оскорбленный, тот замахал рукавицами в дыму.

- Да что на вас снова напало? Что это вы такой колючий сделались? Настоящий мраморный ёж!

Щелчком отправило недокуренную папирусу ему в шубу. Поченгло инстинктивно отодвинулся.

- Даже если я и попал в западню, так почему мне следует за бесценок свободу отдавать? – Поднялось. Я-оно во все не было выше Поченгло, но, по крайней мере, выломалось из позы беспомощности и угнетенности. Директор сделал очередной шаг назад. – Приятель, значит! – рыкнуло с ядовитым презрением. – Доверенное лицо! Рука помощи!

Областник выпучил глаза.

- Да что вас за дьявол опутал!

- Идите, бегите уже, празднуйте свое Свободославие!

Тот захлопал глазами, плотный отьем выступил на лице. Несколько пройдя в себя, он провел рукой перед лицом, как бы желая отодрать от горла липкую тьмечь.

- Понял. – Выходит, он все просчитал. – Вы никогда мне не простите, что выпустили ее из рук.

Пробило десять часов. Пошло в спальню, затянуло шторы и на подоконнике окна, выходящего на Ангару, между тканью и мираже-стеклом, поставило зажженную керосиновую лампу. Все остальные лампы в комнате погасило. Метель, похоже, теряла силу, на реке можно было заметить больше санных огней-светлячков, ночное небо поблескивало более чистыми оттенками черного цвета.

Темный силуэт пробрался по комнате, сунулся между ступней – кот. Подняло его, вернулось в салон. Кот kleился к сорочке, терся головой о манишку. Что это на него напало? Уложило домашнего любимца у камина, возле тихо похрапывающей старухи Велицкой. Но он тут же потащился под стол, выписывая восьмерки вокруг его ножек, и вскарабкался на колени, едва уселись в кресле под часами.

Прогнал его только Мацусь, да и то, чтобы самому занять место кота – зевающий, сонный, потягивающийся и вертящийся – но нет, нет, в кроватку он не пойдет. Все дети проснулись, возможно, от возбужденных голосов взрослых, или от общего шума и гама постоянного движения, или, может, менее очевидным способом им передалось напряжение, уже пропитавшее весь дом, та атмосфера ожидания неизбежного, громадного и пугающего известия. Панна Марта, спешно закутавшись в платки и шали, побежала к соседям – старому чиновничью семейству через пару домов по улице; вернулась с известиями о столь же неясных беспокойствах. Там пересматривали старые бумаги в секретерах и прятали золото. Я-оно никому не сообщило о новости, принесенной директором Поченгло, про то рекомендательное письмо на эшафот. Тем временем прибыл господин Юше с другими неприятными слухами; еврейские банкиры, похоже семьи и богатства свои ночью собирали и, скорее всего, собирались как можно скорее бежать из Иркутска. Пан Войслав, нацепив на нос серебряное пенсне, писал за столом одно письмо за другим, высыпая их в разные концы города с различными, даже наиболее молодыми, работниками. Слуги шмыгали по салону туда-сюда с чаем, кофе, с наливкой, с печеньем или вечерним бутербродом для гостя. Андрей Юше маршировал по трескучему паркету, размахивая длинными руками. Что же оно будет? Да что же оно будет! Может, и умнее было бы сбежать на какое-то время, спрятать еврейскую свою рожу от властей. Вы как думаете, господин Велицкий, вы сами остаетесь? Пан Войслав писал письма, свернувшаяся у него на коленях Михася дышала из-под его руки на покрываемые чернилами бумаги, подсовывая чистые листочки, весьма гордая своим временным постом младшего канцеляриста. Теперь Юше пристал к Модесту Павловичу. А вы, господин наш мудрый, что вы скажете? Чего вы ожидаете? Где вообще вам следует сидеть в такую ночь, не здесь же? Адвокат Кужменьев забурчал в бороду, поглядывая на господина Юше из-под густых бровей. Именно здесь, ответил, я ожидаю, то ли генерал-губернатор Богу душу отдаст, то ли при жизни и власти останется.

Очнулась старуха Велицкая; завернув на пораженном артритом пальце нитку-мулине словно четки, начала она читать прямо в огонь тревожную молитву. – *Omnem spem et consolationem meam, omnes angustias et miseras meas<sup>93</sup>...* – Над головой тикали большие часы, в мыслях сталкивались цифры. Сидело молча, поглаживая Мацуся по всклокоченным волосикам и наслаждаясь этой горько-соленой сatisfaktioney – словно благородным осознанием совершенной измены – что, вот же, я-оно совершенно не боится, не дрожит при каждом скрипе дверей и топоте ног слуг, не ожидает в напряжении нашествия жандармов. Придут, так придут; не придут, значит, не придут. Снова – это был один из таких моментов – подумал о панне Юлии. Панна Юлия, отец – в памяти ни одного из этих персонажей не могло представить дрожащим в тревоге пред неясным будущим. Поражение – значит, поражение; что же, случилось, теперь идем на катогру или выскакиваем в окно. То, чего не существует – прошлое; будущее – не имеет над ними никакой власти. Никто их не устыдит. Не то, чтобы были они неустрешимыми – но чего бояться прежде всего? Разве что, себя самих. И отец, и панна Юлия строили великие планы – независимой Польши, комфортной жизни – которые, не по их вине, не исполнились. (А чья вообще была вина?) Часы пробили одиннадцать раз. В полночь нужно будет заменить лампу на тевечку. Быть может, японцы и увидят знак, быть может, им удастся организовать побег. А может, и нет.

Леволюция будет? – допытывается Мацусь, свернувшись клубком. (Леволюция снится ему каким-то пегнаровым драконом, пожирающим людей, рубли и игрушки, и порождающим только сонных рабов). Сегодня придет? Нет, революция не придет. Это уже другая сказка, королевская. Сказку, сказку, пускай дядя расскажет сказку! – тут же требует малыш. Вот я-оно и рассказывает сказку – о старом короле, который, схваченный врагами, обратился к чародейскому, запретному знанию и сбежал от земных преследователей в подземные страны, в Перевернутый Мир, где черное Солнце с ломанными лучами морозит железные пастбища, по которым галопом проносятся мамонты, а духи питаются тенями жизни, пока не соберут из них достаточно силы, чтобы пробиться в верхний мир, к сыновьям и дочерям Тела. Король, сойдя к мамонтам, сам отдал свое тело земле. Десятки чародеев и великих государей пытались: не прошли; но король – это, что ни говори, всегда король. Только с каждым днем было ему под черным Солнцем все холоднее и холоднее, и он все сильнее замерзал на лугах ржавого металла, выросла у него борода из сосулек, кровь в холодный камень обернулась, волосы и неем покрылись, кожа словно зеркало сделалась. Когда он пытался вернуться из тьвыта на свет Божий, только лишь ледником громадным, таким же неуклюжим и медлительным на поверхность земли всплывал – люди вокруг него мерзали словно развеселившиеся светлячки-червячки, шмыг-шмыг, и уже нет их; а если королю удавалось кого-то из них коснуться, тот сейчас же гас и, замороженный, умирал; когда же король пытался к кому-нибудь обратиться, заговорить – то извлекал из себя только вой сибирской пурги; когда же решил отомстить своим давним неприятелям, то ему даже мстить не захотелось, таким холодным он сделался. Что же делать ему, с мамонтами мерзнуть до скончания веков? Ага, забыл тебе сказать, имелся у короля храбрый сын – который был еще маленьким, чтобы вначале отцу помочь, когда поймали его враги, но теперь он прибыл на зов отцовский и... – И как же королевич его спасет? Сам спустится в Подземный Мир? Он ведь тоже замерзнет. Подойдет к ледяному отцу – так даже коснуться его не сможет, чудовищный мороз на месте его убьет, превратив в лед молодое тело. Как же королевичу вытащить короля из страны мамонтов?

- Он отдаст сокровище, – решительно заявил Мацусь.
- Сокровище?
- Нужно что-нибудь за что-нибудь отдать. Тогда чары волшебников отпускают.
- Так нету же никакого волшебника, который короля заколдовал. Король сам сошел в Лед.

<sup>93</sup> Все мои надежды и утешения, все мои тяготы... (лат.)

- Тогда, должно быть, он купил секрет у волшебника! – стоит на своем мальчик
- Нет, нет, король сам таким уродился.
- А он ничего не потерял? Колечка золотого, волшебного меча... о, крестика? Должен был потерять!
- Погоди, погоди, Мацусь. Он вообще без ничего пошел, совсем голенький.
- Голенький? – захихикал мальчик и повернулся на коленях. – Король голенький?
- Ну да.
- Тогда, может... может, чего-то ему дать нужно? Чего у него нет. Чего у короля больше всего нет?
- Лжи.

Полчаса до полуночи, мертвецы разминают кости, за окном тишина, зато трещит весь разогревшийся дом на Цветистой, когда *mademoiselle* Филиппов мчит по лестницам, коридорам и комнатам словно торнадо, парящее тьметистым дыханием, разбрасывая по сторонам черные снежинки. Пани Галинка лишь на мгновение сумела ее задержать, *mademoiselle* Филиппов лишь шапку да калейдоскопические очки сбросила да выдохнула на ходу пару слов объяснения. Маленький Петр-Павел, надежно спрятанный за материнской юбкой, провел разгоряченную американскую девушку своими громадными глазами.

Поднялось, ссаживая Мацуся с колен. Кристина послала мальчику бледную улыбку, но не теряла ни секунды на вежливости да приветствия, сразу же бросила по-французски:

- Четыре часа ночи, под памятником царю Александру, пакуйте вещи!
- Кто?
- Тунгусы на ваших упряжках.
- Был господин Урьяш от губернатора?
- Нет.

Велицкие, и господин Юше, и даже старый Кужменьев внимательно прислушивались. Попросило *mademoiselle* Филиппов пройти ко мне в комнату. Двери прикрыло, гогой отгоняя кота. Зажгло только одну лампу на стойке; светени на стенах побледнели и сползли на предметы мебели и в щели пола.

- А вы? Панна Кристина, губернатор, выступивший против царя, в первую очередь избавится от доктора Теслы; вы же сидите там под охраной его казаков. От Победоносцева он вас там защищал? Нет, для себя стерег! Один приказ из Цитадели, и *finito*<sup>94</sup>. Бегите! Транссиб закрыт, но тунгусы должны быть мне верны, и...

Девушка сняла перчатки, энергично сбросила шубу на кресло. Морозный румянец разрисовал ей щеки, на толстой косе искрились хрустальные снежинки. Она скимала губки.

- Так что же такое я про вас слышу, господин Бенедикт, будто вы в заговоре на жизнь губернатора участвуете?
- Откуда вы такие слухи...

- Только что к нам заскочил господин Порфирий. Никола, несмотря на ваше предостережение, естественно, бежать и не думал, и когда к нам заскочил директор Поченгло... Но каков же нахал! В свою очередь, а что это вы ему такого наговорили обо мне? Мне казалось, что он нас силой собрался похитить, уже не директор – а прямо дикарь какой-то. Мужчины!... – фыркнула она, не совсем убедительно, и замахала ручкой, к груди поднятой, чтобы через силу пойти против потока мыслей. – Но – но, что это вам в голову стукнуло!

- Но ведь все это не так...
- А что, может снова, как в Транссибирском Экспрессе, чужая рука окутала вас в ложь, а вы и не заметили как – и так же здорово та на вас лежит, что всех вокруг в обман и вводит?

- Нет – подобное было невозможным, не в Краю Лютов. – Нет, панна Кристина. Не знаю, чего вам там наговорил пан Порфирий, но, видите ли, в одном вы точно не правы: здесь правду создают. – Недавние покупки от Раппопорта лежали у комода. Вытащило кожаные саквояжи и войлочные выюки, начало собираться. Для начала, все содержимое шкафа вывалило на кровать. В полумраке зимней ночи, под бледными светенями и робким керосиновым светом, за затянутыми от пурги шторами – я-оно отделяло одни материальные вещи от других, словно одну жизнь от другой. – Не все, панна Кристина, что будет когда-то правдой, было правдой когда-то, ранее; не всякое мнение, которое сегодня истинно, было таким вчера, или же то мнение, что было вчера правдивым, было таким же и когда-то. Имеются такие мнения, которые делаются правдами в определенный момент; имеются мнения, которые делают правдами, истинность которых создают. Я... замерзал. Замерз. И лишь сейчас – возможно, последним, но так оно и бывает, ведь существуют и необычные, исключительные люди Льда, которыми не управляют зеркала – и только сейчас я убеждаюсь, во что замерз, в кого.

- В кого же?

Я-оно меланхолически усмехнулось, уже без какого-либо напряжения, без нервов и страха.

- Вы же и сами видите.

Перешло на другую сторону кровати, куда слуги уложили разношенные, пропитанные жиром сапоги, и девушка быстро отступила.

- Выходит, - наморщила она носик, - это все-таки правда.

- А является ли правдой то, будто бы граф Шульц встал против царя, чтобы выкроить для себя Сибирскую Державу? Мы не знаем. Ошибается ли царь, карава его за измену? Нет! Ведь граф Шульц – это такой человек. Все, что случилось или не случилось – чем все это является по отношению к правде идей, правде духа? То, что все планы рухнули, что я не найду отца и не поторгуясь с лютами – какое это имеет значение? Я замерз Сыном Мороза. Одиннадцать дней с тех пор,

<sup>94</sup> Здесь: Все кончено.

как я последний раз откачивал тьмечь. Я играю Историей. Составляю Алгоритму Исторических Процессов. Высчитываю против царя. Вот какова правда, *mademoiselle*.

Кристина устроилась в моем кресле, проваливаясь в криво разложенной шубе, маленькая девочка в объятиях мохнатого зверя. Вернулось воспоминание – из-за пределов Льда, следовательно, воспоминание о ни правдивом, ни лживом прошлом – о первом с ней разговоре, о встрече на уральском склоне, под небом Европы и Азии, о ее разоружающей заботе о докторе Тесле. Как замерзла Кристина Филиппов в Краю Людов? Розоволикий ангел стыда – замерзнет ли когда-нибудь? Если бы я-оно не бросило ее на губернаторском балу...

- Я должен перед вами извиниться.

Девушка подняла головку.

- За что?

- За все мое поведение. На балу и...

- Но ведь на самом деле...

- Мне не хотелось бы, чтобы вы запомнили меня таким...

- Кем?

- Высокомерным типом. – Опустившись рядом с ней на колени, чмокнуло в холодное запястье. – *Je suis désolé, pardonnez-moi, je vous en prie.*<sup>95</sup>

- Вы и вправду уже больше не откачивались.

Один взгляд и другой, образовывалась симметрия пагубной интимности; но взгляд не отвел.

- Нет. Более того, панна Кристина, я и не хочу больше откачиваться.

Девушка усмехнулась; но в улыбке была фальшь, потому она ее убрала с лица.

- Скажите мне, только от всего сердца: почему вы отпустили Еленку?

- Да как же я мог не отпустить ее в санаторий?

Кристина надула губки.

- Вы же понимаете, что я имею в виду.

- Да. – Вздохнуло. – Я не могу вам ответить.

- Вы не желаете!

Сжало ее ладонь.

- Нет, панна Кристина, вообще-то хочу, желаю. Но... Это лишь здесь, лютовчикам, людям Зимы, только лишь им и Измаилам дана эта уверенность, эта геометрическая последовательность формы души. Ведь я же тогда систематически откачивал тьмечь, был ребенком огня. А мы, люди Лета. Мы, да что мы... Дым, мотылек, радуга. – Пыхнуло из надутых щек, махнуло рукой сквозь выдох. – Делаем что-то или не делаем, а потом всю оставшуюся жизнь ломаем голову, ну почему поступили именно так.

...Отпускаю ее, не знаю, зачем; не отпускаю ее, не знаю, зачем; отпускаю или не отпускаю, точно так же, без причины, которую мог бы вам высказать. Убегаю из Иркутска, не знаю, зачем; не убегаю, тоже не знаю, зачем; убегаю или не убегаю, объяснить не могу. Ищу отца, зачем, высказать не могу; не ищу отца, зачем, почему, не выскажу; ищу или не ищу – одинаковая тайна. Створю что-то плохое, злое, не найду в себе аргумента ни за, ни против; сделаю нечто плохое или хорющее, точно так же, без какой-либо причины, которую можно выразить аргументом за или против.

- Какое великолепное оправдание всяческих недостойных поступков!

- Я и не оправдываюсь. Беру ответственность.

- Ответственность? Какую еще ответственность! Ведь вы же считаете, будто бы и не существуете!

- В том-то и оно. – Снова махнуло рукой.

Кристина в возмущении вырвала руку. Вернулось к сборам. Девушка сидела, не до конца завернувшись в темную шубу, прикрытая полутенью-полусветенем, растирая так и не разогревшиеся ручки. Кот, несмотря ни на что, влез в комнату; потерся о ножки гости и тут же вскочил на кровать. Хлопнуло его свернутыми рубашками. Тот выпустил когти.

- Не понимаю, как вы так можете... – продолжала Кристина, обращаясь в воздух. – Не существуете – а ведь и дальше, как остальные, работаете, разговариваете, среди людей живете...

- Вы не понимаете, Кристина... ведь я жил, я-оно жило так с самого рождения. И что изменилось? Только и того, что появилась дополнительная точка зрения, – указало на заднюю часть шеи, – точка на сзади головы, откуда все это видно в правде, то есть, во всем не-существовании.

- Не верю. Это какое-то безумие.

- Наоборот: как раз это и есть выход из безумия. Все мы в Лете поддаемся этому миражу, тому обману языка, обычая, межчеловеческих договоренностей: будто бы мы существуем. Правда ясна для нас с самого начала – с самого рождения: мы не скажем "я", пока мать, нянька, наша семья нас не заставят. А потом уже одна ложь наслаждается на другую, одни привычки подкрепляют другие привычки, пока мы совсем не забываем, что возможен и другой язык, не подвешенный на межчеловеческих обманах, не вынутый из кривых зеркальных отражений – язык правды, язык того, что предваряет "я" и слова, этим "я" высказываемые. Нам и в голову не придет задать себе вопрос...! Двигается рука, поднимает предмет, – поднял пачку книг, обвязанных шлагатом, – и говорим: "я поднял". И так оно и идет – мы наблюдаем за телом в серебряных отражениях, в зеркалах чужих глаз, рассказываем о себе их языками, которые ведь тоже родом из внешнего мира, запихиваем себе чувства и мысли материей – и так оно нарастает – "я", "я", "я".

- Но ведь теперь вы говорите, будто бы вообще никто не существует.

<sup>95</sup> Я сожалею, прости меня, пожалуйста (фр.)

- Возможно, имеются такие люди... которые думают, будто бы существуют, и существуют на самом деле. Те, что замерзли во всей собственной единоправде. Кристаллизовавшаяся живая правда. Возможно. Но мы – то, что язык воспринимает под словом "мы" – уже так нажрались материей, что окончательным доказательством существования принимаем связь того, что мыслит, с тем, что ощущает тело.

...Быть может, панна Кристина слышала про хирургические эксперименты, в ходе которых доктора рассекают мозг сумасшедшего надвое? Мой приятель, который на врача учится, рассказывал мне о подобных попытках. Рраз, и вместо одного – уже двое сумасшедших. Вот какова непоколебимая основа всякой истины, что ее разрезает любой скальпель! Пытаешься понять "безумие", мое? А теперь проведите обратный *gedanken experiment*<sup>96</sup>: анти-разрез. Один безумец – и ноль безумцев.

- Вы забираете с собой эти книжки?

- То, чего еще не прочитал. А что мне еще останется делать в изгнании?

- Изгнании?

- Милая моя Кристинка, позволь мне хотя бы попробовать! – воскликнуло вполголоса. – С господином Щекельниковым, с людьми из Обсерватории, со Степаном, с помощью тунгусов – как-нибудь устроим. Самое большое, дадим ему по голове и вытащим бессознательного – зато вы спасете жизни!

- Не надо, – тихо ответила она. – Вы же знаете... это же такой человек...

Я-оно тихонько рассмеялось.

- Так. – Внимательно глянуло на нее. – Как вы считаете, удастся ли вообще покинуть город?

- Фаталист?

- Нет, просто до сих пор все планы... Хорошо, скажем, тунгусы укроют меня в каком-то никому не ведомом стойбище – на месяц? два? За это время в Иркутске все может повернуться как туда, так и назад, и навыворот. За пределами Края Лютов я бы попытался воспользоваться беспроводным телеграфом, но здесь... – Высыпало на одеяло варшавские вещи, математические черновики, оригинал зашифрованного письма от пилсудчиков, незаконченное письмо панне Юлии, карточную колоду Фредерика Вельца...

Выпрямилось.

- Когда вы выходили – Молот бил?

Кристина открыла рот и заглотнула очевидность; в глазах поплыла тьмечь.

- Да.

Быстро перетасовало карты и, продолжая тасовать, начало выкладывать их на кровать рядами.

- Хорошо. Я запишу вам процедуру для доктора. Не знаю, какой у этого радиус действия по Дорогам Мамонтов, но, пока будет такая возможность, пускай бьет.

Усевшись за столом, быстро написало несколько предложений на латыни. *Mademoiselle* заботливо спрятала листок. Она морщила брови, приглядываясь, как я-оно собирает карты с кровати.

- Это шутка? Вы смеетесь.

- Oh, c'est rien<sup>97</sup>. Подарок от приятеля, которого уже нет. – Пожало плечами. – Фокусы разума, панна Кристина, я ведь рассказывал вам, как обманывает нас память исполнившихся гороскопов. Прочитаешь тысячу, но запомнишь тот один, который сбылся. – Тряхнуло коробочкой с колодой Пятника. – Предсказание! – фыркнуло с сарказмом. – Дар судьбы!

Танец, пули для Гроссмейстера, карты из рук вдовы Вельц – они притягивают внимание, поскольку можно легко указать на противоречия прошлого и будущего, все в единой памяти; но сколько же подобных мелочей (а может, и не мелочей, но совершенно даже ключевых событий), будучи порождены за пределами замороженной Истории, выдают себя за Правду совершенно незаметно? За пределами Зимы, за границами Льда – Варшава? Вилькувка? Отец, мать? Бронек, Эмилька, панна Юлия? Было? Не было? Так или иначе, это все ложь.

Счастливы те, что были рождены на земле лютов! Они не обязаны помнить, не должны знать правды – они сами правда. Говорится: "замерзло". Но кто это говорит? Урожденные лютовчики не будут знать такого *изречения*. Самое большое: "растаяло, растопилось".

Пробила полночь. Подумало о лампе и темечке – стоит ли? Что-то мелькнуло в щели двери – это Мацусь подглядывал, при克莱ившись носиком к дверной коробке. Погрозило ему пальцем. Топ-топ-топ, убежал.

Зажгло тевечку, поставило ее на подоконник вместо лампы; после того, как задвинуло шторы, в комнате сделалось светлее.

*Mademoiselle* Кристина мгновенно поняла и эту очевидность.

- Кто снова?

- Японцы Пилсудского. У меня был с ним договор, что вывезут вас безопасно. Разве я не говорил вам?

- Вы и вправду вмерзли во все это с сапогами.

- Ба! Но если бы они все-таки...

- Я так не могу, господин Бенедикт, это вы у нас математик. – Она продела руки в рукава шубы, поднялась. – Мне нужно возвращаться к Николе. Вы тут, слушаем, не выдумаете ничего глупого, как только уйду?

Показало на вещи.

- Замерзло. Четыре часа, под памятником императору Александру.

- Хорошо. А то мне уже казалось, будто вы совсем не собираете спасаться, – вздохнула девушка.

<sup>96</sup> Умственный эксперимент (нем.)

<sup>97</sup> Нисколько (фр.)

После чего случились три коротких шага и быстрый поцелуй в заросшую щеку.

- И за что же это было? – удивилось.

- Мой подарок! На день рождения! Господина Бенедикта! – воскликала она от порога и из-за порога, уже закрученная в торнадо черного меха и светлой косы, сбегая спешно тем же самым путем через комнаты, коридоры, лестницу, сквозь трещащий дом.

Слуга снес багаж в сени. (Всего получилось шесть выюков и чемодан – похоже, я-оно успело обрасти здесь мещанским имуществом). Господин Щекельников уже спал; разбудили его дуболомы-охранники. Тот вышел мрачный, словно плач с похмелья. Попросив его отойти в сторонку, рассказало ему простыми словами, что оно и как.

- Значит, господин уважаемый генерал-губернатора заколоть приказал.

Не подтвердил. Не стало отрицать.

- Ага. – Он покачал головой. - Ну да. Ну так.

Точно так же он мог ударить себя кулакищем в медвежью грудь и зарычать: "Замерзло!". Так что вовсе и не нужно черных зорь на небе, не нужно густой тьмечи между одним и другим человеком; тем более, не нужно всего этого рядить в неуклюжие слова второго рода, подыскивать метафоры, приближения. Глядишь и знаешь. В этот момент впервые понимало всю единоправду без закрученных операций в Математике Характера, одним лишь животным инстинктом – чувством правды – которым с такой легкостью пользуются здесь люди покроя доктора Мышиливского или одноглазого Ерофея. Ничего удивительного, что на вопросы, в отчаянии выкрикиваемые над пустой могилой, мартыновец отвечал лишь молчанием и символичным жестом. Да и что тут можно объяснить? Что один человек считает, будто бы правда такая, а другой – совершенно иная? Из всего этого дитя Лета поймет лишь вот что: а, различие мнений. А ведь – и это очевидно – правда одна, твердая будто алмаз, надежная как... как дважды два – четыре.

Это только насос Котарбинского все перемешивал, выворачивал, затемнял, придавал лжи.

- Император, - сказал.

- Император. Ну, хорошая история. – Щекельников глянул своим ящериным глазом. – Уж я говорил, пора вам, господин Ге.

- Пора.

- Так как?

- Четыре часа, бульвар над Ангарой.

Чингиз протянул свою квадратную лапищу, я-оно крепко пожало ее.

- Ну, нечего тут больше черта искушать.

Отправился запрягать сани.

Знало: Чингиз Щекельников.

Возвратилось наверх попрощаться с Велицкими. Господин Юше тем временем выпросился в другой дом, в другой компании паниковать; снова выбежала и панна Марта. Петрусь заснул в объятиях пана Войслава, перевесившись на могу-чей руке и вцепившись пальчиками в отцовскую бороду. Велицкий поднялся на прощание, не будя мальца, приклеившегося ему к груди; не говоря ни слова подал руку. Петрусь пошевелился во сне, когда я-оно пожало руку хозяину дома; пошевелился, что-то простонал и сунул палец в ротик. Мацусь и Михася присматривались из-под стола, через крупные кружева скатерти.

Пани Галина принесла из кухни горячие пирожки, завернутые в льняную салфетку. Тихо поблагодарило, поцеловало руку, припорошенную мукой. Она импульсивно притянула в сердечное объятие, склоненную голову прижимая к своей груди. Нежность вступила в горло, раздражая горталь и увлажняя глаза. В голове блеснуло незамороженное прошлое: княгиня Блуцкая в Транссибирском Экспрессе, та же растроганность.

- За отцом отправляешься? – шепнула пани Велицкая. – А почему бы вам не отправиться на поиски матери?

- Простите. – Откашлялось. – Не следовало мне и детей, и вас опасностям подвергать. Я понимаю... не в такую семью, не в такой дом... Слишком добры вы были ко мне. Никогда еще лучшего мне... только...

- Да, да, да.

Знало: пани Галина Велицкая.

Она благословила, вычерчивая крест на лбу и груди. С теплым пакетиком под мышкой быстро обернулось к двери. Старик Григорий подал шубу, шапку, шали. Топ-топ-топ за спиной. Глянуло сквозь мираже-стекла. Мацусь и Михася стояли на пороге, глазки кругленькие, ротики подковкой.

- Дядя вернется, - сказало, натягивая рукавицы. – Вернется, вернется.

Только они были детьми Зимы, урожденными лютовчиками. Отвернулись от лжи и со слезами убежали.

Господин Щекельников погасил лампы на санях. Метель уже совершенно прекратилась. Даже ветер умчался куда-то с иркутских улиц, так что теперь громадные сугробы и пандусы обледеневшего снега высотой в два этажа представали теперь под радужным сиянием мираже-стекольных фонарей неподвижными монументами, валами бурного океана, остановленными в средине конвульсий; и даже цвета были соответственными, то есть, морскими, зеленовато-синеватыми, вот каким был этот ночной пейзаж Города Льда под обвалами свежего снега. Неподвижным, да, и еще тихим, невозможнно, не-человечески тихим был город, когда ехало через него в санях, запряженных тройкой, с господином Щекельниковым на облучке, с практически обнаженным Гроссмейстером в кармане шубы, рукавицей сжимаемым. Я-оно оглянулось в зеленоватую перспективу Цветистой, порисованную геометрическими светенями от домов. Ни единой души, никакого шевеления.

- Куда? - спросило у спины Чингиза, и слово под звездным небом прозвучало громко, словно плач в церкви. – Сразу к памятнику?

- Три часа, господин Ге, где-то переждать надо.

- В такую пору? Где?

- Там, куда никто вас искать не станет, в малине старых убийц.

Подвальный кабак закоперщиков размещался сразу же по второй, уйской стороне Ангары, хотя, говоря по правде, вовсе и не было уверенности в том, был ли это уже противоположный берег, либо все еще сама замороженная река, в которой, прямо во льду, под угольными складами вырубили невысокие подвалы, где беспризорные бродяги и бандиты самого подлого пошиба просиживали все ночи над самой паршивой и самой дешевой водкой. Туда следовало спуститься по кривым, пробитым в мерзлоте ступеням. Стены светились бледно-перламутровым светом; Черное Сияние вырисовывало в них и на потолке гипнотические фигуры, неспешно переваливающиеся во льду словно черно-белые тюлени, моржи, киты. Не раз случалось, что какой-нибудь упившийся до положения риз бандюга видел в этом месте выход мамонтов и в сонном трансе бросался на них, стуча в стены лавкой и бутылью, мордой собственной и кулаком, тыча в них ножом или даже паля из револьвера. Лед примерзкал, замерзкал и отмерзкал. Вот здесь, показал господин Щекельников, красная метка от рожи Шведа-Злоеда, вот тут – пуля Ивана Григорьевича Кута, званого Пиздобитом, потому что нападал он на уличных девок, забирая у них все, до бельышка, чтобы собрать себе на билет в Золотую Калифорнию; а вот – шмат шкуры со щеки, упокой его Господи, Липки от Банки; а вот здесь – мой зуб. После чего Чингиз отвернулся и продемонстрировал один из живописных щербин в зубном ряду. Понимание и признание выразило урчанием. Щекельников заказал водки. Содержатель ма-лины поднялся из своей берлоги, отворил броневой ларец и достал бутыль наполовину замороженного самогоня. За поясом казацкой шинели хозяина висел топорик, где-то с пол-аршина длиной.

- Двери часто замерзают, - пояснил Щекельников и вырвал пробку щербатыми зубами.

Осторожно глотнуло. Расстегнув шубу, глянуло на часы. Семнадцать минут второго. О чём можно два с половиной часа болтать с отпетым преступником в забегаловке для воров и убийц?

В воздухе здесь висел смрадный пар, мгла, выделяемая сырьими стенами и грязными, немытыми телами. Дышало через шарф-маску. Только очки сняло. В тумане и в жемчужных стенах проплывали невыразительные, тенистые формы.

- Того японца, что вы зарезали тогда, под конторой Горчиньского...

- Да?

- Я все размышлял, зачем вы это сделали. – Засмеялось глухо в бороду и шаль. – Разве для того Велицкий вас нанял, ради того заплатил?

- А вы того не понимали?

- Нет, - покачал головой, - не видел и не понимал.

Чингиз выпил стакан до дна.

- И как это вас раньше волки не сожрали, прошу прощения такую жертву собственной наивности, ...

- Вы меня пожалели.

- Как старик молодого пожалеет, так молодой старика не простит. Вон, тот самый Липко взял как-то с мороза полу-дикаря голодающего, в хату привел, еды не скучился, по городу водил. Все видели, все знали, только не Липко; говорили ему: да брось ты инородца проклятого, он же и в глаза не криво глянуть не способен. Только Липко упрямый был. Так дикарь его как-то ночью его и пришил, и в тайгу, на голодовку снова ушел.

- Такой характер.

- Ага, такой характер

Очередной стаканчик.

- А вы, господин Ге, пример другой.

- Слушаю?

Чингиз сгорбился над неровной столешницей, подмигнул конфиденциально, словно договариваясь на скрытое убийство.

- А вы – благородный сукин сын, вот!

- Поясните.

- Слушай сюда, кто пережил, тот по божескому провидению умнее, чем все те сукины сыны, что по могилам теперь лежат! – Щекельников выдохнул тьмечью. – И правда такова: что один хуй, что другой – все одинаковы.

...Хаживал я по полночным тропам под флагом Сибиржожето и не Сибиржожето, под камандирами разными, и как-то поздней весной попался мне один такой вынош, только-только после школ европейских, желторотик совсем, бедняга, геодезистом главным нам назначенный. Ну, пошли мы с господином геодезистом. И оказалось тут, что у мальчишки кровь таки благородная. Все над ним посмеивались, ведь никакого понимания в самых простых, сибирских вещах он не имел, так что никто его особо и не праздновал; он даже посрать подальше уходил, стыдился сильно. Нелюдим, опять же, был страшный, потому что заика был, и целыми днями – ни слова, разве что пару цифр каких процедит. Ага, направились мы под Якутск, двое бедняг несчастных с нами уже было, сильно помороженных, половину оленей волки уже пожрали; там мы должны были встретиться с основной экспедицией компании. Так вот, обоз, и правда, имеется, стоит, разграбленный полностью, и люди пострелянные на снегу валяются, присыпанные уже, тоже надгрызенные. Какие-то бродяги напали, видно, раньше. А до Якутска еще верст две с лишком, а у нас: спирту всего ничего, жратвы тоже на донышке, животные чуть не дохнут, и новая пурга готовится. Руководитель наш главный, как увидел, в чем дело, сплюнул; только мы его и видели, а с ним три самых лучших оленя. Ого, думаю себе, хана господину Щекельникову. А тут наш малец-геодезист вытаскивает наган, в младшего руководителя целит и говорит так: он меня в город повезет, одну упряжку возьмем, вы же последнего, самого слабого оленя зарежьте и устройтесь здесь со всем оборудованием, метель переждать, я же вас найду и помочь приведу. Взял и поехал. А через неделю вернулся с запасами и спас всех нас.

- Ну и?

Господин Щекельников глянул симметрично.

- А ничего. Что один хуй, что другой – все одинаковы.
- Хффх! Сказки про героев сибирских, чтобы настроение поднять!

Тот покачал пальцем в рукавице. Я-оно оскалилось из-за шарфа.

- Это ж какой почет для малины бродяг старых и преступников, - сказал Чингиз, - потому что бывали тут шулера, бандиты, скупщики краденого, даже мятежники, только никогда еще не пил тут убийца генерал-губернатора и личный неприятель Царя-Батюшки!

Так или иначе, не совершившееся более правдиво, чем совершенное. Не важно, что удалось тебе в порядке материи переменить – рука, нога, рука, нога, рука, нога и так до могилы – важно, каким ты человеком замерз. В чем больше открывается: в правде материи или ее фальши, что отражает правду духа?

Подняло стакан.

- За наших врагов!
- За врагов! Чтоб черт им жопы салом мазал!

После чего грохнуло стаканом в стену. Осколки вгрызлись в мерзлоту. Лед заплавит их, войдут они в черно-белый фон, на память о вечном. Во, здесь вот: водка Сына Мороза.

Под памятником Александру III тунгусы появились задолго до условленного времени; когда подъехало туда без четверти четыре, они уже ожидали при низких, длинных, тяжело нагруженных санях, запряженных в четверку оленей. Сани, с их широкими, гибкими положениями и прижатым к земле центром тяжести, предназначены были не для мостовых Иркутска, а для забайкальского бездорожья. Из спешного чирикания Тигрия Этматова и двух его родичей поняло только то, что из Обсерватории выехали они не без хлопот, по-видимому, дракой закончившихся. С кем они там стычку имели – с Теслой? с казаками Шульца? с царским войском, уже насланным князем Блуцким? Светени высвечивали длинные и резкие формы; царь Александр на памятнике стоял в солдатской позе, в мундире и при шпаге, над массивным резным изображением двухглавого орла, хищно выгнувшимся к находящимся снизу жертвам. Этматов подпрыгивал на месте, сильно возбужденный. Подняло голову, но самого лица статуи увидеть не смогло.

Тем временем туман залил город, словно бельмо – старческий глаз. Мороз стоял сороковиковый, то есть, значительно ниже сорока градусов, скорее даже, к минус семидесяти в это время ночи. У тунгусов, закутавшимся в шкуры и меха с тряпками до щелки, предназначенный для глаз, быстро померзли гортани, так что после кашля и хрюка они поскорее перешли в состояние чуткого молчания. Животные парили угловатыми облаками тени. Снег под ногами трещал словно битое стекло, то есть, очень громко в этой пустынной, бело-радужноцветной бесконечности. Туман – густевшая, сметанно-кисленная мгла – плотно заклеил площади, бульвары, проспекты вплоть до крыш самых высоких домов. Даже спины люта, вымерзшегося неподалеку, по направлению к Конному Острову, не было видно. Явно попрятались в тепло и буряты-глашатаи, поскольку пульс их шаманских бубнов не нарушал тишины. Сквозь туман просачивались лишь калейдоскопические разливы красок от мираже-стекольных фонарей – и угольно-черные симфонии из небесных органов Черного Сияния.

Показало жестами, что вначале следовало бы выехать за город, и только после того заняться перегрузкой и разделом багажа. – *Ня?* – харкнул Тигрий и расхрипелся не на шутку; хрюя, он размахивал короткими руками во все стороны света, разбрасывая трепещущие тени в монументальной светени Александра III. Поняло, что тот спрашивает, в какую сторону из города выезжать следует. Встало на санях за господином Щекельниковым, разглядываясь по ночной белизне. По правде говоря... Говоря по правде...

Мгла удержала их звуки, пока те не выехали на саму площадь, но потом сразу же их все освободила: копыта на снегу, треск упряжи, щелчки ружей, хрюпое дыхание животных и короткие военные команды. Господин Щекельников, не раздумывая, хлестнул коренника, сани дернули, полетело в багажи. Выкарабкавшись из мягких выхотов, увидало над задней спинкой саней появляющиеся из радужной мглы силуэты всадников, словно духи, выплевываемые из бездны. Те же самые краски проплывали и по туману, и по снегу, и по лошадям с солдатами – вот только значительно скорее стекали в них же и вытекали из их конкретных очертаний. Только не было это и каким-то скорым, рваным, военным движением; все перемещалось в каком-то замедлении, сгущении, как... как... словно тени мамонтов в стенах подречной малины иркутских убийц. Возможно, и не следовало было пить водку с Чингизом... Судорожно держалось за трясущиеся сани, сам господин Щекельников обкладывал лошадей кнутом. Туманноцветные гусары шли в ночной тиши полу шагом, впереди высокий офицер с мерцающей обнаженной саблей. Узнало его, несмотря на плотно обвязанное шарфом лицо, так что даже кончик усов не выступал; узнало его по тени и светени, такова была очевидность.

Два всадника отделились, двигаясь за санями тунгусов, которые тем временем свернули с Главной на Урицкого. Солдаты кричали туземцам, чтобы те остановились; их голоса быстро поглотила мгла. Капитан Фретт не кричал. Радужные силуэты гусар с каждой секундой делались все громадней. Один из них рванул коня, встал в стременах – фонарь окрасил толстое, неуклюжее пугало, со стволом, торчащим от башки, больше похожее на пегнарова голема – затаило дыхание, только выстрел не прозвучал. Всадник убрал карабин, зато обнажил саблю. Все они обнажили сабли – байкальские, ледовые гусары идут в атаку, рубя и давя копытами коней, когда мороз блокирует замки огнестрельного оружия. Господин Щекельников хлестнул кнутом. Но ведь это ничего не даст, мигом догонят. Стреляют – значит хотят убить на месте. Капитан Фретт получил от князя приказ, как от самого святого государя, выполнит до последней запятой; а какую правду князь Блуцкий-Осеи познал о Бенедикте Герославском, прекрасно известно. А – значит В, С – значит и Д. Подскочило к Чингису, указало налево – тот свернул с бульвара в восточный проезд. Сразу же за углом выбросилось из саней в сугроб.

Не поднималось, не бежало – нет времени. Как упало в глубокий снег, так и лежало; снег тут же накрыл с головой. Поскольку я-оно было плотно завернуто в шубу и шали, то даже не чувствовало никакого особого холода. Словно сквозь

воск и пух слышало тяжкий четвертной галоп – шесть вдохов-выдохов, и он впитался в туман. Посчитало еще два десятка вдохов-выдохов и начало выкапываться из сугроба.

Поднявшись на ноги, сразу же отступило под стену дома. Лишь тогда поняло, что бегство не увенчается успехом – что нет никакой возможности запутать погоню на улицах Города Льда – поскольку увидало прошлое, то есть – небытие. В калейдоскопической, сливочной, сильно перемороженной мгле всяческое движение, всякий перемещаемый предмет оставлял за собой выбитые туннели "не-тумана", пустоты во мгле, резкие, словно вырезанные ножом коридоры, сложенные из всех бывших существований предмета. Отступая от сугроба к стене, потянуло за собой полосу "небытия" высотой и шириной с человека: четко существующее очертание не-существования. Махнуло рукой. Это движение зависло в тумане, и висит, и висеть будет – пока не вернется с Байкала в Иркутск ветер, то есть, наверняка, до самого рассвета.

Как же убежать, когда прошлое тянется за тобой негативом каждого прошедшего мгновения? От гусаров тоже остались громадные пассажи "не-тумана", пробитые посреди улицы, поворачивающие за угол в сторону бульвара над рекой.

Я-оно так и вошло в "не-лошади" и рысцой побежало в них назад, к памятнику Александру III.

Но уже через несколько шагов пришлось притормозить до ковыляющего прогулочного шага – любой чуть более быстрый вдох рвал горло и легкие в клочья. Мороза не победишь; в Краю Людов легко узнать температуру по тому, как люди ходят (да и вообще, ходят ли) по улицам. Исключены всяческие энергичные движения, заставляющие тело двигаться неожиданно и резко; сама уже одежда – толстая, многослойная, сковывающая члены – делает невозможным свободный шаг. Человек переваливается с ноги на ногу словно готовая лопнуть набитая тряпками кукла, словно пугало. Ну, и как тут убагать!

Оперлось о цоколь памятника. Здесь "небытие", пробивающее настоящее, было запутано сильнее всего. "Несани", "не-лошади", "не-люди" расходились на четыре стороны прошлого: замерзшее мгновение. Дыша медленно и мерно, вытащило Гроссмейстера, сняло последнюю тряпку с револьвера - ящера. Тот загорелся под Черным Сиянием отблеском святых образов. Пыталось выхватить ухом звук колокольцев, топот копыт по стеклу, людские голоса. Ничего. Ххрр-кххрр, ххрр-кхрр, хор-кхрр – одно только дыхание. Крепко стиснуло покрытые инеем веки. Да откуда же они тут взялись, Господи Иисусе?! Когда выезжало с Цветистой, мгла еще не заклеила улиц, не мог же Фретт направиться за "небытием" саней Щекельникова. Когда Фретта в город наслали? – час тому назад, два? Означает ли это, что Шульц в конце концов отдал Богу душу? Наверняка капитан получил от князя конкретный приказ: убить как можно скорее – это замерзло. Тот взял людей, поехал... На глазах Велицких убивать не стал бы, вывез бы за город. А вот могли слышать Кужменьев или Велицкие слова Кристины – когда та сообщала место и время встречи? Нет, нет, они не выдали – это тоже замерзло. Что же тогда сделал Фретт? Три места, где можно найти Бенедикта Герославского: Цветистая семнадцать; Физическая Обсерватория Императорской Академии Наук; Лаборатория Криофизики Круппа в Холодном Николаевске. Что он сделал – да, отправился в Обсерваторию. Впустили ли его казаки генерал-губернатора? Ведь Тесла тоже бы не предал. Но – инженер Яго! D, следовательно – E, следовательно и F. И потом достаточно было ехать за не-существующими санями тунгусов. А ведь они что-то предчувствовали – Черное Сияние на небе – увидели эту опасность. Я-оно видело его в светени царя Александра. Ибо, откуда Фретту было знать, до каких пор ожидать, а когда атаковать из тумана? Я-оно выдало себя каким-то неосторожным звуком? не-бурятским окриком? Нет, Фретт тоже увидел. Эта уверенность единоправды, эта необходимость словно логическое, гипнотическое принуждение под Черным Сиянием, та самая очевидность умственного озарения, которое уже испытывало на станции Старая Зима... Четкие очертания мамонтов от угольного солнца проплывают в радужно-цветном киселе "не-бытия". Замерзло.

Тштртук-тлук, копыта на обледеневшем фирне. Я-оно спряталось за цоколь памятника. Из тумана вышал оседланный конь без всадника, с куском плаща, запутавшимся в стремени, с волокущимися по земле поводьями. Прихрамывая, он свернулся в улицу Главную и расплылся в черных радугах. Тштртук-тлук.

Думать, думать! (Ну и мороз в башке). Думать, размышлять, черт побери! (Ага, и тут же паника!). Думать! – где тут спасение? Подняло голову. Ни Луны, вырезанной в форме серпа, ни звезд, одна только многоцветная мгла и колоннады тьвыта на небе. Царствие Тьмы расстирается над Городом Льда. Александр Александрович Победоносцев на/в своем гидравлическом троне на вершине башни Сибирхожето, читающий с высоты картографические предсказания по туманоцветным формам под Черным Сиянием...

Хркхрр! Только он!

Так, но куда же теперь? Правда, умнее всего отправиться с самого начала в "не-бытии" гусаров, в дыру, пробитую в настоящем прошедшихми, следовательно, не-существующими всадниками – как тот конь без седока – вверх по Главной. Выкарабкалось из-за памятника и помаршировало по твердой снежной корке, которая лопалась под сапогами с грохотом ямарочных шутих. Шло, склонив голову, в замахе поворачивая плечами, не сильно сгибая ноги в коленях. Тлупп-тррлуп, тлупп-тррлуп. Гроссмейстер сиял в рукавице.

Иркутск стоял тихо-тихо, словно сон об Иркутске. Тени-кошмары домов проплывали слева и справа. В тумане перспектива теряется быстро: казалось, будто бы дома возносятся на добрые несколько десятков аршин дальше, громадные, больше всего того, что выстроил человек. Во мгле, при голоде чувств, всяческое возбуждение быстро вырастает до границ тревоги. Я-оно крутится во все стороны и на каждом шагу подскакивает не по причине заячьего сердца и девичьих нервушек, но потому что даже самое наименьшее движение, самый тихий звук сильно впиваются в мозги. Любая тень, любое мерцание фонаря, любой треск нарастающего льда... Шло через Иркутскочных туманов словно сквозь шаманский дым, в котором проплывали жирные абаасы.

Тень спереди – мамонт – дракон – новая пегнарова бестия – я-оно отпрыгнуло из коридора не-мглы. Это конь без всадника, тот самый конь с тряпкой в стремени – сейчас возвращался по тропе собственного не-бытия. Облегченно вздох-

нуло. Шаль от влажного дыхания уже примерзала к усам и бороде, так что невозможно было ее поправить, не срывая при этом щетины с кожи.

Дальше, дальше за не-гусарами. Мороз вгрызался в унты и под обмотки из заячьих шкурок. Нет смысла ускорять шаг, нужно держать темп. Тлупп-трлупп. Подумало о беге в одиночку через ночной Екатеринбург. Подумало о господине Щекельникове и о тунгусах – что там с ними? Подумало о панне Елене; улыбка заставила скривиться от боли под обледеневшей тканью. Стилеты сосулек кололи легкие. Туннель не-мглы сворачивал направо, к теням зданий. В молочноцветной взвеси появилось чудное свечение уличного фонаря. Не-гусары проходят тут у самой стеночки; сделало шаг и увидело в радужном сиянии паучий панцирь лята, выросшего посреди улицы. Вертикальные волны мороза встали между ним и стеною. Час? Два? Хватило. Здесь не пройти, нужно другим путем, по другой улице... И тут поняло, что никаким образом пешком не доберется на этом морозе до башни Сибиржокето. Вздохнуло с облегчением во второй раз. Иней врастал между зубов.

Лют морозился по сталагмитам и черным струнам, растянутым сетью высотой до второго этажа. Окна были темными. Бубны глашатаев не били. Двери в домах по обеим сторонам улицы наверняка хорошенко запечатаны (в городах Зимы существовала преступная специальность зимовников-грабителей). В последний раз глянуло на морозника. Тот шел либо из-под земли, либо вмерз в землю – половина массы, левая, северная, лежала непосредственно на обледеневшей брускатке. Зато здесь, над "не-гусарами", гляций расплескался короной из тысяч тонких и тончайших сосулек-игл, рвущихся вверх, во мглу, в небо, и к фасадам домов, и к фонарю (еще работающему). Калейдоскопы холодных красок проворачивались на бесформенной туще, переливаясь по выпуклостям, словно это не обманчивый рефлекс, но и вправду какая-то ледовая краска вместе с гелиевой кровью перемещалась в этом кристаллическом организме – не-организме.

Предостерегла светень, из-за спины распространяшая крылья на массив морозника, игра отблесков на первоначальной краске. Я-оно обернулось, для этой цели поворачиваясь наполовину всем телом. Тот уже атаковал с поднятой сабелькой – клинок был мираже-стекольным, семирадужным – отклоненный из-за конской головы для чистого, гладкого удара, с лицом открытым, с шарфом черным, на воротнике развивающимся, с подмороженным усом, подсунутым под покрытые белизной очки, с устами раскрытыми, из которых исходит жирное облако тьвыта. На щеке у него была открытая, кровоточащая рана. Кармин той крови стекал каплями ему на шинель – серая бронза которой стекла в конскую шерсть – чернота которой стекла на лед – белизна которого взорвалась в туман – синевато-зеленые оттенки которого всосало ослепительное сияние Гроссмейстера, когда подняло его вытянутой рукой, целясь в самый центр широкой груди капитана Фретта.

Тот рванул поводья, метнулся в седле влево. Конь послушно свернулся, но, видимо, споткнулся или поскользнулся на покрытой свежим инем лапе-корневице-жиле лята, потому что тут же под животным подломились передние ноги, и оно полетело, со всего разгона – дикий клубок животного и человека – в тротуарный сугроб, чудом не столкнувшись с фонарем. Болезненное ржание лошади пробило туман. На месте падения поднялась туча коричнево-цветного снега; я-оно стояло и глядело на эту тучу, словно малое дитя – увлеченно, зачарованно. Прошло несколько долгих вдохов-выдохов, пока туча не начала опадать; казалось, будто бы исходящий от лята мороз вымораживает хлопья еще в воздухе.

После очередного вдоха-выдоха из облака вышел спешившийся капитан Фретт, уже без шапки и очков, зато с той же самой саблей – радужной косой в руке. Чернота стекала по нему там, где его облепил кристаллический снег. Ус торчал кроваво-цветной щеткой-сосулькой, той же кровью парящий.

Приятель, которому благодарен жизнью – так замерзло; и неприятель, который пришел ту же жизнь отобрать – так замерзло – ну что еще сказать о подобных ситуациях? И тут, и тут не осталось места для каких-либо слов в языке второго рода; нет места даже для стыда. Остаются только необходимости, одни лишь очевидности.

Капитан Фретт моргнул, сплюнул тыметистым снегом, от груди завертел мельницей блестящим клинком и вбежал под светень гляция. Я-оно выстрелило ему в живот. Лед разорвал гусара на клочки.

Я-оно упало на твердую корку мерзлого снега, поехало по хрустальной мостовой. Слишком близко! Занавески человеческого мороза замкнулись сверху. Ночь сморщилась и выгнулась, словно глядело на нее сквозь выпуклое стекло. Что-то паршивое случилось и со слухом: треск и тишина, но не сколько тишина – как отсутствие звуков, но тишина – как отсутствие чувствительного к звукам органа. Что-то не то случилось со всеми нитями, соединявшими тело с душой: они либо лопнули, либо запутались так, что к душе по ним не доходило совершенно ничего или почти что ничего. Валилось на спине на иркутской улице, но не чувствовало под спиной даже касания одежды, даже того, что там находится "низ", а вот тут, перед глазами, "верх". Не чувствовало движения снаружи, не чувствовало движения изнутри. Не чувствовало дыхания. Не чувствовало уходящего времени. Ночь прокатывалась волной в замкнутой петле: мгновение, еще мгновение и еще мгновение.

Встать. Откуда-то пришел этот импульс. Тело начало исполнять жесты соломенного чучела. Отметило бьющий из зажатой в кулак правой ладони свет. Гроссмейстер. Не чувствовало ни той руки, впрочем, и второй руки тоже.

В этой цветастой мгле полностью утратило чувство направления. Встало, обернулось, чтобы шажком продвинуться дальше, и только сейчас заметило блестящую черным тушу лята – сосульку, сталагмит, струна, жила, медуза, пузо – увидало его близко, на расстоянии вытянутой руки, в половине аршина. Занавески мороза трепетали словно мотыльки.

Этот белый пот, стекающий по боку ледовика – это сжиженный воздух.

Эта тень, под его шкурой – это гелий, самостоятельно движущийся при температуре, в которой ничто уже не движется.

Этот лед – это осуществленная Правда, материя, сведенная ниже нуля Кельвина.

Выпрямило руку. Достаточно поднести ладонь к сосуле.

Вспомнило о пальце пана Коржинского.

Подумало о пальце, о зашифрованном письме из другого прошлого, о всех тех танцах, которых не могло знать и уметь, о воскрешении Николы Теслы, о других не до конца замерзших прошлостях. Есть вещи, которые делают истинными, правдивость которых создают.

Подумало, ведь и так же не живу: никакой организм Лета не может стоять под лютом и выжить.  
Ночь морщилась и гнулась.

Черное Сияние высвечивало из лютя светени – огромные, прекрасные, завораживающие.  
Я-оно прижалось к люту.

...Пробитый во все стороны выплеском хирургических сосулек, капитан Фретт висел над улицей, замороженный в дюжине крупных и сотне мелких фрагментов. Этот выплеск еще держал его в целости, пускай и неверной анатомически, все же позволяющей увидеть в обледеневших кусках мяса человеческое тело. Я-оно прошло между бедром с кишками и головой с фрагментом позвоночника, под полуаркой согнутой руки, все еще держащей мираже-стекольную саблю. Гроссмейстер выбил на клинке миллион ослепительных радуг.

Подходя, они прикрывали от них глаза. Оба где-то потеряли свои очки. Почему они спешились? Их лошадей увидало на самой границе мглы, во мгле, тревожно отступающих в более плотную мглу. Гусар пониже, с кровавым пятном на плече, сделал пару шагов и отскочил, как ошпаренный, дыша темнотой. Гусар повыше, с карабином, подышав в затвор винтовки, приготовился стрелять; ни черта, не сработает винтовочка. Он тоже отбежал на десяток аршин, подальше в туман.

Но ведь грохот Гроссмейстера, так или иначе, вскоре привлечет и остальных, нужно...

Что? Потрясло головой. Что же планировало – что же? Отдаться под опеку Победоносцева?

Я-оно вышло из светени капитана Фретта, и первый удар боли пронзил руку до самой шеи; едва устояло.

По-видимому, я-оно должно было пошатнуться – гусар пониже, что с саблей, тараща глаза по-птичьи, собрался, чтобы подскочить и пронзить саблей. В формах его светени от Черного Сияния видело всю необходимость очередных движений солдата, последствия логических неизбежностей. Как во сне – словно сонный раб – замедленный среди замедлившихся – отступило в сторону. Гусар ударили саблей в воздух.

Он вскрикнул и удрал.

Теперь уже осталась только мгла и то, что во мгле.

Подходили к самой границе райского света фонаря: мамонты, абаасы, големы Пегнара. Я-оно наблюдало за разноцветными конвульсиями ночи. Хотя бы который, в конце концов, выступил вперед и ясно показал свое нечеловеческое лицо. Пускай бы выпрыгнул и потащил во мглу, в дым. Как призвать их вернее всего? Какую возложить жертву?

Я-оно терпеливо ожидало прибытия рукаладителя в Подземный Мир. Ожидало, пока хватило сил, то есть – Мороза, то есть – как долго? Сонное мгновение, минуту, две, четверть часа, час, до конца ночи? Стоя, будто вмороженный, посреди улицы Главной, тунгеститовый факел в руке, светени на белых туманах. Вымороженный разум не поддается переменам, точно так же, как невозможно что-либо выбить в алмазе, невозможно отпечатать какую-либо информацию в совершенном упорядоченном кристалле. Одно мгновение сливается с другим, время принимает форму колеса, язык перестает служить для передачи сложных мыслей. Хррр-кхр, хррр-кхр, хррр-кхр...

Когда же подъехали на санях, я-оно лежало на мостовой в добрых двух десятках аршин от лютя и Фретта, трясясь в смертельных конвульсиях, согнутый вдвое, с коленями, бьющими в грудь, с клацающими зубами, с руками, бьющими беспомощно по снегу. Воздух никак не хотел войти в замороженную трахею. Я-оно даже не могло издать страдальческого стона.

Подняли, уложили в санях рядом с окровавленным господином Щекельниковым, быстро завернули в заячьи и оленевые шкуры, силой раскрыли челюсти и влили в горло теплое травяное питье. Завязали всего в шкуры, словно младенца. В узкой щелке подпрыгивали звездное небо и радужная мгла. Я-оно потеряло сознание, затем в сознание вернулось; и снова, и опять. Саны двигались все быстрее, слышало свист льда под полозьями и окрики возниц – польский язык, звучащий попольски. Один раз над щелью мелькнуло заросшее лицо, явило щербатую усмешку. Я-оно попыталось искривить лицо в ответ, но лишь укусило себя в щеку и язык. Дрожь напоминала, скорее, приступ эпилепсии; огненная кислота проплывала по жилам; палачи сдирали шкуру с мышц, разрывали тело на кусочки, разбивали кости и вливали в них вместо костного мозга жидкий свинец. Хотелось сказать усмехающемуся бородачу, что я-оно все понимает – лампа, а в полночь – тьвичка; Пилсудский тоже желает выиграть собственную Историю на смерти генерал-губернатора – но возница быстро сунул в открытый рот кусок животного жира, так что я-оно ничего и не сказало. На небе Черное Сияние заслоняло и открывало байкальские созвездия. Я-оно не видело никаких крыш, фонарей, радуг от мираже-стекольных ламп. Только одну, затем вторую трупную мачту. Расслабившиеся уже японцы громко смеялись своим непристойным солдатским шуткам. Слезы боли стыли в глазах. Все, абсолютно все пошло не по плану. Я-оно не найдет отца, не разморозит отца, не направит Истории; панну Елену отдало ни за что, совершенно ни за что. Пережевывая жесткую солонину, замороженное я-оно покидало Город Льда.